

ЛЕВ
ДРУСКИН

СПАСЁННАЯ КНИГА

ВОСПОМИНАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО
ПОЭТА



ОРИ

СПАСЕННАЯ КНИГА

Overseas Publications Interchange Ltd.

LEV DRUSKIN

RESCUED BOOK

Memoirs of a Leningrad Poet

Overseas Publications Interchange Ltd

ЛЕВ ДРУСКИН

СПАСЕННАЯ КНИГА

Воспоминания ленинградского поэта

Overseas Publications Interchange Ltd

**Lev Druskin: SPASENNAIA KNIGA
Vospominaniia leningradskogo poeta**

**First Russian edition published in 1984
by Overseas Publications Interchange Ltd
8 Queen Anne's Gardens, London W 4 ITU, England**

**Copyright © by Lev Druskin, 1984
Copyright © Russian edition Overseas Publications Interchange Ltd, 1984**

All rights reserved

**No part of this publication may be reproduced
in any form, or by any means, without permission.**

ISBN 0-903868-85-7

Cover design by Danuta Niekrasow-Heller

Printed in West Germany

*Моим дорогим ленинградским друзьям.
Пусть сохранит вас любовь моя!*

Автор

*"Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свисток".*

А. С. Пушкин

"Я начинаю с мазков и линий, а получается фигура. Разве я виноват, что у кого-то не получается, а у меня получается?"

Пабло Веронезе

ВСТУПЛЕНИЕ

Я никогда ничего не писал в прозе. Даже письма для меня — мучительная повинность.

Я поэт, и тут знаю себе точную цену. А сейчас я обнажаю перо с чувством, что берусь не за свое дело.

”Беда, коль пироги начнет печи сапожник...”

Но мне шестьдесят лет. Как говаривал Шолом-Алейхем, я еду уже не на ярмарку, а с ярмарки. А моя жизнь в известном смысле тоже документ эпохи. И я хочу, чтобы этот документ был обнародован.

В книге нет ни одного вымышленного факта, ни одной выдуманной подробности. Даже диалоги подлинные.

Это принцип.

А вот со стилем...

Кто-то из замечательных французских стилистов, кажется Жюль Ренар, сказал:

”Я подбрасываю слова, как кошек, и всегда уверен, что они упадут на все четыре лапы”.

Господи, как я ему завидую!

И еще...

Несколько имен — самых дорогих — пришлось все-таки изменить. Хочу верить, что настанет время, и с моей помощью эти имена будут восстановлены.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Детство

ТРУДНАЯ ТЕМА —

Я родился в 1921 году в Ленинграде на 7-й Советской улице. Прежде этот район назывался "Пески", так как туда не доходит ни одно наводнение.

Когда мне исполнилось восемь месяцев, случилась беда, наложившая оттиск на всю мою дальнейшую жизнь. Я заболел полиомиелитом.

Вот стихотворение, написанное еще в детстве:

Я лежу, прикованный к постели.
Разве жизнь увидишь из окна?
Ноги тряпки, руки ослабели,
Смята и изломана спина.

Дальше не буду. Дальше хуже. Да и вообще я постараюсь касаться этой темы только по мере необходимости.

ПЕРВЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ —

Первые воспоминания, скорее ощущения, но такие конкретные и точные, будто это происходит со мной сейчас.

Вот мама хватается меня за руки, и тормошит, и подбрасывает, и кружится по комнате. Сколько мне — год, полтора? И откуда оно — это впервые испытанное ощущение счастья?

Я лежу на спине. Меня везут в детской коляске. Июль. Евпатория. Мне два с половиной года. Надо мной черное небо, — черное, но невесомое, с огромными веселыми звездами. И в меня впервые входит чувство гармонии и красоты мира.

А вот первая обида. Бабушка за что-то шлепает меня по руке. Я плачу. Она испуганно гладит мою ладошку, дует на пальчики. И ко мне сразу возвращается, ставшее уже привычным, состояние равновесия и покоя.

И, наконец, первая горечь, первое недоумение. Окно завешено плотной синей бумагой. У меня корь. Веки режет так, словно ударом о камень раздробили бутылку и набили мне глаза толченым стеклом.

И растерянно мечутся мысли:

”Что же это такое? Мама с папой так любят меня... Но они ничем не могут помочь, ничего не могут сделать. Я одинок, беспомощен, уязвим. Что же это такое? На какой страшной земле мы живем!”

И передо мной, как дурной мираж, встает предчувствие всех моих грядущих бед, от которых никто — даже мама (такая добрая и сильная), даже папа (такой сильный и добрый) — не смогут меня заслонить.

Я много раз пытался выразить это в стихах, но у меня никогда не получалось. Может быть, потому, что есть уже дивное стихотворение Самойлова:

”Я — маленький. Горло в ангине,
За окнами падает снег.
И папа поет мне: ”Как ныне
Собирается вещий Олег...”
Я слушаю песню и плачу,
Рыданье в подушке души,
И слезы постыдные прячу,
И дальше, и дальше прошу.

Осеннею мухой квартира
Дремотно жужжит за стеной.
И плачу над бренностью мира
Я, маленький, глупый, больной”.

БЕРЛИН —

Когда мне исполнилось четыре года, мама повезла меня лечиться в Берлин к знаменитому профессору Гохту. (И сейчас удивляюсь, как родителям удалось добиться разрешения.)

Именно с Берлина начинается у меня цепочка не ощущений, а осмысленных воспоминаний — четких, хотя и абсолютно отрывочных. У Буратино мысли были коротенькие-коротенькие. Такие же коротенькие — вспышками — и мои воспоминания.

Сначала Польша. Пока мы едем через ее территорию, почему-то не разрешается открывать окна. А в вагоне жарко.

Потом — больничная палата. Профессор здоровается со мной по-русски. Больше о больнице не помню ничего. Только мое возмущение — возмущение советского человека — тем, что сестрам разрешается в наказание бить детей. (Какое уж там бить — поддавали, наверное, потихонечку.)

В Берлине произошло чудо — меня поставили на ноги. Я мог пройти гигантское расстояние — две трамвайных остановки. Мама была счастлива.

Мне сделали аппараты из каких-то необыкновенно легких материалов. Ходил я не на костылях, а в ляуфштуле. Это было почти ничего не весившее бамбуковое сооружение, напоминавшее табуретку с вырезанной серединой. Стоя в центре, опираясь локтями о бортики, я переставлял ляуфштуль, делал внутри него пару шагов и переставлял снова.

С того времени сохранилась фотография. Осенний сад, покрытая листьями дорожка, и я, крохотный и важный, стою сам, совершенно сам, держась рукой за дерево.

И еще три вспышки — три воспоминания.

У меня улетел воздушный шар — яркий, нарядный, в форме лебедя. Он болтается под потолком и мама пытается подцепить его щеткой.

Я в ужасе умоляю: "Мамочка, не надо!"

Я понимаю: шар сейчас лопнет, так было уже не раз. Но мама с непонятным упорством шарит щеткой по потолку. Шар громко лопаается, и я заливаюсь слезами.

Мы входим в "Аквариум". Это целый большой дом. За толстыми стеклами бесчисленные рыбы. А вот змея (или, может быть, много змей). Я прикладываю палец к твердой преграде. Змея тычется головой, и по стеклу медленно стекает струйка яда. Не знаю, что скажут змееведы, но убей меня Бог — так и было.

А за следующей дверью — не комната, а мостик. Пылает электрическое солнце. И под ним, на песке, у ручейка, вползку лежат крокодилы.

И, наконец, — уютный садик Лицензее. Какой-то пожилой господин, щурясь от утреннего блеска, втолковывает мне, что в Америке теперь ночь.

Я не верю. Я вижу, что он шутит. А он смеется и угощает меня пирожными, покрытыми крупной солью.

Эгон Бишоф — наш немецкий приятель — скажет потом:

— Насчет пирожных — правда. А вот Лицензее... Я хорошо знаю Берлин. Такого названия нет.

Но фрау Кретке — старая немка — воскликнет:

— О, Лицензее! До войны это был мой любимый садик!

Так что к памяти моей я и дальше могу относиться с доверием.

Остается добавить, что из заграничных аппаратов я быстро вырос, новых у нас сделать не смогли, и я никогда больше не видел мир с высоты человеческого роста.

МАМА —

Детство мамы я представляю по Шолом-Алейхему.

Она родилась в местечке, похожем на Касриловку. Черта оседлости, нищета, шагаловские козы.

Мама была любимицей. Ей всегда пихали лучший кусок. Рассердившись на бабушку, она пригрозила:

— Вот убегу из дому и ничего не буду есть, кроме булки с маслом и с вареньем.

Старшего брата она не застала в живых. Юноша с прекрасным лицом — бродячий актер, как бы сошедший со страниц романа "Блуждающие звезды".

В отличие от мамы, папа был столичная штучка, уроженец и житель большого города — Вильно. В семнадцатилетнюю провинциалку, приехавшую учиться на фармацевта, он влюбился с первого взгляда, но ему пришлось ухаживать шесть лет прежде, чем она дала согласие. Сейчас такого и не бывает!

Я держу в руках белую карточку с тисненым узором. Буквы, выведенные с наивной старательностью, извещают: "Дарья Ильинична Тумаркина и Савелий Львович Друскин повенчаны".

В наши годы мамина родина, местечко "Мир", стало городом. Приехавший оттуда человек сказал:

— Я очень любил вашу маму.

И смущенно добавил:

— Ведь она была такая красивая!

Да, мама была красавицей. Только я один этого не понимал. Дети, вообще, мало чего замечают: мама и мама. Ну, конечно, добрая, хорошая. А что красавица — это я теперь вижу, на фотографии.

Сидит, задумавшись, у окна моя мама, моя боль, мое воспоминание.

И такая прелестная, что хватит об этом — не стоит рвать душу.

УЛИЦА МОЕГО ДЕТСТВА —

7-ая Советская — улица моего детства!

В хорошую погоду я лежу на двух подушках на широком подоконнике.

Напротив — наискосок — пустырь. На нем, если мне везет, взрослые мальчишки играют в мяч.

Старый человек катит по мостовой голубой короб, кажущийся отсюда домиком, и выкрикивает:

— Мороженое! Хорошее! Сладкое, мягкое, без костей!

Когда мне покупают мороженое, я и радуюсь, и огорчаюсь. На вафлях выдавлено: Коля, Галя, Петя. А у меня редкое имя — Лева, и такой вафли почти никогда нет.

Брат старше меня. К нему приходит девочка — Беба. Иногда она разрешает и они целуются через полотенце. Но мне это неинтересно, я предпочитаю смотреть на улицу.

С работы возвращается папа. Внизу, на панели, он странный и совсем другой. Его сопровождает кот Серко, который ходил встречать его на остановку.

Где-то недалеко есть место с волшебным названием "Мальцевский рынок", но там я не бывал ни разу.

А это что за голос? Ну конечно же, халат-халат: пожилой татарин с мешком за плечами. Он уныло и громко выстывает: "Костей, тряп, бутыл, бан!" — и, задрав голову, смотрит на окна.

Вчера мама сделала ему знак, он поднялся к нам и ушел, затолкав в мешок охапку рваного шмутья.

Я — счастливый мальчик! Вчера меня перенесли через площадку в другую квартиру, и я целых полчаса держал возле уха наушник. Правда, получилось не вполне удачно: музыки не было и говорили о чем-то непонятном. Зато на первое мая нас пригласили в гости — угол Невского и Литейного — чтобы я увидел в окно демонстрацию.

А пока я лежу на подоконнике. Мимо проехал грузовик, а такое ведь тоже бывает не часто.

По улице громыхает другая тележка, и слова другие, не про мороженое.

Человек кричит:

— Точить ножи-ножницы!

Я мысленно упрашиваю его: остановись! — и он выполняет мою просьбу.

Из подъездов выбегают женщины. Собирается толпа. Жужжит точильный камень.

Жизнь удивительна, она вся состоит из развлечений. А сегодня вообще какой-то особенный день.

”Не разряженная, не светская —
Стены в пятнах, булыжник сер...
Чем гордишься, 7-ая Советская?
Где тебе до 8-ой, например!”

Неправда! Она такая широкая и красивая — 7-ая Советская, улица, моего детства!

ДЯДЯ ЛЭЙВИК —

У нас в квартире, в комнате, забившейся в угол коридора, жили сестра бабушки тетя Этка и ее муж дядя Лэйвик. У них всегда пахло не то клеем, не то мазутом. С этим запахом смешивался стойкий запах скипидара.

Тетя Этка и дядя Лэйвик были кустари. На керосинке постоянно кипела и булькала большая желтая кастрюля. Ее содержимое разливалось по формочкам. Остывая, оно затвердевало и на стол вытряхивались коричневые кружочки, похожие на шашки — с ободком и выдавленным посерединке изображением ботинка.

Все еврейское в нашем доме было связано с дядей Лэйвиком. Он ходил в талэсе и молился. Он дарил нам ханукегелд, он показывал нам красивый серебряный семисвечник, и без него не было бы сейдера.

Сейдер. Пасха. Милый торжественный обряд. Самодельное виноградное вино, которое давали даже детям.

Для кого поставлена полная рюмка на краю стола? Взрослые смеялись: ”Вот придет, тогда увидишь”. Но никто ни разу не приходил.

А пасхальные кушанья! Кнейдлах — белые шары из пасхальной муки, такие противные в молочном супе, облепленные жирными пенками, и такие чудесные в курином

бульоне. Тейглах — обжигающие язык имбирем, прилипающие к зубам сладко тянущимся медом. И айнгемахц, айнгемахц — редька в меду, лучшее лакомство на свете.

Моя жена русская. Ее коронное блюдо — фаршированная рыба. Но когда она научится делать айнгемахц?

ТЕТЯ ЭТКА —

Тетю Этку я ненавидел. Каждое утро она входила к нам с металлической трубочкой и фукала на стены скипидаром. И всегда долго и нудно ругала меня за какую-нибудь мелочь. Я мечтал с ней разделаться. Мне было уже лет восемь и я хорошо пополнил на улице свой лексикон. Когда она стала в очередной раз меня пилить, я решил и осуществил задуманное.

— Таковую-то мать! — сказал я своим звонким невинным голосом.

Тетя Этка остолбенела.

— Так, так и растак! — добавил я с наслаждением.

Она металась, всплескивала руками:

— Ой! Ой! Замолчи сейчас же! Что он только говорит!

А я сидел за столом, удобно облокотившись и, спокойно перечислял все известные мне ругательства.

Наверное, это было действительно ужасно, но ведь я почти не понимал смысла произносимых слов.

А эффект был потрясающий. Больше она к нам в комнату не приходила.

ЭРИКА ВАН ДАМ —

В детстве читал я какую-то скандинавскую книжку, названия не припомню. Помню только имя героини — Эрика ван Дам.

И пришла тогда ко мне, восьмилетнему, сказка, сон наяву, предвкушение таинственной взрослой жизни.

Будто сижу я в громадной комнате, залитой потоками света. (В нашей было одно окно, а тут — целых три!)

Звучит марш из "Аиды".

Дверь отворяется — я вижу прекрасную женщину в роскошной одежде. Это моя жена. И зовут ее — Эрика ван Дам.

Красиво, не правда ли?

КОГО ТЫ БОЛЬШЕ ЛЮБИШЬ? —

Набоков писал:

"Балуйте своих детей, господа. Ведь вы не знаете, что ожидает их в жизни".

Мои родители знали: в жизни меня не ожидает ничего хорошего.

Я был общий баловень, мне разрешалось все, каждое мое желание исполнялось.

— Папа, — спросил я однажды, — а кого ты больше любишь, меня или маму?

Я ждал гордый, уверенный в ответе.

— Конечно, маму, — сказал папа.

Стыд обжег мне уши. Я чуть не расплакался.

Папа заметил это — утешая, погладил меня по голове, но повторил твердо:

— Конечно, маму.

ТРИ МЕЧТЫ —

У каждого человека есть свои мечты. Были они и у меня.

— Какие идиоты взрослые! — думал я. Зачем они едят суп? Когда я вырасту, я отправлюсь в ресторан (слово-то какое!) и попрошу полную тарелку подливки — без всего, даже без хлеба.

Я вырос и с детской точки зрения превратился во взрослого идиота: я с удовольствием ем суп и мне ни разу не приходило в голову заказать тарелку соуса.

Вторая мечта явилась в великолепном снежном убранстве. На Рождество детей катали на "вейках". Сани украшали разноцветными ленточками, а на сбрую нацепляли колокольчики.

Я очень просил папу доставить мне радость, но "вейку" ему найти не удалось и мы поехали на обыкновенном лихаче.

И все равно это было замечательно. Горло счастливо хватал морозный воздух, отовсюду выскакивали звонкие сани, бородатый извозчик театрально привставал на козлах и шелкал кнутом, и в голове моей как бы крутились, обращенные к Гнедухе, еще не написанные стихи Сергея Чекмарева:

 "Ты что, овса-то мало ел
 По целому мешку?
 Давай-давай прокатимся
 По белому снежку".

И пришла мечта: стать извозчиком. Только я хотел, чтобы у меня была обязательно белая лошадь. Гнедая меня почему-то не устраивала.

Ну а третья мечта, которая продержалась у меня лет этак до тридцати: увидеть Сталина.

Сначала из любви, потом из любопытства, затем из интереса, хотя под конец я и понимал, что это совсем не безопасно.

И если мечта моя покажется кому-то смешной, значит ему так и не удалось представить нашего времени.

ИНСТИТУТ ТУРНЕРА —

Большая вывеска желтым по черному: "Институт восстановления трудоспособности физически дефективных детей имени профессора Турнера".

Эта надпись обижала меня тогда и обижает до сих пор.

Ну какой же я дефективный?

В казенном шестизэтажном здании, а потом в уютном двухэтажном доме напротив (ох, нет уже его, в войну разо-

брали на дрова!) провел я с несколькими многомесячными перерывами самую памятную часть детства — с девяти до пятнадцати.

Комнаты светлые, просторные. На тарелках изречение — совсем, как из Ильфа и Петрова: "Общественное питание под огонь рабочей самокритики".

Первый профессорский обход. Эмиль Юльевич Остен-Сакен, любимый ученик Турнера, строгий милый интеллигентный человек присаживается на мою постель.

— Сними рубашку.

Отвечаю:

— Я не умею.

Он даже теряется:

— Как не умеешь?

— Мне всегда мама снимала.

И первое наказание: десять раз в день под наблюдением сестры снимать и надевать рубашку.

А вот первый серьезный осмотр. Минна Захаровна, главный врач отделения, берет меня в кабинет. Я томлюсь на белом, твердом, покрытом простыней топчане. В изголовье стоит скелет.

Минна Захаровна осматривает меня как-то странно. Согнет и разогнет ногу, проверяя контрактуру, а потом то же делает со скелетом. Меня за руку подергает и его подергает.

Почему-то это сравнение унизительно, и я кошусь на скелет с недоброжелательством.

В палате — четыре мальчика. Воображение у меня было живым, и я сразу стал вызывать соседа драться до первой крови. Дело в том, что незадолго до этого я изобрел "непобедимый прием мельница" — лежать на спине и быстро крутить перед собой кулаками. Я считал, что прорваться сквозь такую защиту невозможно.

Мальчишка на беду свою оказался трусом. Он не хотел со мной драться. Я издевался над ним с утра до вечера. Из всех палат приходили мальчишки и даже девочки посмотреть на него и послушать, как я хвастаюсь. Жизнь его превратилась в сущий ад, и выбора не оставалось.

Дрожа от страха, он перебрался на мою кровать, тюкнул меня раз — я закрылся, тюкнул два — я заревел: на том дело и кончилось.

И снова из тех первых дней.

Минна Захаровна рассказывает нам о человеческом теле (тоже мне тема для малышей!), показывает диапозитивы — тогда это называлось смотреть волшебный фонарь.

Когда она сообщает, что волосы у человека растут на голове, под мышками и в паху, я начинаю громко смеяться.

Не меняя голоса, она говорит:

— Сейчас мы не будем задерживаться, а после лекции нехороший мальчик Лева Друскин объяснит нам, почему он смеялся.

С ужасом жду конца лекции. Свет вспыхивает и все поворачиваются ко мне. Наступает пауза. Меня выручает мой более бойкий товарищ:

— Слово очень смешное, — отвечает он за меня. — Пах! Пиф-пах! Как будто из ружья стреляют.

— Не пиф-пах, а пиф-паф, — простодушно поправляет Минна Захаровна и больше ко мне не пристаёт.

Что еще?

Невероятное, потрясающее впечатление от первой встречи с искусством.

Над институтом шефствует кукольный театр Евгения Деммени. Они привозят свои спектакли. В небольшом зале на сцене сидит человек. По его коленям, рукам и плечам бегают лилипуты. Они на ниточках и от этого он выглядит еще более запутанным и пленным. Но все завершается благополучно. Человек поет:

”Кончен, кончен путь тяжелый,
Сходни брошены давно...
В нашей Англии веселой
Есть хорошее вино”.

Я все понимаю, я поэт-профессионал, но честное слово — эти стихи кажутся мне превосходными и теперь.

Впрочем, вторая встреча с искусством была менее удач-

ной, Немолодая тощая певица с тонким писклявым голосом протянула к нам руки и взяла высокую ноту:

— А-а-а!

Мы так и прыснули.

Пение прервалось. Смущенные воспитатели долго нас ругали, стыдили, втолковывали, какая изумительная вещь музыка.

Затем концерт возобновился. Пианист проиграл вступление, певица протянула руки:

— А-а-а!

И мы прыснули снова.

Нас, конечно, наказали (кажется, оставили без ужина), но что из того? Артистка ушла в слезах.

Все это происходило так давно, что я не помню ни лиц, ни подробностей быта, не могу сказать, сколько окон было в той или иной палате, но факты и ощущения остры, как будто вытравлены на меди.

Немного о воспитателях.

Варвара Павловна — дальняя родственница композитора Вебера, написавшего знаменитое "Приглашение к танцу". Она очень привязалась ко мне и — сама еще глупенькая и молодая — рассказывала мне, совсем несмышленишу, что она несчастна, потому что не любит мужа (о котором потом безутешно горевала, когда он погиб в самом начале войны).

И я не спал полночи, решая, уходить ей от мужа или немного потерпеть.

Другая воспитательница, Анна Сергеевна, была типичная старая дева. Тогда я не знал, что это такое, и удивлялся, чего она постоянно злится и почему из вредности гасит свет за несколько минут до отбоя.

Одной девочке принесли редкое лакомство — душистую лесную землянику, и Анна Сергеевна вымыла ягоды кипятком, превратив их в мокрую, скользкую кашу.

Девочка плакала и говорила:

— Ешьте сами!

Осталась в памяти и Елизавета Абрамовна, — невысокая, черноволосая, — заведующая учебной частью. Она относилась

к нам просто, по-домашнему, но иногда мы ее доводили и она кричала:

— Беспринципные! Антисоветские!

А Прасковья Александровна обучала нас шитью. Шесть лет мучилась она со мной, но я так и не научился пришивать пуговицы.

К Турнеру у Прасковьи Александровны было благоговейное, молитвенное отношение. Это она подбила персонал сочинить к восьмидесятилетию Генриха Ивановича удивительную по нелепости оду, над которой врачи и педагоги трудились в поте лица:

”Довольно мудрый англичанин,
Ты сам себя перехитрил:
Ты к нам из чуждых стран причалил,
Но нашим стал и нашим был”.

Мы жили весело и беспечно, притихая только в дни операций, замкнувшись в своих детских радостях и обидах.

А в городе было страшно — высылали дворян. (Я узнаю об этом много позже, прочитав ”Раковый корпус” Солженицына.)

Лишь один раз увидели мы краешек чужой беды, которая через пару лет стала почти всенародной.

Учительница русского языка пришла на урок с распухшими глазами, переходила от кровати к кровати, обнимала ребят, причитала:

— Хорошие вы мои! Маленькие вы мои! Неужели я вас больше не увижу?

А другие взрослые поджимали губы и громко шептали друг другу:

— Какой стыд! Как бестактно! Скоро ли это кончится!

Каждый демонстрировал перед сослуживцами свою лояльность. А мы... Разве могли мы что-нибудь понять? Да и запомнили, казалось, ненадолго.

ПЕРВОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО —

Пожалуй самое время упомянуть, как я столкнулся с первым предательством. Мой сосед по палате набедокурил: кажется, разбил чашку. Когда на звон разбитой посуды прибежала нянечка, он, не моргнув глазом, сказал:

— Чашку разбил Лева.

Передо мной поплыли стены. Потрясение было настолько сильным, что я, вероятно, на миг потерял сознание. Даже сегодня, вспоминая об этом, я ощущаю тошнотворное чувство. А ведь было это пятьдесят лет назад!

АВЕЛ НИКСУРД —

А вот, как я сочинил первое стихотворение.

В институте работал молодой врач Зиновий Аркадьевич. Я еще, помню, жутко удивлялся:

”Как его звали в детстве? Неужели Зина?”

Зина занимался наукой. Он изобретал новую систему вытяжения. Первым подопытным кроликом оказался я.

Скажу по правде, это было варварское сооружение. Меня буквально разрывало на части. Мешочки с песком на перекинутых через блоки веревках покачивались в ногах, по бокам и даже в изголовье.

Учительница литературы Анна Бенедиктовна сочувствующим голосом продекламировала:

”... лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а щука тянет в воду”.

Но у меня явно не хватило юмора.

Урок был отложен. Сказав мне разные ласковые слова, она ушла, а я долго лежал и плакал.

Наконец, мне это надоело и я стал смотреть в окно на серую унылую стену главного корпуса.

И вдруг, откуда ни возьмись, в голове складно выстроились строчки:

На Лахтинской, на улице
Есть старый серый дом.
Учрежденье Турнера
Находится ведь в нем.

Лет через двадцать я перелистывал Полонского и — глазам своим не поверил:

”В одной знакомой улице
Я помню старый дом
С высокой темной лестницей,
С завешенным окном”.

Так вот откуда взялось мое первое стихотворение!

А дальше — лиха беда начало. Стихи пошли на меня лавиной. В день по стихотворению, а то и по два.

Сперва, как из рога изобилия, сыпались почему-то сельские пейзажи:

Коровы выбежали в поле,
Пастух за ними по пятам.
Все разгулялись на воле —
Кругом мычанье, шум и гам.

Впрочем, довольно скоро я переключился на проблему любви и брака. Тема интересовала меня чрезвычайно. В девять лет я прочитал уже и ”Анну Каренину”, и ”Пана”, и ”Госпожу Бовари”.

Двадцать седьмое мое стихотворение ”Неверная любовь” друзья до сих пор почитают классикой.

Спи навеки, муж прекрасный,
Баюшки-баю!
Отравила тебя ядом —
Другого люблю.
Скоро выйду замуж снова,
Годик проживу,
Полюблю потом другого —
Мужа отравлю.

И опять все снова, снова
Будет так же вновь.
Полюбила, отравила —
Вот и вся любовь!

По моей просьбе Лиля достает с антресолей битком набитый потрепанный портфель. Весь вечер сегодня я буду перебирать его содержимое, то посмеиваясь, то задумываясь.

Вытаскиваю синюю школьную тетрадь. На обложке — "Сильвия и Лео" (трагедия). И старательно нарисованный кинжал, с которого капает кровь...

Семь страниц в клеточку, пять действий. Открываю на пятом.

Лео:

Я хотел бы быть поэтом,
Чтоб красы твои воспеть.
Не устал пером скрипеть
Я б весной, зимой и летом.

Сильвия:

Ну а осень позабыл?

Лео:

И ее б не пропустил.

Сильвия:

Скоро нам венчаться надо.
Как я рада! Как я рада!

Лео:

О Сильвия! О милая моя!
Кто разлучить нас может?

Генри (выскакивая из кустов с кинжалом):

Я!

(Закалывает Лео и обращается к Сильвии, указывая на труп)

Он был любви преградою,
Но он сражен.
Любить тебя с усладою
Не сможет он.
Так кто ж разделит счастье,
Мой друг, с тобой?

Поможет кто в несчастьи?
Как жить одной?
Люблю тебя. Люби меня
И я женюсь.
Счастливы будем ты и я,
Тебе клянусь,
Под кровом высших радостей
Мы будем жить.
А об убитом в младости
Зачем тужить?
Тобой одной хочу владеть,
Тобой одной.
Хочу тебя при всех посметь
Назвать женой.
А там пусть обзываются,
Мне все равно.
Завидуют, ругаются,
Мне все одно.
Пусть сыплются проклятия —
Все счастлив я...
Приди ж в мои объятия,
Любовь моя!

Я не стану целиком приводить ответного монолога Сильвии. Вот заключительные строки:

Пусть вечно тучи грозовые
Над головой твоей висят,
И хладом капли дождевые
Тебя всего насквозь пронзят.
Убийце нету сожаленья!
Пролить ножом другого кровь,
Расторгнувши при том любовь —
Всех тяжелее преступленье.
Уйди, уйди без возраженья,
Ты недостоин даже мщенья!

*(Генри плачет и уходит по дорожке, белой змейкой
вьющейся между кустов.)*

Занавес.

Это конец монолога и конец трагедии. И чтобы не было сомнений, под словом "занавес" так и написано — "конец". И опять нарисован кинжал, с которого капает кровь.

Как густо замешана моя девятилетняя наивность на Шиллере и Шекспире!

А это что? Тоже любимое — "Старик".

Истожились мои силы,
Стал я дряхлый и седой.
А бывало я кобылу
Поднимал одной рукой.

Честное слово, я завидую тогдашней живости и непосредственности.

Разумеется, на каждом шагу вторгалась и политика:

Блестит прозрачная вода,
Стоят советские суда.
И наша яхта среди них,
Как Сталин меж людей своих.

Что поделаешь, я — дитя своего времени!

Когда стихов накопилось много, папа понес их в редакцию "Ежа" и вернулся очень довольный.

— Сначала они не поняли, решили, я автор, и очень смеялись. Но потом, узнав, что это стихи моего маленького сына, стали их хвалить и обещали даже кое-что напечатать.

Все радовались, все поздравляли меня. И только я был тайне уязвлен.

"Они подумали, что папа автор? Ну и что из этого? Какая разница кто написал? Стихи-то все равно хорошие!"

Вообще, самомнение у меня было ужасное — я так и раздувался от гордости.

Узнав от мамы, что некоторые писатели выпускают свои произведения под псевдонимом, я придумал и себе — очень красивый — Авел Никсурд.

(Догадывались? Лева Друскин, если прочесть наоборот.)

Звучные, почти иностранные слова казались мне необыкновенно значительными, и я с наслаждением представлял себе

книги, книги, книги, обязательно в твердом переплете, и на каждом корешке золотом выдавлено это поразительное имя.

Потом, кто-то сказал, что слово "никсурд" похоже на "абсурд", и от псевдонима я с сожалением отказался.

Остальное было прекрасно.

На уроках шитья и картонажного дела меня озаряло вдохновение, которое тщательно оберегалось. Переплетчик Иван Назарович обходил мою кровать на ципочках.

А жаль! Как было бы удобно, если бы я сам умел переплетать книги.

СМЕШНОЙ Я БЫЛ МАЛЬЧИК —

Книги моего детства: "Маленький лорд Фаунтлерой", "Война и мир", "Сказки Киплинга", "Нана", "Том Сойер".

— Что ты понимал в "Нане"? — иронизирует моя жена Лиля.

— То же, что и ты в "Яме" Куприна, — парирую я.

Память кладет на стол две толстые книги. "Искатели мозолей" и "Джек Восьмеркин — американец". Во второй деревенский паренек Яшка случайно попадает в Америку и, вернувшись в родное село, устраивает такую модернизацию, что все мужики молниеносно богатеют.

Интересно, как посмотрели бы на этот сюжет сейчас?

Перечисляю дальше: "Алиса в стране чудес", почти все пьесы Шекспира, "Герой нашего времени" и "Пакет" Пантелеева — еще тот, замечательный, в непричесанном варианте, с лихими взъерошенными словами, и особенно понравившимся мне непонятным словом "пирамидон".

А рядом Берроуз, будущий автор "Тарзана" с его марсианской серией. Как восхитительны для одиннадцатилетнего уха названия "Владыка Марса", "Дочь тысячи Джеддаков".

К тому же, ни автор, ни герой не утруждают себя нагромождением технической ерунды.

Если герою нужно на Марс, он ложится на землю, закрывает глаза и думает: "Хочу на Марс!"

И вот он уже там с мечом в руках и непрерывно сражается. Врагов десятки, сотни, но он так ловок, что перед ним "гора кровавых тел", а на его собственном теле ни единой царапины.

Ну а если уж марсиан тысячи, он не лезет на рожон, а поступает просто и мудро: ложится на траву, опять же закрывает глаза и думает: "Хочу на Землю!"

И он оказывается на земле, а противники оказываются в дураках.

Затем — Ник Картер. У меня это было еще до Шерлока Холмса.

Маленькие книжечки, заканчивающиеся, примерно, так:

"Он схватил ее за горло, замахнулся ножом и..."

Продолжение в следующем выпуске.

Стоит также сказать о "Всаднике без головы". Капитан Кассий Кальхаун добивался любви своей двоюродной сестры. А я недоумевал: "Ведь он и так ее брат — чего ему еще от нее надо?"

Вся эта фантазмагория была прошита ливнем стихов, в которых я разбирался в общем правильно. Пушкин мне нравился с самого начала, а Надсон никогда.

Выправлялся постепенно и вкус прозаический. Почти одновременно я прочел и Чарскую, и статью Чуковского "Тридцать три обморока".

Смешной я был мальчик. Умный, но наивный.

Я думал, что "Правда" это сокращенное название "Ленинградской правды", что аппендицит бывает только у мужчин, что бюстгальтер — это трусики.

И когда я читал в "Клопе" у Маяковского про уличного разносчика, предлагавшего "бюстгальтеры на меху", я так и представлял себе, что он продает меховые трусики.

Но разве это все?

Как я жалел киноактеров! Мне показали пленку и я ужасался: ведь для того, чтобы вскинуть руку, артисту надо сперва согнуть ее в локте, потом чуть-чуть приподнять, потом выше и выше — короткими отрывистыми движениями.

Я думал, что каждый кадр снимается отдельно.

— Бедные! И они могут еще играть при этом? — удивлялся я.

А какими преимуществами обладает детство! У меня была любимая игра — заказывать время. Я говорил себе: завтра я проснусь двадцать три минуты восьмого. Я просыпался тютелька в тютельку, и очень гордился этим.

И другая игра: повернуться на спину и стараться, чтобы не было ни одной мысли. В те дни это никогда не получалось. Теперь, к сожалению, получается.

Я могу заставить себя лежать, не думая ни о чем, с совершенно пустой головой.

Грустно!

ПЯТЕРКА ПО ГЕОГРАФИИ —

В институте я совершил три провинности. За каждую из них меня беспощадно выгоняли, сажали на телегу и с позором отправляли домой.

Через пару недель прощали — мера была чисто воспитательная. Я понял это со второго раза и не очень-то переживал.

Рядом с нами, через стенку, находилась палата девочек. Самую красивую звали — я и сейчас помню — Маргарита Бельская.

Некоторое время мы обменивались записочками, потом кое-что придумали, причем в затее нашей принимали участие обе палаты.

Сначала мальчики, стащив у Прасковьи Александровны сантиметр, измерили расстояние вдоль стены от угла до моей кровати, затем провели перпендикулярную черту вверх и нарисовали кружок на уровне моего лица.

То же самое проделали девочки.

Ежедневно — минута в минуту — я и Маргарита прикладывались губами каждый к своему кружку.

Так и целовались мы через стенку — Ромео и Джульетта из "Института восстановления трудоспособности физически дефективных детей имени профессора Турнера".

Застукала нас, конечно, Анна Сергеевна. Случайно застав меня за непонятным занятием и сразу обнаружив кружок с другой стороны, она как-то удивительно быстро все сообразила.

Нами двигала наивность, а ею испорченность.

И телега, громыхая по булыжникам, впервые повезла меня домой — очевидно, за разврат.

А теперь представьте себе ночь. Легкая суeta в коридоре. Три фигурки, чуть слышно постукивая костылями, возвращаются и ныряют под одеяло. Спим.

Утром поднимается страшный шум. В глаза персоналу бьет криво повешенная подпольная стихотворная стенгазета. Эпиграммы на всех — на врачей, сестер, воспитателей.

Была у нас, к примеру, массажистка — пожилая грузинка невероятной толщины. По секрету она хвасталась мне: "В молодости я была так красива, что меня однажды даже похитили".

И вот — пожалуйста:

Грузинскую красавицу пятнадцати пудов
К телеге потащили пятнадцать молодцов.
Тащили, задыхаясь и выбившись из сил —
Один из них свалился и грыжу получил.
Но тут на небе вышла задумчиво луна
И деву озарила задумчиво она.
На деву поглядела разбойничья рать,
Швырнула ее наземь и бросилась бежать .

Дурачок! Ничего себе законспирировался! Ведь стихи в институте писал я один!

И меня изгнали, как Пушкина.

Но особенно возмутил администрацию третий мой проступок. Во взрослое сознание он просто не укладывался.

После конкурса юных дарований учителя приходили в институт заниматься со мной индивидуально. Сдавать же экзамены меня возили в ближайшую школу.

Должен сознаться, у меня и теперь два камня преткновения — история и география. А тогда...

Я сидел на стуле перед огромной картой Советского Союза. Старый добродушный географ решил не обременять меня трудными вопросами и попросил показать Волгу.

Я знал, что Волга река длинная и храбро ткнул указкой в изогнутую голубую полосу — кажется, в Лену.

Географ даже откинулся на спинку от изумления, но все же задал еще один вопрос: где находится Новосибирск?

Я знал, что Новосибирск далеко, и указка моя, немного покачавшись, уверенно уперлась в Ташкент.

При этом чувствовал я себя неплохо, нахально надеясь, что мне, больному ребенку, двойки не поставят.

Однако, учительская честность оказалась сильнее жалости.

— Ну как? — спросили меня в институте.

— Пятерка! — ответил я с гордостью.

Вот этого, по их выражению, цинизма они и не могли мне простить.

Почему пятерка? Ну сказал бы тройка.

А я и сейчас себя понимаю. Врать — так уж на всю катушку. Скажи я "тройка", никто не обратил бы внимания: сдал и сдал.

А тут меня хвалили целых два дня, пока все не выяснилось.

А к грохоту колес по булыжнику я уже привык.

ГОВОРЫ —

Я очень любил играть с братом в "говory". Игра строилась на диалоге. Выглядело это, примерно, так:

Я: Тогда Лева соскользнул с дерева прямо на спину бенгальского тигра.

Брат: Тогда Моня гигантским прыжком выскочил из кустов и схватил тигра за лапы.

Я: Тогда Лева молниеносно сунул руку тигру в пасть, схватил его за язык и закричал: "Моня, я сейчас перережу ему горло кинжалом, а ты скорее плети из лиан носилки, иначе нам будет его не дотащить".

Мы говорили быстро, захлебываясь от возбуждения, перебивая друг друга. Иногда это были реплики, иногда длинные монологи. Но ни мыслей, ни рассуждений — только действие.

Игра продолжалась часами.

В день рождения, когда мне исполнилось тринадцать лет, меня отпустили из института Турнера на побывку.

Улучив момент, я предложил брату: "Сыграем?"

Пятнадцатилетний Моня смущенно согласился: "Давай".

Но у нас уже ничего не вышло.

Впрочем, брат, которому я прочитал этот кусочек, поправил меня. Он утверждает, что говорил один я, а он только время от времени вставлял:

— И Моня тоже.

НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ —

А еще я помню январь 36-го года. Папа записал меня на конкурс юных дарований, и участников этого конкурса пригласили на школьные каникулы в Новый Петергоф.

Петергоф был новый, а гостиница старая, деревянная, хотя и называлась пышно и претенциозно — "Националь".

Зима выдалась на редкость снежная. Весь день мы катались на финских санях (меня привязывали, чтоб не вывалился), вечером заводили граммофон, слушали Утесова и "Китайскую серенаду", читали стихи. Было очень весело.

Ел я отдельно (в столовую меня не носили), но мне ужасно нравилось, что меня обслуживает официант. Я как-то лишний раз самоутверждался.

Он ждал, пока я поем, не присаживаясь, стоя, и это особенно восхищало меня.

Кто-то рассказал, что в столовой к обеду подают перец и горчицу.

Я попросил тоже. Он улыбнулся, но принес.

Я крохотной ложечкой клал желтую бурду на котлету, по щекам моим текли слезы, и я был вне себя от счастья.

МОЙ ДЕД —

Родители называли меня Эйлэ-Лэйб в честь двух моих дедов. По паспорту я — Лев Друскин. Но мне очень нравится, что у меня есть еще одно красивое имя — Илья.

В семье про деда ходили легенды. Он был не такой человек, как все, немножко "а мишугенер": пописывал стихи (могу себе представить какие!) и усердно занимался изобретательством.

В частности, он изобрел часы под названием — "Чтобы часовой не спал на посту".

Часы эти надо было заводить каждые пятнадцать минут, иначе они останавливались намертво. И тут уж ясно — солдат заснул, и его следует наказывать.

До такого хитроумного изобретения могла додуматься только еврейская голова!

Милый и смешной образ деда настойчиво просился в стихи, и я не сумел ему отказать.

В веселый день сорокалетия
Так странно думать мне, друзья:
Жил человек на белом свете
И был Лев Друскин, как и я.
Он был, как я, Менахем-Мендл:
Поэт, мечтатель, сумасброд.
И бабка плакалась соседям
И подавала на развод.
Он ничего — чудак — не нажил,
Он так и умер бедняком,
Но ангелы спускались даже
К нему от Господа тайком.
И вот он входит — ты не смейся! —
Он первый гость в моем доме.
Он говорит, потрогав пейсы,
Как все здесь нравится ему.
И у тебя прощенья просит,
Что он не в модном сютуке,

И тост красивый произносит
На непонятном языке.
И я сажусь поближе к деду,
И мы, забывши обо всем,
Ведem ученую беседу
О том — о сем, о том — о сем.

Это стихотворение — из любимых. Но не обошлось без конфуза. Дедов я, оказывается, перепутал. Чудаком и изобретателем был не Лев, а Илья, не Друскин, а Тумаркин.

КТО БОЛЕЕ ВЕЛИК ? —

В детстве я часто задумывался: кто более велик — Пушкин или Сталин? И всегда отвечал себе: "Нет, все-таки Сталин". Пройдут века, вернее тысячелетия, Пушкин забудется, а имя Сталина будет сиять вечно.

ГРИБНОЙ СУП —

Теперь, припоминая, я вижу много горьких примет нашей бедности, хотя я долго, чересчур долго их не замечал.

Мы покупали серую булку, а булку за рубль сорок пять никогда.

Селедку резали маленькими кусочками. Взять два кусочка считалось неинтеллигентным.

Пирожные я за все детство пробовал три-четыре раза. Иногда мама устраивала "картофельный бал" — масло, простокваша в глиняном горшке (она была необыкновенно вкусной и резалась кусками) и большое блюдо, на котором в облаке пара навалом лежала картошка в мундире.

А еще вспоминается, как папа, вернувшись из санатория, рассказывал маме, что клал ложку масла во все — и в первое, и во второе, а я не мог понять: зачем? Ведь противно же!

Глаза у меня открылись неожиданно. На обед сварили любимый грибной суп. Жили мы, кажется, на даче, в Тайцах.

Папа подрядился на лето заведовать аптекой и нам дали бесплатно комнату с верандой.

Очистив полную тарелку, я попросил добавки. Мне принесли, но это оказался совсем другой суп — черный, неаппетитный, без сметаны. И вдруг меня резануло по сердцу: да это же тот суп, который ели родители. Для детей погуще, для них попроще!

Вечером я заставил папу все рассказать. Для того, чтобы отправить меня в Берлин на лечение, потребовалось много денег, и он вступил в частную аптечную артель. Артель лопнула. К счастью, никого не посадили, просто разложили долг на всех участников. Для нас сумма была нереально велика, однако власти и тут поступили гуманно: папу опять не арестовали. Но жизнь превратилась в кошмар — время от времени к нам являлись с обыском и описывали (и тут же отбирали) почти все, что удавалось приобрести.

И я отчетливо вспомнил непонятное: раскрытый шкаф, разбросанные по полу вещи, маму с заплаканными глазами, и добродушный голос незнакомого человека: "Да не убивайтесь вы так! Обещаю вам, это в последний раз. Больше мы не придем".

После папиной смерти дядя Лазарь внезапно подарил нам пианино. Я искренно подивился его щедрости. Через несколько месяцев, в грохочущем товарняке, увозившем нас в эвакуацию, я узнал из маминого уже почти предсмертного шепота, что пианино было наше — оно простояло долгие годы у дяди Лазаря, иначе его бы конфисковали.

Проклятая слепота детства и юности! Благословенная эгоистическая слепота!

РАЗВЕ МОЖНО УЕХАТЬ ИЗ СОВЕТСКОГО СОЮЗА? —

К нам в гости часто приходил доктор Идельсон — красивый бородатый мужчина, казавшийся мне тогда стариком. Теперь, с вершины своего возраста, я предполагаю, что ему было лет тридцать пять. Родители с ним очень дружили.

И вдруг он перестал у нас бывать. Я спросил, почему. И мама сказала:

- Он уехал в Палестину.
- На время?
- Нет, насовсем.

До чего же это было удивительно! Разве из нашей страны можно уехать? И зачем? Я не мог припомнить ни одного такого случая. И потом, Палестина... Странная чужая земля, существовавшая две тысячи лет тому назад. Сказка из детского еврейского журнала "Колосья", выходившего до революции. Разве можно куда-нибудь уехать из Советского Союза? Я спрашивал себя об этом с недоумением.

Через много лет, находясь все в том же замкнутом пространстве, я напишу с тоской:

Неужели в городе Париже
Тюильри и Лувр и Нотр-Дам!
Я-то никогда их не увижу,
Никогда не побываю там.
Важный слон, склонившийся в привет,
Знойных островов архипелаг...
Есть ли Ява въявь на белом свете?
Есть, конечно, — я же не дурак.

Я не был дураком и в детстве. Я знал, разумеется, что такая страна — Палестина — есть на белом свете. Однако, изумление мое не проходило.

А доктор Идельсон появился в нашей квартире снова. Оказывается, это была только разведка, но разведка удачная. Он о чем-то долго и горячо говорил с папой — может быть, убеждал.

Вскоре он забрал с собой жену и сына и опять уехал — на этот раз навсегда.

НА ПОДОКОННИКЕ —

Снова лежу на подоконнике.

В подворотне, на противоположной стороне, о чем-то шушукаются три девушки. Каждая руками приподнимает грудь. Меряются: у кого больше?

Я только диву даюсь: да какая им разница?

ПЕСНЯ ПЕСНЕЙ —

Сначала я вообще не хотел об этом. Но ведь я пишу исповедь. И потом, мне интересно, так ли это бывает у других?

Передо мной факсимильное издание "Огненного столпа" Гумилева. Вот одно из его самых блестящих стихотворений "Шестое чувство".

”Так мальчик, игры позабыв свои,
Следит порой за девичьим купаньем,
И ничего не зная о любви,
Все ж мучится таинственным желаньем...”

И сразу время расступается.

Я лечился тогда в институте Турнера. Нам было по десять-двенадцать лет, но в нас уже властно говорил пол.

Когда нянечка Вера влезала на подоконник и мыла окно, мы, четверо мальчишек, не сговариваясь, поворачивались на спину, отодвинув в сторону подушки.

Что видели мы? Только узенькую белую полоску над чулком. Но не от этого ли не спалось нам по ночам?

А затем нахлынула юность. Женщины стали агрессивными. Они наступали, а я неизменно пасовал.

Учительница истории Валентина Сергеевна принимает у меня экзамен. Дело происходит дома. Отвечая, я кладу руку на край журнального столика и внезапно чувствую ее колено.

Испуганно отстраняюсь, продолжаю отвечать. Но какая уж тут история! Во рту пересохло, в голове бьется мысль:

”Неужели это получилось случайно?”

Пересилив себя, кладу руку на прежнее место, и снова колени Валентины Сергеевны прижимает ее к краю.

Не могу пошевелить пальцем, бормочу что-то несусветное. Но мне ставится щедрая пятерка.

Пятерка!

А ведь — ох! — вероятно, следовало поставить двойку.

Проходит несколько лет, и туськина знакомая — Лена, мать двоих детей, приносит мне редкое издание "Милого друга", где все не только написано, но и нарисовано.

В следующий раз она является в прозрачной кофточке — настолько прозрачной, что она была бы неприличной даже по нынешним временам.

И сообщает, что у нее идеальная фигура.

— Видишь? Расстояние от груди до талии должно равняться расстоянию от талии до бедра.

Она не торопится — ведь я не свожу с нее глаз и никуда не денусь.

Но все ее планы опрокидывает война.

Эвакуация. Самаркандская гостиница. Вечер. Я лежу на кровати в своей комнатушке. В ногах у меня сидит молоденькая генеральша из соседнего номера. Ее семидесятилетний муж давно похрапывает за стеной, а мы заболтались.

Мы говорим о всякой всячине, я добродушно разбираю ее неумелые стихи.

И вдруг она придвигается и спрашивает шепотом:

— Ты любишь женщин с маленькой грудью?

Я онемевая. А она смеется и гасит свет.

Потом она долго сидит около меня — совсем близко. А я будто каменный — ни слова, ни движения.

И, как два бойца, схватились во мне чувства желания и страха.

Прихожу в себя от раздраженного стука двери. И так же раздраженно и громко хлопает дверь соседнего номера.

Я ругаю себя отчаянными, последними словами. Я думаю;

"Ну, ничего... вот завтра..."

Но на завтра они уезжают.

А когда миновала еще треть жизни, в шестидесятые годы, я посмотрел по телевизору грустный фильм "Простая история" и полностью отнес в свой адрес слова:

"Хороший ты мужик, Степан Егорыч, а не орел".

Время лишило мои воспоминания телесности, оставив улыбку и сожаление.

И конечно же, все это, соединившись, подсознательно жило во мне, когда я писал свою "Песню песней".

... Грудь ее была,
Как улей на заре, как сад весенний.
Мы, мальчики, робели... Ну а ей,
Мне кажется, не очень-то хотелось,
Чтоб мы пред ней робели... И однажды...
Но тут внезапно началась война.
Теперь я знаю: каждая потеря
Невосполнима. Стоит растеряться,
И растеряешь многое — себя,
Судьбу, надежду... Да, теперь я знаю.
Лет через десять-двадцать я смогу
Похлопать по плечу Мафусаила.
Жизнь удалась. Окончен вкусный ужин.
Жена ушла, сказав: "Спокойной ночи".
А я рисую внуку паровозик
И вспоминаю: грудь ее была,
Как улей на заре. Нет, не об этом!
Подумай лучше о другом. Хотя бы,
Что грудь ее была, как сад весенний.
Я был дурной пчелой... Вот и осталось:
Очки в футляр, ботинки к батарее —
И пусть нас мучат молодые сны.

*"Жил писатель Маршак,
Он курил постоянно табак.
Все курил, и курил, и курил —
Так и умер Маршак Самуил".*

С. Я. Маршак

"Эпитафия самому себе" (первый вариант)

Воспоминания о Маршаке я вставляю в главу "Детство", хотя это не совсем правильно. Он шел со мной всю жизнь, идет и сейчас, и я часто вижу его напротив: то пятидесятилетнего, полного, но очень подвижного, со сбившимся набок галстуком, с живым рябоватым лицом, со лбом "в апофеозе папиросы", то изможденного, похожего на старушку, усохшего вдвое, почти бесплотного, особенно на фоне полнокровного, громогласного, ведущего телепередачу Андронникова.

С этой передачи я, пожалуй, и начну.

Было невыносимо смотреть на маленького, сжавшегося в комок автора классических переводов и знаменитого краснобая, уверяющего, что Маршак — изумительный рассказчик, плетущего за него какие-то литературные анекдоты и всякую ахинею, и говорящего: "Сема, ты..."

А тот только кивал головой и бормотал: "Да-да, да-да..."

Евгений Шварц писал:

"Мы легко перешли на "ты", так сблизил нас работа. Но мое "ты" было полно уважения. Я говорил ему: "Ты, Самуил Яковлевич..." До сих пор за всю мою жизнь не было такого случая, чтобы я сказал ему: "Ты, Сема..."

При взгляде на съежившуюся жалкую фигурку наворачивались слезы, и веселое панибратство Андронникова было неуместным и ужасным.

А сейчас вернемся в 32-й год, в один из моих счастливых приездов из больницы.

В этот день я достиг новой художественной степени, сочинив стихотворение "Ворон". Первая строфа казалась мне верхом совершенства.

И вдруг в дверях возник Неусихин из "Ежа" и торжественно провозгласил:

— Ну, Лева, я привез тебе Маршака!

Не буду нарушать правил и выдумывать: запомнил я немного, но зато уж запомнил.

Я знал, что Самуилу Яковлевичу мои стихи нравятся и, чтобы похвастаться, я — одиннадцатилетний дурачок — после первых фраз сразу стал читать ему своего "Ворона".

Я вещая птица,
Зловещая птица —
Люблю я лететь и сидеть:
Лететь, чтоб садиться,
Сидеть, чтобы взвиться,
А взвиться, чтоб снова лететь.

Маршак даже не улыбнулся. Он просто сказал:

— А теперь давай я тебе читаю.

И начал:

"Ворон к ворону летит,
Ворон ворону кричит:
"Ворон, где б нам отобедать?
Как бы нам о том проведать?"

Я был ребенок начитанный и, разумеется, мог бы и сам продекламировать Пушкина наизусть. Но здесь два стихотворения встали рядом, и я тут же устыдился. А глуховатый голос продолжал чеканить этот потрясающий диалог:

"Ворон ворону в ответ:
"Знаю, будет нам обед.
В чистом поле под ракитой
Богатырь лежит убитый".

Почему стихи звучат совсем по-другому? Ведь я читал их столько раз! Откуда же эта музыка?

"Где убит и отчего,
Знает сокол лишь его,
Да кобылка ворона,
Да хозяйка молодая".

И почти отрешенно:

”Сокол в рощу улетел,
На кобылку недруг сел...”

И унылым эхом с пронзительной интонацией на последней строке:

”А хозяйка ждет милого —
Неубитого, живого”.

И все это в железном ритме, ни на миг из него не выходя.

А о моем ”Вороне” — ни слова. Да я и сам забыл про свое неуклюжее детище.

Наверное, я впервые понял тогда, что такое поэзия, и не понял — почувствовал, какой передо мной педагог.

Уходя, он внезапно обернулся, быстрым движением взбил волосы, сунул руки в карманы и скорчил плутоватую рожу.

Я даже взвыл от восторга.

Через полгода на последней страницы ”Правды” появилась заметка: ”В Ленинграде закончился конкурс юных дарований. Первую премию получил двенадцатилетний школьник Лева Друскин за драматическую поэму ”Человек все победит” ”.

Кстати тогда же Самуил Яковлевич выхлопотал мне пенсию, которую я, вплоть до нынешних дней, получал с прежней формулировкой: ”Как исключительно талантливый мальчик в области драматургии”.

Не знаю, каким образом распознал меня Маршак. Многие ребята писали великолепно, по-моему, гораздо лучше.

Поэма Алика Новикова о Ломоносове и сейчас слушается превосходно. Куда Солоухину!

”Держит Михайло граненый стакан,
Мелькают камзолы и ленты,
Катятся бочки по доскам к столам —
В кнейпе пируют студенты.
Негде взять студенту
Время для ученья!
Утром надо выпить,
Ночью стекла выбить,

Надо прогуляться
Вечером с девчонкой,
Надо отдубасить
Филистеров племя —
Где же для ученья
Взять студенту время?”

И все-таки, вместо этих блистательных стихов, на первом съезде писателей Маршак цитировал мои — детские и смешные:

Будь то молния иль змеи,
Будь то тигр или кит,
Человек все одолеет,
Человек все победит.

Цитировал он мою поэму и в журналах “Резец” и “Рабочий и театр” (тогда были модны такие названия, символизирующие главенство рабочего класса), но нигде — ни в выступлениях, ни в статьях — он не приводил моей фамилии: двенадцатилетний мальчик, да и все.

Не хотел, чтобы я зазнался.

По его инициативе организовали ДДЛ — Дом Детской Литературы, для которого по указанию Кирова отвалили целый этаж, на Исаакиевской 5, в помещении теперешнего института театра и музыки.

Впрочем, об этом писали другие, а я не стану, тем более, что при Маршаке меня не привозили туда ни разу.

Но и заговорил я об этом не случайно, а чтобы помянуть хорошего человека.

Кроме Маршака, осуществлявшего, так сказать, духовное руководство, был еще и директор — Абрам Борисович Серебрянников.

Летом 35-го и 36-го нас, вундеркиндов, возили по стране. И оба раза Абрам Борисович брал меня с собой. Для чего он взваливал на себя такую ответственность и такую обузу? Ведь меня всюду приходилось таскать на стуле-носилках.

В 37-ом году Абрам Борисович канул, разделив судьбу своего поколения, а его молодая жена покончила с собой.

Я горжусь тем, что после его ареста позвонил в НКВД, наивно сказал, что мы, ребята, за него ручаемся и просил отпустить.

Вокруг меня, сгрудившись, взволнованно дышали Юра Поляков, Шура Катульский и Наташа Мандельштам.

Мне грубо ответили, чтобы мы не совались не в свое дело.

Помню, как мы были обескуражены — ведь с нами еще никто так не разговаривал.

А теперь о первой поездке.

Мы поездом добрались до Харькова. Зазвучала украинская речь. Я развернул газету и прочитал про одного молодого скрипача, что он играет "не погано".

Наконец-то я увидел всех ребят первого набора — человек сорок.

Фамилия черноглазого худенького мальчика была Мицкевич.

Я шутливо спросил:

— Адам?

Он серьезно ответил:

— Нет, Абрам.

Следующий город — Запорожье. Ночь. Меня несут на стуле-носилках по плотине Днепрогэса, а кругом огни, огни...

И разговор, что инженеры здесь живут в коттеджах. Я не знал этого слова, и мне представлялись какие-то неопишуемые дворцы, только маленькие.

В Запорожье состоялось собрание. Очень толстый мальчик Алик Гольдберг (ныне старший научный сотрудник Публичной библиотеки) поставил вопрос, чтобы его больше не дразнили "гусем". Приняли соответствующее решение, проголосовали единогласно, но, разумеется, с той поры на протяжении всей поездки его только так и звали.

Самуил Яковлевич собирался ехать с нами, но его отвлекли неотложные дела, и он поручил нас Даниилу Хармсу. Это был высокий человек с красивым неподвижным лицом — всегда в жокейской кепке, гольфах и бриджах.

Мы знали и любили его странные стихотворные считалки:

”Шел по улице отряд,
Сорок мальчиков подряд:
Раз, два, три, четыре
И четыре по четыре,
И четырежды четыре,
И еще потом четыре”.

Мы загибали пальцы, подсчитывали каждую звонкую и радостную строку, и постоянно изумлялись безупречной точности результата.

Но ни мы, ни (я думаю) Маршак не знали замечательной абсурдистской прозы, которую Хармс создал задолго до Ионеско и Беккета.

А вот в духовные руководители он не годился, хотя бы потому, что не обращал на нас ни малейшего внимания.

Видели мы его только за столом. Он коротко кивал нам, садился, наливал стакан и опускал в чай градусник. Он внимательно следил за темным столбиком и, когда температура удовлетворяла его, вытаскивал градусник и завтракал.

Если было свежо, он просил закрыть ближайшее окно, чтобы масло от сквозняка не скисло.

Алексей Иванович Пантелеев рассказывал, что однажды он шел по улице с семилетней племянницей и встретил Хармса.

— Ваша? — брезгливо спросил тот.

— Моя, — удивился Алексей Иванович.

— Какая гадость! — сморщился Хармс.

Он, конечно, был чудачком, но, говорят, еще и ”косил сумасшедшего”, потому что смертельно боялся ареста.

Бедный! Не спасло это его...

”Из дома вышел человек
С дубинкой и мешком,
И в дальний путь,
И в дальний путь
Отправился пешком.
Он шел все прямо и вперед,
И все вперед глядел.

Не спал, не пил,
Не пил, не спал,
Не спал, не пил, не ел.
И вот однажды на заре
Вошел он в темный лес
И с той поры,
И с той поры,
И с той поры исчез”.

Многие поэты писали в то время пророческие стихи о своей судьбе. Ведь для этого даже не надо было обладать пророческим даром.

Второе путешествие в июне 36-го года, по пяти рекам: Москва-Уфа. А затем в Куйбышев и вверх по Волге, до Рыбинска.

Маршак отправился с нами и прихватил всю семью: жену, двух сыновей (Яшу и Элика) и даже невесту Элика — Таню Сперанскую.

Началось с Москвы, с приема у наркома просвещения Андрея Сергеевича Бубнова. Он встретил наш автобус на своей даче в Кунцево.

Все поразило нас.

Во-первых, дочь министра просвещения оказалась двоечницей.

Во-вторых, перед нами будто развернули скатерть-самобранку. Такого изобилия я не видел за всю свою жизнь. Одним словом, правительственный прием! На шесть-десять метров немислимые яства: паштеты, балыки, паюсная икра, миноги, севрюга... И не какие-нибудь пошлые яблоки, а клубника со взбитыми сливками, бананы и ананасы.

Перед Аликом Гольдбергом стояли экспортные крабы, но он их так и не попробовал, боялся отравиться.

Я ужасно жалел Люсю Виноградову. У нее с утра разболелся живот, ей сварили манную кашу и она ела ее, обливаясь слезами, стараясь не смотреть на это великолепие.

Потом, в саду, когда мы читали Андрею Сергеевичу стихи, произошел знаменитый случай. Вокруг ноги Наташи

Каханович обвися уж (разводил он их, что ли?). Она взвизгнула, но довела стихотворение до конца.

А когда мы вернулись в гостиницу, у Семы Слевича в карманах обнаружилось килограмма полтора "Мишки на севере". Не устоял все-таки!

Пароход "Ваня Маркин", на котором мы отчалили от московского речного вокзала, представлялся нам просторным и комфортабельным.

Плыли мы весело. Писали стихи, читали их друг другу и Самуилу Яковлевичу. Иногда сильно задавались, но он часто и убедительно сбивал нашу спесь. Авторитет его был непрекаем.

Он очень любил меня, и утром, здороваясь, всегда целовал. Он прикладывался щекой, а не губами, и это пушистое прикосновение казалось необыкновенно приятным — наверное, он всегда был тщательно выбрит.

К тому же, щека пахла хорошим одеколоном и мне это нравилось.

Почему-то он напоминал мне мистера Пиквика.

На палубе возникали романы.

Главным успехом пользовалась Наташа Мандельштам, племянница Осипа Эмильевича. Ее прозвали деревянной мадонной за холодное выражение красивого, строгого, словно вырезанного лица.

У кого-то появились стихи:

"Деревянная мадонна
Украшает мой корабль".

Она была жестокой и неприступной. Алик Новиков даже ходил из-за нее топиться.

Я тоже не избег общей участи. Это была моя первая любовь, даже до Люси Виноградовой. И конечно же, она нашла отражение на бумаге:

Ты пела. Голос твой звучал,
То замирая, то звеня.
С тоскою песне я внимал
И тайный пламень жег меня.

Четырнадцатилетняя Шура Гольдфарб, моя поверенная, округляя глаза, говорила:

— Лева, тебе еще рано думать о любви.

Почти в каждом городе мы высаживались; нас торжественно встречали, и мы выступали в клубе или Доме Культуры.

Надо сказать, Маршак не был особенно демократичен. Установилась определенная иерархия. Читали обычно я, Алик Новиков, Юра Капралов, Шура Катульский, Надя Никифоровская, Илюша Мейерович и Верочка Скворцова. Ну и двое-трое других ребят, всегда разных.

Я, как правило, упрямо выбирал стихотворение "Журавли". Мне оно нравилось, а Маршаку нет. Но он не настаивал и все же включал меня в число выступающих.

Кстати, в Горьком мы увидели пионерский оркестр, который тоже возили по стране. Мы с ними уже встречались в прошлом году, и мальчик, игравший на виолончели, довольно ехидно спросил меня: чего это я два года подряд читаю одно и то же стихотворение?

В Горьком случилось и другое происшествие: меня забыли на пристани.

Суетились, носили вещи, шумели. И вдруг сняли сходни и пароход отвалил. Он удалялся по Волге, постепенно уменьшаясь, и наконец превратился в точку.

А я нисколько не струсил. Я сидел и думал спокойно и немного печально:

"Ну вот я и остался один. Что же со мной теперь будет? Пришлют телеграмму из другого города? А как же их догонять? Поездом? А кто меня повезет?"

Но точка стала расти, над ней появились трубы: пароход возвращался. На пристань сбежал Элик Маршак, схватил меня в охапку и понес.

С Эликом у меня связан еще один милый и смешной эпизод.

Я перевлюбился в Люсю — детская любовь коротка. И чтобы произвести на нее впечатление, распустил слух, что у

меня есть яд и я собираюсь отравиться. До этого я уже якобы проглотил граммофонную иглу.

Ох, и книг я начитался к тому времени!

Слух дошел до Маршака. Он вряд ли поверил, но на всякий случай подослал ко мне Элика.

Элик явился грустный и стал делиться со мной своими несчастьями. Выяснилось, что Таня его не любит и он решил покончить с собой. Так вот, не дам ли я ему немного яду?

Хитрость была шита белыми нитками и мне стало жутко смешно.

А он пристал, как репей.

Не помню уж, чем это закончилось.

Мы были маленькие — плыли, дурачились, играли. Но для всех нас наступали ежедневные священные часы — занятия с Маршаком.

Я выразился неудачно — какие там занятия! Просто поразительно интересные разговоры, — разговоры, а не беседы.

И чтения. Больше, пожалуй, чтения.

Пусть не обижаются люди, не любящие стихов — здесь я буду цитировать щедро.

В моих ушах чуть сипловатый голос с астматической одышкой, и эта одышка как-то не мешала, а помогала ритму, неизменно попадая в цезуру.

Что же он читал?

Ну, конечно, прежде всего себя.

Маршак был всенародно знаменит, но только, как детский поэт — автор "Почты", "Багажа" и недавнего "Мистера Твистера".

А нам он читал дивные английские переводы, чаще всего неопубликованные.

Мы на всю жизнь сошли с ума от "Королевы Элинор".

"Я неверной женою была королю.

Это первый и тягостный грех.

Десять лет я любила и нынче люблю

Лорда-маршала больше, чем всех.

Но сегодня, о Боже, покаюсь в грехах,

Ты пред смертью меня не покинь.

— Кайся, кайся! — сурово ответил монах,
А другой отозвался: 'Аминь!' ”.

Когда пишешь о таких стихах, всегда неудержимо тянет привести их целиком, и бесконечно жаль, что приходится себя удерживать.

Под "Королевой Элинор" имеется дата — 1938 год. Но к нам она пришла в 36-ом, и здесь я не могу ошибиться.

Разумеется, Самуил Яковлевич дарил нам не только свое. Кругозор знаний и художественных потрясений раздвигался, делался необъятным.

Попытаюсь вспомнить: кого же он читал.

"Цветок засохший безуханный" Пушкина. И "Обвал", добавляя: "бернсовская строфа", хотя мы еще не понимали, что это такое.

Читая, он объяснял редко, боясь разогнать впечатление.

За Пушкиным, конечно, Лермонтов.

"Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть.
На свете мало, говорят,
Мне остается жить”.

С гениальным концом:

"Пускай она поплачет —
Ей ничего не значит”.

Такие стихи есть лишь в русской поэзии. А от кого я их узнал? От Маршака!

Что еще?

Алексей Толстой, "Поток-Богатырь", не весь — любимое место:

"Шаромыжник, болван, неученый холоп,
Чтоб тебя в турий рог искривило!
Поросенок, теленок, свинья, эфиоп,
Чертов сын, неумытое рыло.
Кабы только не этот мой девичий стыд,
Что иного словца мне сказать не велит,
Я тебя — прощелыгу, нахала —
И не так бы еще обругала!”

Мне кажется, он читал не без некоторой зависти.
А после этого сразу "Сон Попова":

"Я помню, как дитей за мотыльками
Порхали вы меж кашки по лугам..."

И Дениса Давыдова, да, Дениса Давыдова:

"Всякий маменькин сынок,
Всякий обирала,
Модных бредней дурачок
Корчит либерала".

Тут он не выдерживал:

— Чувствует, какая рифма: "обирала-либерала!"

— А Маяковского — нет, Маяковского вы еще не поймете! — говорил он, и читал поэму "Человек", да так, что мы понимали ее от начала до конца.

Он глубоко ценил Некрасова и ставил его выше Тютчева. Недолюбливал Багрицкого и ненавидел Долматовского, считая его символом пошлости.

Счастливый, тогда еще не было Эдуарда Асадова!

Интересно, что он почти не читал нам западных поэтов, только "Лесного царя" — очевидно, не нравились переводы.

Он не принимал псевдонародности. Его буквально корчило от популярной песни:

"Едут ды по полю герои,
Эх, да Красной Армии герои!"

Должен сознаться, что меня тоже корчит от интеллигентных девок, отплясывающих в утрированно русских костюмах во все этих "Березках" и "Ансамблях Моисеева".

Он терпеть не мог "Мальчиша-Кибальчиша". Ему была неприятна дешевая стилизация. Между прочим, мне она неприятна тоже.

А люблю ли я вообще Гайдара? Да, люблю. Он пишет обо всем, что мне ненавистно (об армии, например), но в нем есть такая чистота, такая вера и такая поэзия! А "Голубая чашка" — просто чудо!

Ну правильно, я совершенно согласен... Но в те дни мало, кто не заблуждался. Маршак заблуждался подольше — до самой смерти. А, может, и не заблуждался, просто не позволял себе думать, о чем не надо.

Впрочем, это отступление, хотя и не до конца лирическое. После такого отступления трудно вернуться к прежнему беззаботному тону, да я и не собираюсь.

Мы чудно попутешествовали. В Уфе и в Казани нас встречали представители малых правительств (наркомы, депутаты), но, начиная с Бубнова, "все они умерли, умерли", либо как обыкновенные враги народа, либо как буржуазные националисты.

А теперь биография.

В предисловии к однотомнику, вышедшему в 1973 году, начало жизни Маршака нарочно утоплено в тумане. Чувствуется, что старались опустить какие-то нежелательные штрихи.

Знаю, например, что в одиннадцатом году, побывав в Палестине, Маршак стал ярым сионистом и мечтал о создании еврейского государства.

Эта мысль проходит и в его стихах, у нас, разумеется, не опубликованных.

Знаю также, что он никогда не расставался с Евангелием. А члену редколлегии "Ленинградской правды" Сергею Семенову в 24-ом году на предложение создать вместе первый детский журнал ответил:

— У вас партийная печать, а я, может быть, в Бога верю.

Журнал все же образовался. Сперва он был назван "Воробей", очевидно, по стихотворению Маршака из цикла "Детки в клетке":

"Где обедал, воробей?
В зоопарке у зверей".

Но через шесть номеров журнал получил другое, более громкое название — "Новый Робинзон".

Редакция поначалу состояла из трех человек: Самуил Яковлевич (редактор), жена Семенова Наталья Георгиевна (секретарь редакции) и машинистка.

Трудно даже представить объем выполняемой ими работы.

Иногда поздним вечером, когда Маршаку приходила в голову интересная мысль, он звонил по телефону:

— Наталья Георгиевна, срочно собирайтесь и приезжайте — за извозчика я заплачу.

Правда, в творческом пылу, в папиросном дыму и спорах он обычно забывал о своем обещании.

По косвенным данным Самуил Яковлевич действительно верил в Бога. В ящике его письменного стола и сегодня лежит растрепанный псалтирь, который он берег, как зеницу ока.

А вот сионистскую заразу выжег до основания, и о трагедии еврейского народа во время войны нет у него, к сожалению, ни единой сочувственной строки.

Зато в переводах из Квитко восхитительно передается еврейская интонация. Но это — искусство имитатора. В собственном творчестве таких интонаций нет. А у Светлова и Уткина полно.

Так что Самуил Яковлевич Маршак — несомненно явление русской культуры, и на нем не лежит иного национального отпечатка, хотя ярче всего он проявил себя, как переводчик.

Но начал он не с этого.

Можно без всякого преувеличения сказать, что Маршак и Чуковский создали, вытащили на своем горбу детскую литературу.

Впрочем, что это я про горб? У них-то как раз горба и не было!

Ведь "горб верблюжий такой неуклюжий" вырастает "у тех, кто слоняется праздный", а эти копали "до десятого пота".

Что было до их титанического труда? Сюсюканье "Задумчивого слова"?

"Кто вас, детки, крепко любит?
Кто вас нежно так голубит?"

Не смыкая ночью глаз,
Кто заботится о вас?
Мама золотая —
Все она родная”.

А тут в одном только Ленинграде — Житков, Бианки, Пантелеев, Хармс, Чуковский, да, между прочим, и сам Маршак.

А редактора какие: Любарская, Задунайская, Габбе, Лидия Корнеевна Чуковская. И опять же сам Маршак.

По воспоминаниям десятков людей редактор он был удивительный.

Вот у Субботина фраза:

”Отчетливо помню сейчас тот испуг, который я пережил”.

А вот после маршаковской правки:

”Я до сих пор помню, как я испугался”.

Даже не верится, что здесь тоже восемь слов, настолько все прозрачнее и точнее.

Но Самуил Яковлевич был не просто советчиком, а диктатором, которого раздражала непонятливость и медлительность. Он нетерпеливо вписывал в чужую рукопись свои абзацы, куски, перекраивал композицию.

Его вставки были всегда к месту и хороши. Но талантливых людей это подчас било по самолюбию: ”Пусть хуже, да мое!”

Самолюбие самолюбием, а вкус вырабатывался отменный, и чуть ли не вся лучшая часть детской литературы прошла через это горнило.

Однако, и худшая тоже.

Всю эту шушеру вполне устраивало, что Маршак писал за них. ”Юнармия”, ”Записки подводника”, ”Мальчик из Уржума” — всюду чувствуется его хватка.

”Узнаю тебя по рычанию, лев!”

А теперь пойдут печальные страницы, но из песни слова не выкинешь.

Самуил Яковлевич оказался человеком несмелым. Когда начались аресты и он был еще в силе, он не пробовал вступаться ни за кого: ни за Белых, ни за Серебрянникова.

Текки Одуло́к (маленький юкагир) — вот о ком надо здесь рассказать. Сейчас вы поймете почему.

Юкагиры — крохотный народ, живущий на севере Якутии. Один юкагир начал сочинять стихи и рассказы, и его отправили учиться в Ленинград, в Институт Народов Севера им. Енукидзе.

Текки Одулок окончил институт и написал прекрасную повесть "Жизнь Имтеургина Старшего". Маршаку она понравилась чрезвычайно. Он показал рукопись Сейфуллиной, та Горькому — оба были в восторге — и повесть напечатали.

Но Текки Одулок жил и радовался недолго — его тоже затянуло в тюремный водоворот.

В журнале "Пограничник" появился захватывающий репортаж. Оказывается, когда юноша-юкагир ехал в поезде Владивосток-Москва, его выкрали из вагона, убили и подменили японским шпионом.

Тот, выполняя секретное задание, окончил институт, постепенно повышаясь в чинах, и дослужился до полковника японского генерального штаба.

Парадокс заключался в том, что знаменитую повесть написал в таком случае не сам Одулок, а японский полковник. Но это никого не смущало.

А кто попался на обман? Маршак! А, может быть, не попался?

И в деле, заведенном по доносу писателя Григорьева, пошла эта первая козырная карта.

Вот еще один отрывок из воспоминаний Евгения Шварца:

"Как человек увлекающийся, Маршак, случалось, ошибался в выборе учеников и вырастил нескольких гомункулов, вылепил двух-трех големов. Эти полувоплощенные существа, как известно, злы, ненавидят настоящих людей и в первую очередь своего создателя".

Несколько писателей — Григорьев, Голубева, Мирошников — выступили на открытом партийном собрании с заявлением, что Маршак — английский шпион.

Доказательства?

Помогал японскому собрату, долго жил в Англии (где

его, по всей видимости, и завербовали), постоянно переводит с английского.

Разве не достаточно?

В адрес Самуила Яковлевича полетела телеграмма:

”Гражданин Маршак! Прошу дарственную надпись на моей книге считать недействительной. Григорий Мирошниченко”.

Маршак спасся бегством. Он перебрался в Москву. Профессор Сперанский, чтобы уберечь, спрятал его к себе в клинику. Но ведь в больнице нельзя лежать вечно.

И все-таки решение Самуила Яковлевича было единственно верным.

Надежда Яковлевна Мандельштам писала позже, что был такой способ — сменить город. Изредка номер проходил — карательная машина работала неслаженно.

Однажды, весной 38-го года, Маршак робко вышел, чтобы купить газету, и на первой странице увидел указ: правительство награждало его орденом Ленина.

Тьма расступилась. Пришли — и уже насовсем — вдохновение, труд, почет, богатство, и, по-моему, даже в семье неприлично было говорить о пережитом кошмаре.

Нарушил это правило только Григорьев. Он приехал в Москву, готовый валяться в ногах, умолял о встрече, но Маршак его не принял.

И поступил мудро.

В той же ситуации Зощенко простил Катаева, тронутый его раскаянием и слезами, но когда развернулась травля, Катаев написал второй донос.

А в 1978 году мои друзья слышали его речь на вечере памяти Зощенко.

Седой, скорбный, он говорил об их многолетней дружбе и закончил проникновенными словами:

— Доброго пути тебе, Миша...

Какого пути? Посмертного?

Всему залу было известно, что Зощенко, хотя вроде бы и скончался на воле, по сути убит. Но мало, кто знал, что убит он не без помощи этого хамелеона.

А теперь я обращаюсь к памяти. Память, память, служи

мне, пожалуйста! Я всегда относился к тебе с недоверием. Мне приносят письма и документы и я с изумлением убеждаюсь, что они почти ничего не добавляют, настолько ты свежее и достовернее.

Я сижу у Маршака — в Москве, на улице Чкалова, в низком неудобном кресле, а он напротив — в своем любимом, вертящемся.

На столе еще нет знаменитой книжки, обтянутой клетчатой материей — ну такой, из которой делаются шотландские пледы, и дружеская рука не подписала еще:

”Моему лучшему переводчику от мэра города Глазго и от меня. Роберт Бёрнс”.

Эту прелестную надпись я не увижу. Мне расскажет о ней в 63 году моя жена Лиля.

И Самуила Яковлевича я тоже больше не увижу, хотя буду много раз говорить с ним по телефону.

Но это — после войны. А сейчас она только началась.

Маршак дымит папиросой, покашливает, читает. Если закрыть глаза, совсем как тогда, на пароходе.

И снова все в первый раз, из первых уст:

”Забыть ли старую любовь
И не грустить о ней?
Забыть ли старую любовь?
И дружбу прежних дней?”

Боже мой, до чего хорошо!

Война только началась. Мы приехали в Москву на пару дней по делам агитбригады. Меня принесли на стуле-носилках мои товарищи Илья Ольшвангер и Женька Гвоздев. Как это замечательно, что Маршак зазвал нас в гости.

Экономка Розалия Ивановна угощает нас печеньем, приговаривая мягко, с немецким акцентом:

— Кушайте, кушайте...

Воеет сирена.

Маршак поддразнивает:

— Розалия Ивановна, ваши прилетели!

А когда звучит отбой, ласково прощается с нами, сует

мне плитку английского шоколада, и я последний раз чувствую пушистое прикосновение его щеки.

Маршаку принадлежит много глубочайших мыслей о жизни и о творчестве.

“Человек должен быть суверенным, как держава. Никто не назначит вам цены. Только вы сами”.

Цену он себе понимал. Хотя суверенным не был. Наоборот, постоянно становился все более маститым и официальным.

Художник Соколов писал:

“Самуил Яковлевич плохо знает Москву. Просто ему не приходится ходить. Некогда. Он ездит на машине”.

Слово “некогда” тут ничего не спасает.

Я с грустью перебираю его фотографии. Вот со Сталиным. Вот с Горьким. Вот с Фадеевым. А где же с Пастернаком, Цветаевой, Мандельштамом? Ведь они современники!

Алик Гольдберг, осаждавший его визитами, спросил, нравятся ли ему стихи Пастернака?

Маршак ответил уклончиво:

— Когда поэт находится в таком положении, ему трудно творить.

На политические темы с Маршаком было как-то даже неудобно разговаривать. Улитка тут же пряталась в раковину.

Еще бы! Золотым дождем сыпались на Самуила Яковлевича ордена и награды.

Однажды он зашел с Сейфуллиной на огонек к Горькому и застал там Сталина и Ворошилова.

Сталин был в благодушном настроении, с удовольствием слушал стихи, просил надписать книжку для Светланы, а о Сейфуллиной, резавшей правду-матку, сказал:

— Смелая женщина. Именно такие люди нам нужны.

По счастливой случайности Сейфуллина не дожидая ареста и умерла своей смертью. По счастливой, потому что игра со Сталиным в правду редко заканчивалась вничью.

Маршак не придерживался Формулы Николая Ушакова: “Может быть, не думать нам о славе...”

Он пил эту славу полными горстями.

Известен курьезный случай. Маршаку досталась в поезде верхняя полка и он сильно расстроился.

— Голубчик, — обратился он к человеку, сидевшему внизу, — я очень болен, не согласитесь ли вы поменяться со мной местами?

— Охотно, — ответил тот.

Но Маршака распирало:

— А знаете ли вы, кому вы уступили полку? — спросил он и выдержал значительную паузу. — Я детский писатель Маршак.

— Очень приятно, Самуил Яковлевич, — ответил человек, — а знаете ли вы, кто уступил вам полку? Я — президент Академии наук СССР Вавилов.

Маршак по-прежнему упорно возился с чужими рукописями. У него появились новые талантливые ученики: Борис Заходер, Валентин Берестов, Лев Гинзбург.

Он помогал им — для них, в отличие от Дудина, который поддерживал прикованную к постели Галю Гампер для себя. Дудин хотел, чтобы ему принадлежала честь открытия очередного Николая Островского. На ее первую тоненькую книжку он организовал пятнадцать рецензий. Но едва Галя, обманув его ожидания, стала писать глубокие трагические стихи, он потерял к ней всякий интерес.

После войны главной любовью Маршака сделался Твардовский. Этот знаменитый поэт, редактор "Нового мира", с невероятной мощью описан в книге Солженицына "Бодался теленок с дубом".

Именно Твардовский показал Маршаку (задолго до опубликования) "Один день Ивана Денисовича".

Произошло необыкновенное. Маршак, робкий Маршак был в восхищении.

— Это же совершенно новый слой языка! — восклицал он.

Когда заседал комитет по ленинским премиям, Маршак дежурил у телефона, как болельщик у экрана телевизора. Ему звонили каждые пятнадцать минут.

Звонок:

— Твардовский настаивает.

Новый звонок:

— Тихонов воздержался.

И последний, печальный:

— Нет, не присудили.

Маршак работал, как и прежде, с утра до ночи, но на него неотступно надвигались годы и болезни.

— Никак не могу привыкнуть к старости, — жаловался он Берестову.

И я, и я тоже!

Во мне тоже звучит эта нарастающая нота.

Но зато как обнадеживают меня его слова, что после пятидесяти он сделал больше, чем до пятидесяти.

Он много переписывал и почти всегда портил. Боюсь, что это неизбежно. Помните, как испортил свою картину Репин?

Стремительный и изящный "Твистер" становился неуклюжим и многословным. А Маршак не чувствовал: продолжал исправлять. И — самое горькое! — вдавливал в сопротивляющийся материал вставки откровенно конъюнктурные.

Я — человек сдержанный. Самуил Яковлевич в поэзии мой главный учитель, и у меня не поднимается рука. Но Лиля, когда я недавно положил перед ней оба варианта, взорвалась:

"Как он приспособлялся, какой стыд! Любимец Кембриджа, Оксфорда, четырежды лауреат! Что он делал со своими стихами! Менял китайцев на малайцев, потому что была дружба с Китаем?

И ведь "всяким сбродом" назвал их буржуй, капиталист мистер Твистер — бывший министр.

Все равно нельзя? А о малайцах, значит, можно?

Как же ему было не совестно, что книжки его выходили то с китайцем, то с малайцем?

Что за трусливый подхалимаж на глазах у всего народа!"

И добавила — самое сильное:

"Он же детский писатель, как он детей не постыдил!"

Я ни разу не одернул ее, она была права. Я просто взял в руки томик его переводов и сразу забыл обо всем:

”Мака́вити, Мака́вити, единственный Мака́вити,
Его вы не отравите, его вы не удавите!
Он двадцать алиби подряд представит на суде,
Как доказательство того, что не был он нигде”.

Однажды ко мне заглянул Борис Борисович Томашевский.

— Что случилось? — воскликнул я, увидев его осунувшееся лицо.

Тот только руками развел:

— Такой труд, такой напрасный труд! Перевел все сонеты Шекспира, два года потратил, а тут вышли маршаковские. Кто теперь напечатает мои? А у меня ведь и лучше, и точнее.

Он ошибался.

Понятия ”лучше” и ”точнее” далеко не тождественны.

Переводчики черезчур тщательные, а не вдохновенные, портят дело своей старательностью.

Тютчев (поэт самого высокого ранга) перевел ”На севере диком...” точнее — и по ритму, и по смыслу. Он даже заметил сосну гейневским кедром, потому что слово сосна — женского рода, и утрачивается любовная коллизия.

Но на этот кедр обращают внимание лишь знатоки, а лермонтовская сосна уходит ветвями в бессмертие.

И еще одно условие, вынесенное не из поучений Маршака, а из его творчества: в замечательных переводах личность переводчика должна присутствовать наравне с личностью автора. Переводчик не смеет раствориться. Если мы не скажем: ”Это Пушкин, это Курочкин, а это Маршак”, мы не сумеем с чистой совестью утверждать: ”Это ”Песни западных славян”, это Беранже, а это Бёрнс”.

Постойте, да ведь это действительно Бёрнс:

”Ты свистни, тебя не заставлю я ждать!
Ты свистни, тебя не заставлю я ждать!
Пусть сходят с ума отец твой и мать —
Ты свистни, тебя не заставлю я ждать!”

Чуковский писал:

”Маршак никогда не переводил букву — буквой и сло-

во — словом, а всегда: юмор — юмором, красоту — красотой”.

Сам Маршак сказал:

”Если вы внимательно отберете лучшие из наших стихотворных переводов, вы обнаружите, что все они дети любви, а не брака по расчету”.

В ”Веселых нищих” он одержал несравненную победу над Багрицким. Эта победа так же неоспорима, как победа Пастернака над Маршаком в 66-ом сонете Шекспира.

Досадой его жизни был Вильям Блейк. Самуил Яковлевич подступался к Блейку и так, и этак — получалось мертво. Все выходило — и Шекспир, и Стивенсон, и Киплинг, а самое любимое — не давалось.

Недаром худенькая книжка Блейка в переводах Маршака появилась только посмертно. И украшает ее тот же гениальный перевод ”Тигра”, выполненный еще в 1915 году:

”Тигр, о тигр, светло горящий
В глубине полночной чаши,
Кем задуман огневой
Соразмерный образ твой?”

И дальше:

”А когда весь купол звездный
Оросился влагой слезной,
Улыбнулся ль наконец
Делу рук своих творец?”

Не так ли Жерар Филипп всю жизнь мечтал сыграть Тиля Уленшпигеля? Он осуществил под конец свою мечту, но и для него она обернулась разочарованием.

Моя первая книжка Маршаку не понравилась.

Это была сборная солянка за двадцать лет. Пробивая себе дорогу, я, как и полагается, клал поклоны:

Был росток согрет весны лучами —
Мне на помощь партия пришла .

А еще я ругательски ругал страну мистера Твистера:

Где воздух от бензинного
Запаха прогорк,
Кичась домов махинами,
Раскинулся Нью-Йорк.
К нему из царства голода
Рабов кровавый пот,
Перегоняясь в золото,
По щупальцам течет.

Были там стихи и поприличнее, но общий уровень понятен. В одиннадцать лет я писал лучше.

Когда я думаю об этой книжке, меня сжигает стыд. Иногда приходит мысль: вот умру, а кто-нибудь напишет статью и приведет пару цитат — именно этих, а каких же еще?

И вот здесь, перед лицом своего покойного учителя, я отрекаюсь от этих позорных строк и горько сожалею, что Самуил Яковлевич не увидел, не успел увидеть других моих книг — особенно последних, за которые мне не было бы стыдно даже перед ним.

Между прочим, кто-то рассказал Маршаку, что в эвакуации на двери моей комнаты красовалась табличка: "Писатель Друскин. Прием с трех до шести".

Маршака это очень огорчило.

Господи! Если бы он только мог представить, как я нищенствовал в Ташкенте и Самарканде, на какой ниточке висела моя жизнь.

Жена главврача — добрая и глупая женщина — приходила навещать меня и вздыхала:

— Ох, Левочка, сегодня вы выглядите совсем плохо: наверное, вы все-таки умрете.

И это было по-настоящему страшно, потому что из палаты каждый день выносили новые трупы.

А Маршак в табличку поверил.

Он вообще был легковверен до наивности.

Рафка Мильман, один из участников конкурса юных дарований, занялся всякими махинациями. Жена Маршака Софья Михайловна, узнав об этом, в ужасе воскликнула:

— Сема, да он жулик!

Самуил Яковлевич укоризненно возразил:

— Софочка, какой же он жулик? Ведь у него орден Боевого Красного Знамени.

Я не так уж много общался с Маршаком вплотную, но он раз и навсегда задал мне тон и продолжал эту беседу своим творчеством.

Чему же он учил меня?

Лаконизму:

”Где была, киска?”

— У королевы английской.

”Что видала при дворе?”

— Видала мышку на ковре”.

Ритму:

”Нам вдогонку

Летел ураган.

А кругом океан

Бушевал.

Убирать паруса

Приказал капитан

В это утро

В последний аврал”.

Юмору:

”Здесь я покоюсь Джимми Хогг.

Авось грехи простит мне Бог.

Как я бы сделал — будь я Бог,

А он — покойный Джимми Хогг”.

Чистоте и лиризму:

”А грудь ее была кругла, —

Казалось, ранняя зима

Своим дыханьем намела

Два этих маленьких холма”.

Концовке:

”Мы работали дружно,

Тонули мы врозь —

Это было судьбой суждено.

Уцелевшей доски
Под рукой не нашлось,
И пошли мы на темное дно,
на дно,
на дно,
За русалкой
На темное дно”.

Вот чему он учил меня, и многому другому. И, пока я жив, эта беседа будет продолжаться.

Вы уже, наверное, обратили внимание, что все примеры — из переводов. Собственные его ”взрослые” стихи я люблю меньше. Как ни странно, но в них пропадает индивидуальность. И хотя Маршак сказал, что ”Лирические эпиграммы” — это его завещание, я не могу с ним согласиться.

Я, конечно, замечая и глубину мысли, и великолепные строки, но необычайно трогают меня лишь пять-шесть шедевров. И все они о смерти.

Им, как и мною, владела великая печаль:

”Весь этот мир — как на ладони,
Но мне обратно не идти.
Еще я с вами, но в вагоне,
Еще я дома, но в пути”.

А вот стихотворение о любимом двадцатилетнем сыне, который сгорел за несколько дней от какой-то ужасной формы туберкулеза:

”На всех словах — события печать.
Они дались недаром человеку,
Читаю: ”Век. От века. Вековать.
Век доживать. Бог сыну не дал веку.
Век заживать. Век заедать чужой...
В словах звучит укор, и гнев, и совесть.
Нет, не словарь лежит передо мной,
А древняя рассыпанная повесть”.

А вот о любимой женщине, так рано его покинувшей:

”Люди пишут, а время стирает,
Все стирает, что можно стереть,
Но скажи, — если слух умирает,
Разве должен и звук умереть?
Он становится глуше и тише,
Он смешаться готов с тишиной.
И не слухом, а сердцем я слышу
Этот смех, этот голос грудной.

И снова о себе, о поезде, о дороге никуда:

”Лукавое время играет в минутки,
Не требуя крупных монет.
Глядишь — на счету его круглые сутки,
И месяц, и семьдесят лет.
Секундная стрелка бежит, что есть мочи
Путем неуклонным своим.
Так поезд несется просторами ночи,
Пока мы за шторами спим”.

Какие законы определяют направление этой несущейся жизни? Что заставляет нас совершать хорошие и дурные поступки?

Хармс и Маршак сочинили стихотворение:

”Жили в квартире
Сорок четыре,
Сорок четыре веселых чижа...”

Судя по манере, главная часть работы принадлежала Хармсу. Но и Маршак, разумеется, приложил руку.

Потом Хармса арестовали. Потом убили. Потом уничтожили созданные им книги.

И все годы, во всех изданиях Маршак печатал это стихотворение под своим именем.

Зачем? Ну нравилось оно ему! Но разве у него своих не было?

И другое:

Вернулся с войны любимец Самуила Яковлевича Илюша М.

Контуженный, искалеченный, он сидел у меня, вздрагивал от каждого громкого звука и говорил:

— Тише, тише...

Он рассказал, что живет у сестры, та ничего, но муж измывается, называет дармоедом.

Я не заметил тогда его безумия.

А ровно через два дня он, чтобы отомстить зятю, зарубил топором спящую сестру и двух ее маленьких детей.

И пошел за милиционером.

Маршак не отшатнулся от своего ученика. Восемнадцать лет он звонил в психиатрическую больницу, доставал редкие лекарства, писал письма.

И когда умирал, в последний день просил сына:

— Позаботься об Илюше...

Шестьдесят третий год. Я собираюсь подавать книжку в московское издательство. Алексей Иванович Пантелеев предлагает:

— Давайте я напишу рекомендательное письмо, а Маршак подпишет. Сам он этого не сделает, поленился.

И вот Лиля сидит на Чкалова, в низком неудобном кресле, где я сидел в 41 году.

Старый человек в халате ходит по квартире и ворчит:

— В каждой комнате кто-то есть и всем чего-то нужно от Маршака.

Нет, это не относится к Лиле. Мою бумагу он подписал сразу.

Лилия робко спросила, не может ли Самуил Яковлевич хлопотать, чтобы нам увеличили пенсию — мы живем трудно.

Маршак оживает:

— Я думаю, это дело одного телефонного звонка. Я хорошо знаком с заместителем министра соцобеспечения.

Он тут же набирает номер.

Но заместителя министра нет дома, а второго звонка он уже не делает.

Его жалко, его очень жалко. У него багровые трясущиеся руки. Болезни неумолимы. Астма стала совсем невыносимой. Он глохнет, слепнет. Корректуру надо подносить к самому лицу.

А люди все идут, идут... За помощью, за советом, за рекомендацией. Их не остановишь словами: "Я, голубчик, болен".

Да и без людей было бы совсем нехорошо. Пусть уж...

И он ходит по квартире, и ворчит. И жалуется Леониду Зорину:

— Я достаточно известен, чтобы меня теребили, но недостаточно, чтобы меня берегли.

И говорит: "Пойду прилечь". Но сначала распоряжается, чтобы Лиле сварили чашку шоколада.

Когда недавно я прочитал Кушнеру московский отрывок, он сказал:

— А знаете, Лева, я ведь тоже побывал у Маршака.

И добавил:

— Это было в 63 году, вскоре после выхода моей первой книжки. В "Крокодиле" напечатали разгромную рецензию и Самуил Яковлевич за меня вступился.

(Маршак? Вступился?)

— Он прислал мне прекрасное письмо, я зашел поблагодарить его и мы проговорили весь вечер.

— О чем же?

— Он рассказывал, как бежал из Ленинграда. Говорил, что Ленинград — ужасный город, и что жить в нем нельзя.

(Маршак? Рассказывал? Об этом?)

А потом он читал стихи — между прочим, "Тигра". А после, за чаем, мы снова долго говорили, особенно он — часа, наверное, два.

Я опять спрашиваю:

— О чем же?

И Саша отвечает:

— О Боге.

И заметив мое изумление:

— Да-да, Лева, о Боге. Он говорил так, как будто это были главные мысли его жизни. И под конец сказал, что он очень болен и стар, и предложил, если мы больше не увидимся, встретиться на том свете.

Саша предупреждает мой возглас:

— О нет, Лева, он не был сумасшедшим. Он произвел на

меня огромное впечатление. А через месяц к нему пришел Бродский, и он повторил то же самое ему — то же самое, вплоть до приглашения.

Кушнер пытается пошутить:

— Я сперва даже обиделся: ну что он заводит для всех одну пластинку! Но потом подумал: а что же? Может быть, нам и вправду встретиться там троим?

Сашин рассказ — последнее живое свидетельство. Дальше — опубликованные воспоминания. Почти ни одному из них я не верю.

Маршак идеален, он словно причислен к лику святых, у него нет недостатков, свойственных обыкновенным людям.

Элик не пропустил в сборник воспоминаний очерк Пантелеева, так как тот осмелился написать, что Самуил Яковлевич был скуповат.

А вот сидит у меня в гостях толстый самодовольный Александр Гольдберг.

Полгода тому назад он побывал в Барвихе, где по его выражению "сорок стариков живут при коммунизме".

Он рассказывает:

"Я вошел в вестибюль и сердце мое замерло. Маленький, изможденный Маршак, чем-то похожий на старого Тютчева, сидел на диване, закутав ноги пледом, и спал. Гудел пылесос, шла уборка, но он не просыпался.

Вскоре после смерти Маршака, я прочитал в журнале "Звезда" воспоминания Гольдберга:

"Когда в апреле 1964 года я ехал в подмосковный санаторий, где жил в то время Маршак, я думал, что увижу его в постели — ведь он только что перенес тяжелую болезнь. Но уже в дверях комнаты я услышал полный энергии голос. Маршак сидел за рабочим столом и гневно разговаривал по телефону.

— Я же ему все объяснил, — кричал он в трубку своему невидимому собеседнику, — я думал, что он понял. А вчера я слышал передачу, но он читал совсем не так. Выходит он ничего не понял! Как надо читать? Вот вы приезжайте к мне, голубчик, почитаем, поговорим".

Потрясенный, я позвонил Алику:

— Это ты про тот случай, когда ты ездил к Барвиху и застал его спящим?

Он немного смутился.

— Но так же нельзя было.

Да почему нельзя.

Маршак, который нашел в себе силы выйти в холл, чтобы встретить своего бывшего ученика, давно уже не пишущего, и заснувший от старости и изнеможения, более велик, чем Маршак, бодро кричащий в трубку банальные глупости, выдуманные этим учеником.

Пора заканчивать, но так не хочется расставаться.

Я опять перелистываю страницы. Я счастлив, что они говорят мне больше, чем другим.

”Улица Пестеля,
Первый подъезд...
— Нет, — отвечают
В гостинице мест”.

А я знаю, что это не гостиница, а его домашний адрес.

”Улица Гоголя,
Третий подъезд...”

Вот тут действительно была гостиница, не помню уже какая. А потом стал жилой дом гостиничного типа и в нем жила моя приятельница Лена Боннэр — нынешняя жена академика Сахарова.

Я хочу перевернуть страницу и не могу: что за дивная перекличка швейцаров — зачем он ее выбросил?

”Двадцать один,
Восемнадцать,
”Сицилия”!
Можно ли
Вызвать
Швейцара Василия?
Слушай, Василий,
Наверно сейчас

В автомобиле
Приедут от нас
Трое
Туристов
По имени Твистер —
Это отчаянные
Скандалисты.
Ты отвечай им,
Что нет номеров.
Слышал, Василий?
Так будь же здоров!”

Это не просто стихи — это мое детство. В Ленинграде еще четырехзначные номера телефонов.

А теперь надо кончать. И кончу я тем, с чего начал. Маршак со мной всегда. Я, конечно, больше люблю стихи и Лермонтова, и Блока, но ни один поэт, может быть даже Пушкин не оказал на меня такого влияния.

Я горжусь тем, что Самуил Яковлевич считал меня главным выпускником своей школы и книжку сонетов написал так:

”Моему старому, но все еще молодому ученику — Леве Друскину”.

Маршак сидит в халате и брюзжит.
Он смотрит снисходительно и строго.
Он понимает, что моя дорога
Наискосок — проклятая — лежит.
Он мне советы добрые дает.
Вернусь домой и стул к столу поставлю.
Но ни одной строки не переправлю —
Господь судья, а что-то восстает.
А утром вновь по улицам седым
К нему приду я и напротив сяду,
И дивную английскую балладу
Он мне прочтет, закутываясь в дым.
Так тетерев токует на снегу,
Закрыв глаза, один с поляной белой...

Прочтет и скажет сухо: "Переделал?"
А я отвечу тихо: "Не могу".
Он переспросит каждую строку
И буркнет: "Как же! Вам не до советов!"
И на прозрачном томике сонетов
Напишет: "Моему ученику".

Юность

МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ —

Мне исполнилось шестнадцать лет. Я был влюблен в Люсю Виноградову. Я сидел у стола и пел:

”Мы странно встретились и странно разойдемся,
Улыбкой нежною роман окончен наш.
И если памятью к бывшему мы вернемся,
То скажем: это был мираж”.

Меня переполняла сладкая, щекочущая грусть. Эта песня была написана обо мне. Я сидел за столом и пел:

”Так иногда в томительной пустыне
Мелькают образы далеких чудных стран,
Но это призраки и снова небо сине,
И вдаль бредет усталый караван”.

Эта песня была про меня. Про меня и про Люсю Виноградову. И я завел снова:

”Мы странно встретились и странно
разойдемся,
Улыбкой нежною роман окончен наш...”

В комнату заглянул папа, постоял, послушал. Потом сказал: ”Вот дурак!” — засмеялся и вышел.

Не понял он меня!

СМЕРТЬ ПАПЫ —

Папа возвращался с работы и бабушка часто ругала его за это. Но однажды он вдруг появился в середине дня.

— Чего так рано? — удивилась бабушка.

— Вайтер шлект, — засмеялся папа. Пошел к себе и лег.

Вызвали врача.

— А, пустяки! — сказал врач и выписал какую-то микстуру.

А это был инфаркт, Боже мой, это был инфаркт! Тогда еще не все знали такое слово, но разве ”грудная жаба” звучит менее зловеще?

Как будто уселась на груди огромная черная жаба и сдавливает ее всеми четырьмя лапами.

Когда я был молод,
Никто не умирал,
Никто,
Даже старики.
А сегодня умирают все —
И старые, и молодые.
Смерть приходит к человеку
с возрастом,
И это так печально,
Что об этом почти не стоит
говорить.

Смерть папы была для меня первой.

Я лежу в комнате напротив него. Он не в силах выговорить ни слова. Он вздрагивает и задыхается. Я вижу белое испуганное лицо, покрытое каплями пота.

Мама часами держит у его губ кислородную трубку. Иногда она передает ее восьмилетнему Руве, которому это очень нравится.

У меня нет ни настоящего горя, ни настоящей боли — настолько все нереально. Они придут гораздо позднее и будут становиться острее с каждым годом.

И вдруг папа приподнимается на локтях, скользящих по крутизне подушки. Ужас смерти на мгновение отодвигается тревогой за мальчика, за больного сына — уже странного, уже непонятного, такого несерьезного, не ведающего своей беды.

Он мучительно хрипит, он стонет:

— Левочка, будь человеком!

И только теперь, с другого конца собственной жизни, я отвечаю ему:

— Я выполнил твою просьбу, папа. Я стал человеком.

Память выхватывает подробности отдельными световыми и звуковыми пятнами.

Гроб стоит на четырех стульях, и наша дальняя родственница Мирке-Двоше, рыдая, так раскачивает его, что я боюсь: сейчас он опрокинется.

В комнате невнятный гул, из которого, как из хора, то один, то другой голос вырывается рефреном:

— Даша, ты должна жить, у тебя дети.

— Даша, ты должна жить, у тебя дети.

Неожиданно все смолкают.

Незнакомый человек-сослуживец — произносит столько раз читанные мною слова:

— Спи спокойно, дорогой товарищ. Да будет земля тебе пухом.

Рува дергает меня за рукав:

— Ты поедешь на кладбище, а меня берет к себе тетя Берта. Это еще интереснее.

Кладбище. В первый и последний раз слышу я, как стучат комы земли о крышку гроба — своих я не услышу.

В голове вертятся две строки:

”И будет снег, разорванный лопатой,
И траурные черные дома...”

Первая строка умрет, как папа, а вторая, пройдя ”путем зерна”, через сорок лет прорастет стихотворением:

На Купчинском шоссе, у переезда,
Ждем поезда — уже грохочет тьма.
Над нами небо — гулкий лист железа,
И траурные черные дома.
На Купчинском шоссе, у поворота,
Струится ночь, как горькая вода...
Открой нам, Петр, небесные ворота
И мы войдем, потупясь от стыда.
На нас грехи, как скользкие отрепья,
Мы крест не смеем приложить к устам,
Но поезда во всем великолепье
Влетают в рай за нами по пятам.
И все — мужчины, женщины и дети —
Подобия катящихся планет.
И больше нету грешников на свете,
Но — Господи! — и праведников нет.

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ЯХОНТОВ —

Когда умер папа, я заметался — живем трудно, как помочь маме?

Самоmnения у меня было хоть отбавляй, поэтому я не стал мелочиться и первый звонок сделал Исааку Осиповичу Дунаевскому.

Я предложил свои услуги и, извинившись, что болен, спросил: не согласится ли он зайти и проиграть мелодии новых песен, чтобы я мог их подтекстовать.

Он очень удивился:

— А вы кто?

— Поэт, — ответил я гордо.

После минутного ошеломленного молчания он довольно

мягко сообщил, что у него уже много лет один и тот же соавтор — Василий Лебедев-Кумач.

Это не было для меня неожиданностью: их песни пела вся страна.

Однако, я уверенно возразил, что Лебедев-Кумач поэт банальный, примитивный, и что я напишу лучше.

Честное слово, я не был нахалом. Просто не знал жизни и искренне недоумевал: чего это он после моих слов сразу повесил трубку?

Несколько обескураженный, я набрал номер "Европейской", где остановился приехавший на гастроли Яхонтов. Он был исключительно популярен, и я подумал, почему бы ему не стать еще популярнее.

Яхонтов не чванился, назначил встречу на завтра и совершенно растерялся, увидев как меня вносят (я ни о чем его не предупредил).

Шторы были приспущены и комната тонула в сером зимнем полумраке. Она была огромная и все в ней мерещилось огромным, кроме огромного хозяина, который, ссутулившись, сидел на гигантской кровати, и в этом неудобном пространстве казался маленьким и лишним.

Тогда мне была еще незнакома строфа:

"Я знаю, даже кораблям
Необходима пристань,
Но не таким как мы, не нам —
Бродягам и артистам".

Стихи мои Яхонтов слушал хорошо. Через неделю он пришел ко мне с Поповой и с какой-то околотеатральной дамой — некрасивой, но значительной. Ох, и нагляделся я потом на этих "около"-театральных, литературных, художественных. Но в ту пору мне все было в новинку.

Владимир Николаевич держался шумно и весело, но передо мною то и дело вставало хмурое, необжитое пространство, и я словно чувствовал горечь окурков — запах печали и неюта.

Это ощущение не пропало, а только усилилось, когда он начал читать:

”И ветер, и дождик, и мгла
Над холодной пустыней воды.
Здесь жизнь до весны умерла,
До весны опустели сады,
Я на даче один... Мне темно
За мольбертом... и дует в окно”.

Я был молод. Я не слышал еще выражения ”публичное одиночество”, и не понимал, как может быть одинок человек, окруженный восторгом и аплодисментами тысяч влюбленных в него людей.

Яхонтов впервые доказал мне, что прочтение бывает неоднозначным.

Знаменитую строчку Блока ”Умрешь — начнешь опять сначала” — он произнес не с трагическим тире, как я ожидал, а совсем по-другому.

С отчаянной и внезапной надеждой он спросил:

— Умрешь?

Вот он исход, вот оно избавление!

И после паузы, растянувшейся на целую жизнь, ответил — обреченно и просто:

— Начнешь опять сначала!

И еще одному научил меня Яхонтов: отказываться от лежащих на поверхности решений.

Маяковский. Громовая строка:

”В упор я крикнул солнцу: ”Слазь!”

А вот читает Яхонтов своим выкованным из металла голосом:

”В упор я крикнул солнцу...”

И вдруг — шепотом:

”Слазь”.

Это производило потрясающее впечатление.

Шествие Владимира Николаевича по эстрадам было триумфальным. Сейчас из чтецов, пожалуй, только Юрский добивается приблизительно того же успеха.

Поэтому, так запомнился мне единственный провал Яхонтова.

Городской лекторий на Литейном влачит сейчас незаметное существование. А до войны он — не удивляйтесь! — был одним из главных художественных центров Ленинграда. Особенно его любили чтецы. Выступали там и Журавлев, и Антон Шварц, и Сурен Качерян, ну и, разумеется Яхонтов.

На концерт я ехал с особенным удовольствием — "Возмездие" Блока.

Мы немного запаздывали. Не знаю, как меня пронесли по проходу — была настоящая Ходынка.

Но чтение сразу не задалось. Слушательская культура далеко уступала нынешней. Публика доросла до "Двенадцати", но не до "Возмездия".

Поэма показалась длинной и скучной. Яхонтов отступил от всего — от кампановки с другими произведениями, от резких поворотов, от эффектных моментов. Он читал необычно для себя — прозрачно и строго.

Но ведь публика шла не на Шварца! Она осталась глуха к дивным, почти пушкинским стихам, помноженным на благодарное исполнение.

Лишь на несколько минут (там, где проступило действие) артист опрокинул сопротивление и захватил зал:

"Собрание немногоречиво,
И каждый гость, входящий в дверь,
Упорным взглядом молчаливо
Осматривается, как зверь".

Я переворачиваю страницу, читаю дальше и помню, до конца дней моих помню любую интонацию:

"И сонм собравшихся затих...
Два слова, два рукопожатья —
И гость к ребенку в черном платье
Идет, минуя остальных.
Он смотрит долго и любовно,
И крепко руку жмет не раз,
И молвит: "Поздравляю вас —
С побегом, Соня... Софья Львовна!"

Опять — на смертную борьбу!”
И вдруг — без видимой причины —
На этом странно-белом лбу
Легли глубоко две морщины”.

Сергей Юрский назвал свою книгу ”Кто держит паузу?” Мне кажется, что эти несколько минут, заполненные строчками, от 283-ей до 354-ой, и явились, несмотря на слова, той художественной паузой, которая должна была бы решить сражение в пользу чтеца.

Но так не получилось. Публика опять откровенно заскучала, а Яхонтов, избалованный непрерывными удачами, откровенно обозлился. Он начал читать шалая-валяй, равнодушно проговаривая текст. Вероятно, с точки зрения театральной этики, это было безобразием (актер, как и спортсмен, должен держаться до конца), но по-человечески я его понимал.

Он скрылся за кулисами на жиденьких аплодисментах, раздавались последние редкие хлопки, но, вопреки моим ожиданиям, он вышел снова.

Приблизившись к самому краю сцены, он посмотрел в лицо первому ряду и продекламировал:

”Зверю холодно зимой,
Зверик из Америки.
Видел всех, пора домой...
До свиданья, зверики!”

Помахал рукой и удалился окончательно.

Зал чуть не рухнул от оваций. Ссора завершилась благополучно. Но, насколько мне известно, эту программу в Ленинграде он больше на слушателях не пробовал.

Владимира Николаевича Яхонтова, так и не прочитавшего ни единой моей строки, я считаю одним из главных своих учителей, наравне с Маршаком.

Финал его жизни был ужасен. Он почувствовал признаки приближающегося безумия и бросился в лестничный пролет, как Гаршин.

ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ КАЖДУЮ МИНУТУ —

Мы сидели у Шуры Катульского и спорили: скоро ли будет мировая революция?

Пили чай. Боже упаси — не водку!

Прикинув как следует, я предположил, что лет десять, пожалуй, все-таки пройдет.

Шура был решительнее. Он оставлял капитализму лет пять, не больше.

Никто не возразил. Все и сами так думали.

Партия и комсомол учили нас мыслить глобально. Мы были устремлены в будущее. Мы презирали тряпки и мещанство.

Однажды, когда мою коляску ввели в толпу у филармонии, к панели причалило такси.

Щелкнула дверка. Сперва высунулась длинная нога, а затем в сопровождении кавалера появилась знакомая девочка. Заметив нас, она притворилась, что разглядывает афишу, и прошмыгнула мимо.

Трудно передать наше возмущение.

Нет, до чего докатились! Мало ей трамваев и автобусов — приехала на такси, как проститутка.

Очень правильные мы были ребята!

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ВЕДЕР ВОДЫ —

Меня переполнял юношеский максимализм. Я заявлял друзьям: зачем слушать современную музыку, если не знаешь как следует великой, классической? Всего не пере-слушаешь, а жизнь коротка, — философствовал я, — надо выбирать лучшее.

Этой дурацкой позиции придерживался не только я. Как-то сезон в филармонии открылся двумя пятыми — Шостаковича и Чайковского. Половина публики демонстративно вилась ко второму отделению.

Думаю, что в наши дни было бы наоборот.

Перед каждым симфоническим концертом выходил Соллертинский. Он говорил противным квакающим голосом, брызгал слюной, но в нем было столько увлеченности и огня, что его слушали, затаив дыхание. Это было так прекрасно, что даже музыка первые несколько секунд звучала диссонансом.

Мое поколение не жаловалось.

Нам пела Обухова. Нам читал Закушняк. Перед нами "рассыпал жемчуга" Сафроничский.

По сцене, рыча, катался Отелло — Ваграм Папазян, изумляя нас своими "африканскими страстями".

В театре Комедии в спектакле "Валенсианская вдова" впервые применили светящиеся краски, и весь Ленинград ходил смотреть на актеров — как они фосфоресцируют в темноте.

В цирке поставили водную пантомиму "Черный пират". Разноцветные буквы кричали: "Цирк под водой! Десять тысяч ведер воды на арене!"

Но нас это уже не интересовало — мы были взрослыми.

МОЕ РЕШЕНИЕ —

Стучали колеса. Мы с мамой ехали в Ростов к Богоразу. Нас убедил Рафка, прочитавший в какой-то газете о ростовском чудодее. Он ехал с нами и, разумеется, за наш счет. С ним было спокойно. Он уговорит — Богораз вылечит. Для профессора нет невозможного. Он дерзкий хирург, и два года назад, после автомобильной катастрофы, сам себе ампутировал ногу.

Из всей поездки мне запомнилась только серая пелена Азовского моря, о котором я написал с внезапной и непонятной яростью:

Не хочу на море это
Я напрасно тратить слов,
Потому что скоро будет
Город солнечный Ростов.

Потому что в жизни, полной
Песен, счастья и труда,
Я забуду это море
И не вспомню никогда.

Профессор предложил сделать пять операций: закрыть коленные суставы, закрыть тазобедренные, и вставить подпорки в позвоночник. Он сказал, что в результате я смогу с трудом передвигаться на костылях по комнате, но не сумею сидеть.

— Вот и выбирайте — что вам выгоднее.

Я думал всю ночь и принял решение: сидеть важнее. И еще одно решение принял я в эту ночь, и не отступал от него уже никогда. Ни одного дня не терять больше на бессмысленное лечение, я и так убил шесть лет на институт Турнера.

Ну что ж, случилась со мной в раннем детстве непоправимая беда. Непоправимая, надо понять это ясно. Я навсегда связан с кроватью и инвалидным креслом. Есть еще автомобиль и поезд. Есть люди, которые приходят ко мне и рассказывают обо всем. Есть музыка, которую я слушаю, и стихи, которые я пишу. Вот то, чем я располагаю. И надо жить. И видеть мир во всех трех измерениях. А бессмысленное истерическое барахтанье возьмет мои годы, мои мысли и не приведет ни к чему.

Теперь, когда за окнами ахматовской дачи шумят комаровские сосны, когда я лежу на своей кровати, гляжу на стоящее в углу очередное инвалидное кресло, а в памяти разворачивается бесконечно длинная жизнь, до отказа набитая впечатлениями, я понимаю, что в горькую ростовскую ночь я принял достойное решение.

И я благодарен тому мальчику, который вовремя взял себя в руки и поступил, как мужчина.

ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ —

У меня, как и у героя светлой книжки Аллана Маршалла "Я умею прыгать через лужи", совершенно отсутствовали комплексы насчет болезни.

Я был узкокостный, сухощавый, ноги весили совсем мало, поэтому почти любой сверстник легко переносил меня на руках — не на закорках, а перед собой: одна рука под колени, другая за спину, а я обхватывал товарища за шею.

Один раз кто-то, кажется Боря Смоленский, захотел показать мне Дворец пионеров.

Он переносил меня из комнаты в комнату, сажал в кресло или на диван, а я разглядывал стены, расписанные палешанами, зимний сад и прочие диковинки, после чего мы перебирались дальше.

Осмотр уже окончился и мы направлялись вниз, когда нас заметил администратор. Он бежал за нами по лестнице и кричал:

— Это что за хулиганство! Брось его сейчас же!

А мы буквально падали от смеха, что приводило его в еще большую ярость.

Он выбежал за нами на панель, и только увидев, как меня сажают в машину, вдруг задохнулся, мучительно сгорбился и медленно пошел обратно.

МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ —

Странно, что в нашей кампании никто никогда не говорил об арестах. Я думаю, мы подсознательно не спрашивали об этом друг друга. Я не знал, правда не знал, что у Лешки Бутенко арестован отец. У нас были такие отношения, что я мог бы спросить его о чем угодно. А об этом не спрашивал. Не потому, что боялся. Просто на ум не приходило.

Но не все были такими наивными. Вот стихи незнакомого мне довоенного поэта, который и тогда понимал все:

”Мне двадцать лет.
Я еще ничего не выстругал
И ничего не выстроил.
И даже в спину никому не выстрелил.
На это толкали. Выстоял”.

ВЫБОРГ —

Сразу после финской войны, на удивление, сразу в Выборг пошли поезда.

Едем, разумеется, на первом — дураки, молодые — из чистого любопытства.

Вагонов всего несколько, но они забиты до отказа. Кто эти люди? Зачем они едут? Не понять.

Лешка ухитряется протиснуться, опускает изнутри стекло и Борис Смоленский подает меня в окно, как Риту из только что прочитанного романа Островского.

Поднимается страшный хай, пассажиры яростно протестуют, но от этого даже интереснее.

Коляску — громоздкую, 74 килограмма — удалось пристроить в багажный вагон.

Приезжаем.

Город полон войной. Впервые вижу вспоротые, ощеренные останки домов.

Разрушений довольно много. Жителей нет.

Улица перед знаменитой двусветной библиотекой — белая: ноги тонут в обрывках книжных страниц.

Названия улиц древние и странные. Кто-то переводит, указывая на табличку: ”Переулок двух повешенных монахов”.

В пустых киосках почему-то еще сохранился (и как не разговоровали до конца!) поразительно вкусный финский лимонад. Пьем из горлышка и смотрим на крепость, о которой ходят байки, что в состав камней подмешана резина — поэтому, наши снаряды отскакивали и рвались в стороне.

Иначе Выборг захватили бы скорее.

На вечернем вокзале, где мы несколько часов ждем обратного поезда, Боря тихонько показывает мне молодую парочку и шепотом просвещает:

— Смотри. Видишь, он взял ее за руку? Она проститутка. Сейчас он почешет ей ладонь средним пальцем. Это сигнал: "Пойдешь?" Если она ответит тем же, значит согласна.

Пялю глаза на парочку, но они сидят рука в руке и никуда не торопятся.

В конце зала возникает шум. Отказываются принять в багаж мою коляску.

Борис — громадина, и в голову не придет, что еще мальчишка — рушится на колени перед остолбеневшим начальником вокзала, театральничает, заламывает руки, и тот испуганно соглашается.

Едем, покинув в темноте истерзанный город, не зная, что война обежала по кругу и ждет нас впереди.

ВРЕМЕНИ БЫЛО НЕ ДО МЕНЯ —

Я решил больше не учиться и объявил об этом ребятам. Теперь могу сознаться, что главной причиной была лень, но тогда я сам себя уверил, что дело не в этом.

Для того, чтобы стать писателем, — рассуждал я, — нужно как следует узнать людей. А доучиться я всегда успею.

Не успел. Это только казалось, что успею. Уйдя с первого курса университета, я так в него и не вернулся.

Действия мои были смелыми и непромедлительными.

Я обратился с письмом к Папанину, чтобы он разрешил мне отправиться на торговом пароходе по Великому Северному пути.

Ехать я собирался один. А что? Матросов много и они охотно обо мне позаботятся. По вечерам я буду читать им стихи и проводить политинформацию. А утром они вынесут меня на палубу и я смогу часами лежать в шубе на раскладушке и смотреть на полярные льды.

Обо всей этой чепухе я — двадцатилетний фантазер — мечтал совершенно серьезно.

А времени было не до меня. Географическая карта то здесь, то там брызгала огнем. Польша была растоптана. По Франции шли танки.

Пытаясь хоть как-то помочь, на побережье Нормандии (ненадолго, о, ненадолго!) высадились дополнительные английские войска.

Услышав об этом по радио, я не сдержался:

— Молодцы!

Сидевший у меня Алик Новиков, будущий лектор горкома, укоризненно покачал головой:

— Как тебе не стыдно, Лева — ведь немцы наши союзники!

”Мы оставим за спинами города гром
И Неву шерстяного оттенка,
И на станции Токсово выйдем втроем —
Я и Боря, и Леша Бутенко.
Нам постылая юность, как ворот, тесна,
Мы бы сразу же в зрелость шагнули.
Еще только весна, еще доля красна,
Еще дремлют две пули, две пули.
И по краешку дней ходят трое парней —
Очень близких, но это детали...
Как мне быть, чтобы сделалась память длинней,
Чтобы люди хоть раз прочитали,
Что вот жили и не затерялись во мгле
(Просто жили — на что нам оценка?)
На прекрасной, опасной, несчастной земле
Я и Боря, и Леша Бутенко”.

Война

НАШИ НАСТУПАЮТ —

Известие о войне меня обрадовало.

Еще бы!

Наконец-то началась настоящая жизнь.

И когда я читал первые сводки: "Бои идут на всем протяжении от Черного до Белого моря" — я с гордостью думал: "Наши наступают".

Разве могло быть иначе?

ВЕСЬ ЭТОТ ЧАС —

О первом дне войны замечательно написал мой товарищ, Кирилл Чистов:

 "По приказу Браухича
 ровно в четыре
Кончилась юность наша".

Еще лучше — пронзительно и страшно — написал о войне Ривин:

 "От тревоги к тревоге мечась,
Тихо заживо в яме сиди.

Я знаю, что Гитлер — рыцарь на час,
Но весь этот час впереди”.

И весь этот час — весь этот свирепый и долгий час — мы измерили собственными судьбами.

РЕКВИЕМ —

Друзья уходят на фронт.

Каждую минуту в моей комнате звонит телефон.

— Левка, милый! Я из призывного пункта. Ухожу в ополчение. Заглянуть уже не успею.

Это Леша Бутенко. Я его никогда больше не увижу. Он погибнет через несколько дней — вместе со всем ополчением.

— Лева, дорогой, до свиданья. Звоню с вокзала.

— Когда же мы теперь встретимся?

— Наверное, после войны.

Это Юра Поляков — замечательный поэт, один из самых светлых людей моей юности.

Его я тоже никогда больше не увижу.

Я не отдал ему последнего долга, у меня нет о нем поминальных стихов. Но он сам за несколько месяцев до войны написал свой удивительный реквием.

Этот реквием сохранился только в моей памяти и я счастлив вернуть его людям.

”Какого черта рифмам удила?
В карантине удержанная сила!
Не в чумной маске песня родилась
И смерти по земле не разносила.
Но, может быть, вы правы — то чума,
Внезапная угроза вдохновенья,
То язва зараженного ума
И сердца зараженного биенье.
О сестры милосердия, скорей!
Мне кажется, что так и будет это:

Глухой звонок на утренней заре:
И крест пунцовый на стекле кареты”.

АГИТБРИГАДА —

Молотов выступил утром, двадцать второго июня. А к вечеру мы уже организовали агитационно-художественную бригаду.

Как же без нас-то?

Мы едем в переполненном трамвае по дождливым ленинградским улицам. Стул-носилки (длинное, нескладное сооружение) стоит на передней площадке наискосок, почти не оставляя места для прохода.

Люди протискиваются боком, ругаются, орут.

Водитель останавливает вагон и подзывает милиционера.

— Товарищ милиционер, — говорю я, — мы комсомольцы, члены агитбригады. Мы опаздываем на выступление в воинскую часть. Нас ждут сто двадцать бойцов, которые...

Милиционер, не дослушав, машет рукой водителю:

— Вы что, с ума сошли? Соображаете, что вы делаете? Отправляйтесь сейчас же!

Сочинив первую программу, мы решили показать ее Корчагиной-Александровской.

Знаменитая старуха растрогалась. Она обнимала нас, хвалила каждый номер и называла Гитлера антихристом.

А мы смотрели на нее во все глаза.

Как же так? Неужели она, Народная артистка Советского Союза, верит в Бога?

Быть того не может!

ЧТО ТАКОЕ СУДЬБА ? —

Что такое судьба?

Я, человек нисколько не суеверный, относился к этому слову с некоторой иронией. Оно ведь на все случаи пригодно: убьют — судьба, не убьют — тоже судьба.

Однако, жизнь подкидывала примеры, заставляющие задумываться.

Мы возвращались из Москвы, куда ездили к Калинин проситься на фронт всей бригадой. Принял нас не Калинин, а один из его референтов. Поглядел как на сумасшедших и спросил, указывая на меня:

— Это с ним-то?

— А мы без него не можем, он нам пишет.

Референт пожал плечами и коротким жестом отвел дальнейшие уговоры. Ребята потащили стул-носилки обратно на вокзал.

Дорогу сильно бомбили. Доехали до станции Малая Вишера. Простояли полагающиеся пять минут.

Поезд уже собирался тронуться, но внезапно отрывисто, отчаянно, на разные голоса закричали паровозы.

Ребята выхватили меня из вагона, бегом донесли до крохотного домика и посадили на крыльцо. Почему там было безопаснее — не знаю.

Над станцией низко, не торопясь, пролетело несколько бомбардировщиков. Выли они ужасно. Для устрашения их оборудовали специальными сиренами.

Самолеты скрылись, не причинив никакого вреда. Где-то вдалеке слабенько захлопали зенитки. Дорога была совсем беззащитной.

Паровозы протяжно возвестили отбой. Меня понесли обратно. Все помогали.

— Дураки, что не пустили нас на фронт, — сказал Женька, — мы бы не пропали. Видите, какая взаимовыручка?

Едва меня положили на полку, опять началась истошная разноголосица гудков. Самолеты возвращались.

— Так и будем бегать? — сказал я ребятам. — Остаемся.

Поезд опустел. Все, кроме нас, выскочили и кинулись врассыпную.

И вовремя: вокруг загремели взрывы. Вагон трянуло. Зазвенели разбитые стекла. А перед окном, совсем как в дурном кинокадре, возник черный столб, похожий на смерч.

Когда он осел, не было ни домика, ни крылечка. А ведь посадили бы меня именно туда, — рука еще помнила (да и сейчас помнит) шершавое прикосновение перил.

А вот еще...

В 1953 году институт Турнера устроил встречу бывших воспитанников.

С первой женой Леной у меня уже было так плохо, что хоть голову в петлю — какая к черту встреча! Но прислали автобус и пришлось ехать.

Надо сказать, мероприятие меня немного развлекло. Вечер был странный — поэтичный и слегка жутковатый. Люди с палочками, на костылях и в инвалидных креслах вглядывались друг в друга и спрашивали: "Слушайте, а вы в каком году тут лежали?... До войны или после?... Погоди, а ты не такой-то?..."

За столом рядом со мной сидела молодая милая женщина.

— Хотите пирожное? — и безошибочно выбрала мое любимое — "картошку".

Подошла Варвара Павловна.

— Лилечка, а ты помнишь, как заставляла врачей и воспитателей братья за руки и петь:

"Баба сеяла горох,
Прыг-скок, прыг-скок!"

И кричала:

— Прыгайте! Прыгайте!

Сколько тебе было — шесть?

Лилия позвонила мне только через год, узнав, что от меня ушла жена.

Я позвал ее в гости.

Она рассказала, что в тот вечер не собиралась в институт, у нее были совсем другие планы.

Но что-то ее заставило.

Если бы не это "что-то", моя жизнь неизбежно закончилась бы в инвалидном доме.

Так что же такое судьба? И что такое случай? И просто ли это спор о терминах?

НЕ БОЮСЬ —

Ленинград долго не бомбили и мы очень гордились этим. Представляете, Москву бомбили, а нас нет!

Ходили слухи: ленинградские зенитчики отрядили делегацию — обучать московских. А то у них как-то не ладилось.

Мы не понимали, что немцы просто хотят захватить город целым и невредимым.

А когда их остановили — началось.

В первый же день самолеты прорвались то ли четырнадцать, то ли семнадцать раз.

Я сижу за столом. Мама нервно мечется по комнате. У нее все валится из рук. Она почти в истерике.

Мы погасили свет. На окне плотная маскировка, но оно кажется голым и поминутно вспыхивает белым пламенем.

Мы забыли о том, как огромен город. Кажется, что он сжался в пяточок из нескольких улиц, и по этому пяточку молотят глухие удары.

Я нисколько не боюсь, нисколько. Но меня беспрерывно бьет крупная дрожь. И когда я пытаюсь успокаивать маму, голос мой звучит незнакомо и вздрагивает.

БЛОКАДА —

”А как у вас дела, мой друг, насчет картошки,
Насчет картошки, насчет картошки?
На постном масле из нее вкусны лепешки,
Вкусны лепешки — один восторг!”

Каким счастливым был военный Петроград в 1919 году! О картошке мечтали вполне реально. Картофелины выкатывались на первый план, замещая красоту мира.

”В лесу, говорят, в бору, говорят,
Ползет сирень в окошко.
Зачем, говорят, сирень, говорят?
А лучше бы картошка”.

Мы с мамой смутно видим друг друга через комнату. Керосину мало — экономим. Из "буржуйки" падают красные рвущиеся световые блики.

Утром мама разрежала пайку хлеба пополам — на сегодня и на завтра. Завтрашний кусочек спрятала. Сегодняшний — опять пополам: для меня и для себя. А потом поделила каждую часть на три порции: завтрак, обед и ужин.

Завтрак и обед уже миновали. До ужина полтора часа.

Лежим одетые, под одеялами, навалив сверху кучу тряпья. Разговариваем, конечно, о еде. Время от времени кладем на язык солинку: все-таки легче.

Если картошку посыпать гусиными шкварками и полить оставшимся жиром...

А борщ лучше варить густой, чтобы ложка стояла. Но я не согласен. Жижа нужна тоже — она сладкая и душистая, как пасхальное вино.

Впрочем, такие беседы мы вели месяц назад. А сейчас говорим только о хлебе. Целый вечер.

"Кто с хлебом слез своих не ел..."

Блики тускнеют, догорают ножки последнего стула.

"Ваня милый, Ваня мой,
Приходи ко мне домой.
Я тебя люблю,
Дров тебе куплю.
А дрова одна осина —
Не горят без керосина".

Стулья горят без керосина. Особенно, когда подбросишь книг.

Позавчера жгли серию "Золотая библиотека", пощадили "Серебряные коньки".

Вчера между дощечками пристроили мою любимую — "Сказки деда-всеведа". И четырехтомник Марка Твена. Но сперва подкладывали в огонь собрание сочинений Шеллера-Михайлова.

Прыгающие пятна на полу бледнеют. Железные листы остынут сразу — в комнате будет почти мороз.

В углу — книжная груда, постепенно оседающая: полки давно стопили.

Мама нехотя вылезает из-под одеяла, отыскивает книгу потолка.

Что это? А, узнаю! Аксаков "Детские годы Багрова внука".

Неужели и до Пушкина доберемся?

ОБЪЯВЛЕНИЕ —

На стене дома большой лист бумаги: "Вожу трупы на кладбище. Плата по соглашению".

РАЗГОВОР ДВУХ ДЕТЕЙ —

— А у Сталина, наверное, ни одной вошки на голове.

— Ну нет, хоть одна да есть.

ПОЛОЖИТЕ ЕЩЕ САХАРУ —

Маме сообщили, что умерла тетя Берта. "Как мы все-таки здорово держимся!" — сказал я. Но скоро понял, что нельзя искушать судьбу.

Слова мои оказались роковыми. Бабушка, подавленная известием, слегла и больше не вставала. У нее начался голодный понос. По многу раз в день ее перестилали.

Бабушка была без сознания. Иногда, наполовину приходя в себя, она просила: "Дайте мне хоть ложечку крупяного супа!" Она уже не понимала, какая это несбыточная мечта.

Вечером, когда ее поили чаем, она ворчливо бормотала в забытии: "Не сладко. Положите еще сахару". А всегда она старалась под любым предлогом отказаться даже от того ничтожного кусочка хлеба, который полагался на ее долю.

Через два дня наступила агония. Это случилось утром.

Тетя сделала ей впрыскивание, но оно не помогло. Доктора вызывали позавчера, но мы понимали, что он не придет.

Бабушка изредка еще тихо хрипела, а тетя стояла у окна и рассказывала, какой хороший была бабушка человек, как всем что у нее имелось, она жертвовала для других.

Пришла с работы мама. "Мамочка!" — вскрикнула она испуганно, и обессиленно опустилась на бабушкину кровать. Долго сидела молча, держа бабушкины руки в своих.

Мне кажется, что чувства у всех нас были притуплены. Во всяком случае, никто не плакал.

Меня, как всегда, мучили угрызения совести. Я вспоминал, как бабушка в разгар бомбежек ежедневно приносила мне в убежище обед. (Таскать меня было некому, и я пролежал там около трех недель.) Как лопнули трубы, погасло электричество, и в кромешной тьме она бродила по залитому водой полу, отыскивая дверь. Как грубо и пренебрежительно я с ней обращался.

Несмотря на смертельную опасность (можно было по дороге упасть от слабости и замерзнуть), мама, как мы ее ни отговаривали, повезла бабушку на саночках на далекое еврейское кладбище.

Когда она шла по кладбищу, к ней приблизился человек. Мама держала в руках кусок хлеба — заплатить за похороны. Человек выхватил у мамы хлеб и свалился. Так он лежал у ее ног на снегу и ел этот хлеб.

У меня была бабушка Мирра —
Мама мамы, начало начал.
Рвались бомбы, дрожала квартира
И от голода город кричал.
Баба Мирра к окну подходила,
Вниз глядела сквозь холод стекла
И за каждого

Бога молила...

Что еще она сделать могла?

Ветер памяти треплет страницу
И кричит, и за горло берет.
Мне равнина огромная снится,
Я с ключами стою у ворот.
Вьется очередь — люди без плоти,
И стою я на страже в раю...
Я бы всех отстранил: "Подождете!"
И впустил туда бабушку мою.

ОБСТРЕЛ —

Однажды в институте Турнера Федя Кайсиди, пятнадцатилетний верзила, рассвирепев, стал швырять в меня, десятилетнего, разные предметы.

Мы оба были лежащие, и швырял он их через две пустые кровати.

В меня летели шахматная доска, увесистые линейки, графеные стаканы, ботинки, книги в тяжелых переплетах.

Я старался защититься подушкой и одеялом, но шахматная доска рассекла мне пальцы, да и одеяло было не ватное.

Помню свое главное ощущение — тоскливое, смешанное с ужасом ожидание: "Неужели это никогда не кончится?"

Как ни странно, похожее чувство я испытал во время обстрела Ленинграда.

Уверяю вас, это очень страшно — слышать все от начала до конца: глухой далекий удар, нарастающий свист и близкий грохот разрыва.

И каждый раз мысль: пронесло, опять не в меня!

И знакомое, смешанное с ужасом ожидание — пожалуй, даже не ожидание, а просто тоска: "Неужели это никогда не кончится?"

За окном грохочут пушки,
Стекла вышибло волной.
Я заткнул окно подушкой.
Но кругом — мороз сквозной.

За окном грохочут пушки,
Снег и вечер за окном.
Трум! — и на стекле подушка
Темным выступит пятном.
Трум! — в буфете звон посуды.
Трум! — не смерть ли? Все равно...
Никогда я не забуду
Это черное пятно.

ПОДКОВКИ —

Такие маленькие черные подковки — как бы из твердой резины, с забитыми в них зачем-то желтыми гвоздиками, которые мы выдергивали клещами.

Подковки эти нужно было варить много часов. Получалось нечто вроде студня. Солили и ели.

Горчицу вымачивали три дня. Потом пекли лепешки. Говорят, часто это приводило к язве желудка.

Грызли горькую дуранду, жевали несъедобные шроты.

Кошек и собак не пробовал, за что благодарен судьбе до нынешнего дня.

В первые послеголодные годы я мог съесть 100—150 грамм масла без всего — даже вспоминать противно.

И теперь, через сорок лет после блокадной зимы, перед каждой вечеринкой во мне оживает страх, и я нудничаю:

— А вы в булочную сходили?

На меня сердятся.

— Да сходим еще, успеется!

А я то и дело представляю себе: булочная закрыта, стол ломится от салатов и разносолов, но на нем нет самого главного — хлеба.

КАК ЭТО СЛУЧИЛОСЬ —

Папиной сестре, тете Рахили, неожиданно повезло. Ночью пришли арестовывать соседа по квартире — крупного спекулянта. (Вероятно, у него-то мама и покупала подковки.)

В последнюю минуту он ухитрился выбросить толстую пачку денег.

Тетя Рахиль наткнулась на них уже днем, когда несла в кухню кастрюлю снега. Пачка лопнула и купюры лежали на полу жирным веером.

В блокадном Ленинграде деньги мало что значили, однако сумма была так велика, что могла спасти от голодной смерти.

Половину тетя Рахиль отдала нам. Стала возможной эвакуация.

Но не хотелось, Боже мой, как не хотелось!

Странно устроен человек: я ничем не мог помочь моему городу, я мог только замерзнуть, погибнуть от истощения, пропасть. И все же отъезд ощущался, как предательство.

Я лежал под грудой тряпья, слушал по радио стихи Ольги Берггольц и плакал.

ОЛЬГА ФЕДОРОВНА БЕРГГОЛЬЦ —

С Ольгой Федоровной Берггольц я разговаривал только по телефону, но ее ужасная судьба потрясает мое воображение.

Счастливая комсомольская юность — веселая, напористая, неразумная. Первые стихи в журналах "Красная новь" и "Красная панорама".

Их печатали охотно и снисходительно. Да и общий уровень был — прямо скажем — не слишком-то высок.

Потом ЛАПП — Ленинградская Ассоциация Пролетарских Писателей, которую возглавляют Чумандрин и Либединский.

Берггольц — активистка. Собрания и диспуты бурлят на

Фонтанке, в Доме печати. Иногда на них приезжает из Москвы сам Авербах.

Ольга Федоровна очень привлекательна. Она совсем девочка — белокурая, с длинной косой. В нее влюбляется замечательный поэт Борис Корнилов.

Спросите советского школьника:

— Какие стихи написал Михаил Светлов?

Ответ будет мгновенным:

— "Каховку" и "Гренаду".

— А что написал Борис Корнилов?

Тут школьник подумает. Но если он часто слушает радио, то все же ответит:

— Корнилов сочинил текст песни "Нас утро встречает прохладой". Все ясно. Выводы делайте сами.

А мне, чтобы зазвенели его строки, даже не нужно раскрывать книжку:

"Гуси-лебеди пролетели,
Чуть касаясь крылом воды.
Плакать девушки захотели
От неясной еще беды.

.....

Поголяем еще немного...
Как у нас вечера свежи!
Покажи мне, за ради Бога,
Где же керженская дорога,
Обязательно покажи".

А вот, словно перелистнули несколько страниц:

"И молчит она, все в мире забывая, —
Я за песней, как за гибелью, слежу...
Шаль накинута на плечи пуховая...
"Ты куда же, Серафима?" — "Ухожу".

Брак Ольги Федоровны оказался недолговечным. Муж пил, дебоширил. Да и не везло им. В газете "Известия" появилась короткая фраза в черной рамке:

”Борис Корнилов извещает о смерти дочери”.

Через некоторое время Берггольц вышла замуж за литературоведа Николая Молчанова.

Но еще немного о Корнилове.

Это был тот редкий случай, когда на щит поднимали человека действительно талантливого.

На первом съезде писателей о нем говорил Бухарин.

Поэма ”Триполье” расхваливалась на все лады.

”Моя Африка” печаталась в ”Правде” — я помню это зрительно до сих пор.

Но у больших поэтов есть странное свойство — предощущение грядущего. ”Не спрашивай, по ком звонит колокол — он звонит по тебе”. И как плач о жизни, как пророческое сожаление о пропащей молодости, слышу я реквием из ”Триполья”:

”Я скоро погибну в развале ночей
И рухну, темнея от злости.
И белый, слюнявый, объест меня червь,
Оставит лишь череп да кости.
Я под ноги милой моей попаду
Омытою костью нагою —
Она не узнает меня на ходу
И череп отбросит ногою.
Я песни певал — молодой, холостой,
До жизни особенно жаден...
Теперь же я в землю гляжу пустотой
Глазных отшлифованных впадин.
Зачем же рубился я, сталью звеня?
Зачем полюбил тебя, банда?
Одна мне утеха, что после меня
Останется череп... и амба!”

В тридцать седьмом году выяснилось, что высокая оценка Бухарина забыта.

Первым почувал перемену ветра Анатолий Тарасенков. Хотя в ”Литературном современнике” напечатали еще каким-то чудом цикл ”Стихи о Пушкине” — последняя прижизнен-

ная публикация поэта — критик писал о нем уже в прошедшем времени: "Подвизался в литературе и некий Борис Корнилов".

А затем широко раскинулся по газетам и журналам собачий гон:

"Торопливая и безграмотная мазня..."

"Набор слов..."

"Пошлость и беспардонная болтовня..."

Хотелось крикнуть: "Остановитесь! Нельзя же так! Вспомните, что вы писали полтора года назад!"

Какое там — охота продолжалась.

Наконец, "Ленинградская правда" поместила откровенно доносительскую статью Льва Абрамовича Плоткина. На следующий день Корнилов был арестован. В 1938 году его убили.

Берггольц не верила в Бога. Но она любила показывать друзьям принадлежавшую семье редкую икону: Богородица, прикладывающая палец к губам.

Очевидно, Ольга Федоровна не вняла предупреждению и сказала что-то неосторожное. Падала на нее и тень первого мужа.

Ее забрали.

Она ждала ребенка и на допросах ее не били. Просто заперли в стенном шкафу, и она простояла так трое суток. Когда дверцу открыли, она вывалилась оттуда — ноги распухли и не держали.

Результаты были самыми печальными.

Говорят, что в последующие годы Ольга Федоровна страстно хотела иметь ребенка. Но каждый раз на том же месяце, буквально день в день все повторялось.

За свое, недолгое по нашим масштабам, одногодичное заключение она поплатилась материнством.

Мне совершенно непонятен ее неожиданный взлет, но факт остается фактом: в блокадные годы Ольга Берггольц, ничем прежде не выделявшаяся, стала душой и устами осажденного Ленинграда.

Когда в репродукторе, на фоне постукивающего метро-

нома, в промежутке между двумя тревогами, возникал ее негромкий, слегка картавящий голос, делалось спокойнее.

Чем она брала? Наверное, человечностью и обыденностью.

Как будто женщина, живущая рядом за стеной, случайно попала в Смольный, слышала там последние новости, и делится ими не с целым городом, а с соседями по квартире.

И новости-то, по правде говоря, не Бог весть какие, а все-таки легче.

Казалось, ты спрашивал:

— Вынесу ли? Хватит ли терпенья?

А она отвечала — рассудительно и неторопливо:

— Вынесешь. Дотерпишь. Доживешь.

И, Господи, как хотелось ей верить!

”Был день как день,
Ко мне пришла подруга,
Не плача рассказала, что вчера
Единственного схоронила друга,
И мы молчали с нею до утра.
Какие ж я могла найти слова?
Я тоже ленинградская вдова”.

Да, ленинградская вдова. ”На охтенском, на правом берегу” она схоронила своего второго мужа, умершего от голода. Значит, она не пользовалась никакими номенклатурными благами: то ли отказывалась, то ли не предлагали.

Не хочу судить о стихах, но содержащиеся в них новеллы отличаются удивительной достоверностью и благородством:

”Я, как рубеж, запомню вечер:
Декабрь, безогненная мгла,
Я хлеб в руке домой несла,
И вдруг соседка мне навстречу.
— Сменяй на платье, — говорит, —
Менять не хочешь, дай по дружбе.
Десятый день, как дочь лежит:
Не хороню. Ей гробик нужен.

Его за хлеб сколотят нам.
Отдай. Ведь ты сама рожала...
И я сказала: Не отдам, —
И бедный ломоть крепче сжала...
И сил хватило привести
Ее к себе, шепнув угрюмо:
— На, съешь кусочек, съешь... прости!
Мне для живых не жаль, не думай!"

Мне кажется, ни у кого нет таких пронзительно-зримых описаний полумертвого Ленинграда:

"А город был в дремучий убран иней.
Уездные сугробы, тишина...
Не отыскать в снегах трамвайных линий,
Одних полозьев жалоба слышна.
Скрипят, скрипят по Невскому полозья.
На детских санках, узеньких, смешных,
В кастрюльках воду голубую возят,
Дрова и скarb, умерших и больных..."

После этих строчек идет многоточие. Поставим и мы многоточие...

Потому что кончилась трагедия Ленинграда и началась трагедия Ольги Берггольц.

Она, ее вдохновение, ее невесть откуда взявшийся Божий дар остались там, в блокаде.

Недаром она писала:

"Я вмерзла в твой неповторимый лед".

Плакальщица и утешительница Ольга Берггольц умерла в осажденном городе вместе с тысячами своих безвестных героев.

"Человек был на войне убит".

Когда я беру в руки сборник "Избранное", он ошеломляет меня бездарностью и официозностью.

Безликий попугайский голос без всякого выражения выкрикивает набившие оскомину лозунги, раз и навсегда отлитые для газет словесные конструкции.

Вот о родине:

”... первую Россия
Европу к коммунизму поведет”.

Вот о Ленине:

”Победоносному терпению
Недаром Ленин нас учил”.

Вот о Сталине:

”Мы навеки слили имя Сталин
С именем сверкающим твоим”.

А вот они оба:

”Прошу!” — и Сталин входит в кабинет.
Он видит, оживлен и счастлив Ленин”.

А вот весь набор сразу:

”... Революция, Отчизна,
Россия, Партия, Любовь”.

Полноте, да она ли это?

Она.

И это именно то, что нужно ”партии и народу”. Ее превозносят до небес. Ее делают символом, монументом — называйте это как хотите.

Но существует еще и живая женщина — поэт Ольга Берггольц, стихи которой нравились Ахматовой. Она со страхом чувствует, что теряет речь, так же, как и ее нынешние персонажи.

”Они слова ’Интернационала’
Произносили, вместо слов своих”.

Ольга Федоровна еще пытается писать. Из-под ее пера выходит монстр: чудовищно-неуклюжая, напыщенная поэма ”Первороссийск”.

Тогда, отчаявшись в стихах, она пишет повесть "Дневные звезды". С радостью отметим, там есть и прекрасные страницы. Но вся повесть как бы на котурнах, а главное отличие военной Берггольц — простота и естественность.

И она умолкает. Не совсем, но почти.

"День поэзии" еще печатает каждый год ее подборки, но это старые вещи, которые она не публиковала когда-то, считая их поэтическими отходами.

Среди славословий она чувствует себя абсолютно одинокой — и в творчестве, и в человеческой, женской жизни.

Первого мужа убили, второго похоронила, третий оставил.

"Теплый ротик ребенка не тронет сухого соска" — пусть эту строчку написала не она, а Маргарита Алигер — все равно это о ней.

Поэзия поманила и покинула, как будто ее дали взаймы.

Что же осталось? Искусственно поддерживаемая слава?

Разве можно жить одним прошлым?

И я перехожу к самому трудному.

Длинен, нескончаемо длинен список талантливых русских людей, погибших от пьянства. И внизу, под этим горестным столбцом, я ставлю и ее имя.

Она была в ореоле, вроде святой, но ее (как и Михаила Светлова) лишали возможности выступать, не допускали на экран телевизора. Всех испугало бы морщинистое, отекавшее от алкоголя лицо. И к тому же, это нарушило бы канонический образ.

Скульптор Василий Остапов рассказывает:

— Пригласить Ольгу Федоровну в мастерскую было невозможно, и я лепил ее портрет у нее, в ванной комнате, — верхний свет, удобно. Да и грязи много.

А она лежала в комнате — на неубранной постели, пьяная.

Пройду по коридору, погляжу на нее, и назад — за работу.

А иногда слышу, пробирается она по стеночке и бормочет:

”Идет бычок, качается,
Вздыхает на ходу:
Ох, доска кончается,
Сейчас я упаду”.

Откроет дверь на кухню, нальет стакан — и в постель.

А когда я показал ей, что получилось, отвернулась и заплакала:

— Ой, Васенька, неужели я такая страшная?

Остапов обрывает рассказ и добавляет последнюю — до озноба — фразу:

— Потом я ее из глины в дерево перевел.

Анна Ахматова в стихотворении ”А там мой мраморный двойник...” писала:

”Холодный, белый, подожди,
Я тоже мраморною стану”.

Но Берггольц не желала быть ни мраморной, ни бронзовой. Она иступленно кричала: ”Не вбит еще крюк, на котором повешусь!”

Она не хотела своей судьбы. Она уверяла себя, что это не конец, что жизнь не может завершаться так бесплодно.

”Я знаю о многом. Я помню. Я смею.
Я тоже чего-нибудь страшного стою”.

Но это был конец. И когда она поняла, осталось только одно: последнее, простительное ей тщеславие.

Умирая от цирроза печени, она молила:

”Похороните меня на Пискаревском кладбище”.

Почему этого не сделали?

Почему, превратив ее в памятник при жизни, отказались выполнить ее последнюю просьбу и не воздали ей посмертную почесть — ей, чьи надписи выбиты на плитах ленинградского пантеона?

Чего боялись?

Неужели для нее не нашлось бы места?

И я закрываю тетрадь с чувством недоумения, боли и стыда.

Эвакуация

БОРИСОВА ГРИВА —

Двое подростков вытащили меня с трудом из вагона и опустили в липкую грязь между поездами. Все ушли. Мама тоже ушла во мрак, чтобы поискать кого-нибудь из мужчин, которые могли бы донести меня до машин, еле слышно гудящих вдали.

Я лежал в холодном месиве между двумя поездами и все время ждал, что один из них тронется и затянет меня под колеса — переползал поближе то к одному, то к другому.

Мама вернулась примерно через час — как она нашла меня, не знаю (путей и составов было много).

Потом истощенный человек, хрипло дыша, тащил меня на закорках и бормотал:

— Ой, тяжело! Не донесу!

Смутно помню сарай с нарами. Про кого-то говорили:

— Выдали ему на дорогу хлеб, а он набросился сразу и умер.

Вскоре меня положили на носилки и понесли к грузовикам. У машин шла ожесточенная борьба. Дважды носилки пытались столкнуть обратно в руки санитаров.

Наконец тронулись через озеро в сторону Кобон. Лед таял, и колеса были наполовину скрыты под водой.

Все мне снится местечко Кобоны,
Все назад я гляжу, не боясь:
Стон моторов и беженцев стоны,
Вещи брошены в лютую грязь.
Я без дома, как ветка, засохну,
Я умру в этом поле нагом...
Ничего. Не погибну. Не сдохну.
Уноси меня к югу, вагон.
Увози меня к югу, теплушка.
Я измучен. Подвинься, сержант.
Словно чая зеленого кружку,
Поднесу я к губам Самарканд.
По-узбекски бормочет арык нам,
Все вокруг — в голубом, золотом...
Не могу! Не хочу! Не привыкну!
Лучше в гости приеду потом.
Я вернусь в свой расстрелянный город,
В злую юность свою — в Ленинград.
И когда мне исполнится сорок,
Он прекраснее станет стократ.
А когда пятьдесят мне подкатит
И сдавать мое сердце начнет,
Он меня, словно ветер, подхватит,
Петушиное слово шепнет.
Будет день этот в облачной пене,
Будет память, как шрам ножевой, —
И спущусь я к Неве по ступеням,
И воды зачерпну я живой.

НЕ СКАЗАВ НИ СЛОВА —

Где он, сосед по купе, убийца мамы — молодой, холеный? Утром, не сказав нам ни слова, не предупредив, он привел патруль и снял с поезда отекающую от голода женщину и ее парализованного сына, потому что ночью они чесались. И мы добирались от Рязани до Ташкента больше месяца. А тот поезд домчал бы нас за три дня. И мама была бы жива, была бы жива...

ПОСЛЕДНИЙ ДАР МАМЫ —

Средняя Азия началась для нас с Ташкента, с загородной больницы.

Болезнь называлась пеллагрой. Все тело стало шершавым, как у ящерицы.

Мама лежала в другом отделении, на первом этаже.

Иногда меня сажали снаружи на подоконник, и я видел ее бедное распухшее лицо.

Ей нельзя было пить. Но ее мучила жестокая жажда, и она пила воду — стакан за стаканом, и с каждым глотком в нее входила смерть.

Она то жалобно стонала, то теряла сознание и бредила. А я гнал от себя этот ужас и верил: мама останется со мной — в осажденном Ленинграде женщины умирали реже.

Как-то ночью меня разбудили и сказали, что маму увезли в институт переливания крови. Толстая заспанная узбечка передала мне помятый кожаный чемодан с отлетевшими застежками и конверт, несколько сторублевых бумажек — последний дар мамы.

СПРАВКА —

Гражданка Друскина Двоше—Родель Эльевна находилась на излечении в стационаре института переливания с 11/IV—42 г. по ... умерла 24/IV—42 г. в 8 часов вечера.

Результат лечения: поступила в институт без хлебной карточки, как эвакуированная из Ленинграда.

Зарегистрировано в реестре за № 7431.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОСЕЩЕНИЕ —

Я лежал по обыкновению на скамейке в больничном дворе, когда ко мне в гости пришли пионеры.

До какой-то ташкентской школы докатилась весть, что в пригородной больнице находится комсомолец, участник обороны Ленинграда. Да и статью в "Огоньке" они, вероятно, читали.

Они хотели обставить все как можно торжественнее, и явились с барабаном и, по-моему, с развернутым флагом.

Я лежал грязный, оборванный, на свесившемся до земли матраце. Кругом сидели, лежали, бродили страшные изможденные люди.

Я обнимал за плечи нарядных двенадцатилетних ребятшек, рассказывал о Ленинграде, но они все время растерянно косились по сторонам.

Слух у меня был еще острый и я уловил, как учительница шептала пионервожатой:

— Какой ужас!

Неохота говорить правду, но в этом шепоте не чувствовалось жалости. Обе они были просто шокированы.

Взрослые постарались поскорее увести своих питомцев. Больше ко мне пионеры не приходили.

О ПОДЛОСТИ —

У меня мало в жизни позорных минут, подлых поступков. Но они есть, как в жизни каждого человека.

Жаркий ташкентский день. Я лежу на скамейке посреди двора. Около меня прямо на траве расположилась группа

больных. Один из них разоткровенничался и рассказывает мне, как он сидел в лагере.

Это моя первая встреча с ГУЛАГом. Я еще ничего не знаю, ничего не понимаю. Слушаю с интересом, но без эмоций.

И вдруг меня пронзает, как штыком. Собеседник говорит о моем дальнем родственнике Давиде Выгодском — остром и превосходном писателе тридцатых годов — пожалуй, немного чересчур изысканном и утонченном.

Я слушаю о его невыносимых мучениях. О том, как над этим неженкой издевались заключенные. О том, как он ослабел, не мог выходить на работу и не получал свою пайку. А потом умер и целый день валялся голый на снегу.

(Через несколько лет, в Ленинграде, меня навестила его жена Эмма Выгодская, красивая и гордая женщина. Я все время с ужасом думал, какую боль могу ей причинить. О муже она ничего не знала с момента ареста. И я очень боялся проговориться.)

Между тем, настало время обеда. Разливали какую-то бурду. Каждую порцию провожали настороженными глазами. Раздатчица жалела меня и налила похлебки погуще. Мой собеседник приподнялся навстречу миске и спросил изумленно:

— Кому это?

И я ошетинился, как волк. Глядя на него в упор, я отчетливо:

— Это мне!

Он отвернулся и угрюмо замолчал.

Лучше бы в моей жизни не было этого дня!

ИНВАЛИДНЫЙ ДОМ —

Из ташкентской больницы в Самарканд меня сопровождали две санитарки. От вокзала в город ехали мы на "кукушке" (паровозик с одним вагоном). День был ветреный, морозный. Я сидел на ступеньке, держался за метал-

лический поручень, и пальцы заоченели так, что я боялся свалиться.

Директор инвалидного дома, которому я был представлен как писатель, встретил меня поначалу радушно и даже подобострастно: накормил вкуснятиной, в то время совершенно немыслимой. Я еще подумал: "Откуда это у него?"

Так меня кормили целых три дня. Но когда я увидел что едят другие, я на этот раз, к чести своей, потребовал, чтобы меня уравнили со всеми. С этого начался мой конфликт с директором.

Пища была ужасной. То в одной, то в другой палате умирали от истощения. По сути, для меня это явилось продолжением блокады.

Чтобы как-то оправдать такое питание, директор сделал ловкий ход. Зарезали ишачонка и пару дней давали на обед мясной суп. Но потом нас почти вообще перестали кормить, уверяя, что все деньги ушли на мясо.

Я помнил, как меня встретили, и понимал, что нас свирепо обворовывают. Я написал письмо в СОБЕС и стал подбивать остальных на коллективную жалобу.

Директор пришел ко мне, выгнал соседей из палаты и принялся уговаривать. Он сулил мне человеческую еду и чистое белье. И при этом добавлял:

— Напрасно жалуетесь — моя жена депутат районного совета.

В заключение директор заявил, что если я не угомонюсь, он добьется моего перевода в маленький инвалидный дом, где-то в кишлаке, кажется, под Кокандом. Это была серьезная угроза. Не знаю, почему он ее не осуществил. Наверное, все-таки боялся.

Меня окружили обломки судеб и надежд.

Ходил, гордо закинув голову, "композитор" — узкоплечий, длинноволосый, насквозь просаленный субъект, не написавший, — думаю, — ни одной ноты.

Соседнюю со мной койку занимал слепой багроволицый мужчина по фамилии Побережнюк, эвакуированный из Одессы.

Он часто повторял одну и ту же фразу:

— А мою дочь сейчас, должно быть, немец ебет...

Говорил он это без злобы, пожалуй, даже с какой-то завистью.

Мерзкий был человек!

Орала и материлась на каждом шагу Лида — полная, прихрамывающая на одну ногу бабенка, спавшая поочередно с директором и бухгалтером. Остальные женщины относились к ней брезгливо и ненавидели: то ли из ханжества, то ли из зависти.

От Лиды я впервые услышал слово — "фальшисты". А еще она говорила: "Я выкуировалась из Новгорода и вкуировалась в Самарканд".

Заглядывал отвести душу Карл Гетцель — баварец, бывший боец интербригады. От него (а не от Буша) я узнал песню:

"Die Heimat ist weit,
doch wir sind bereit".

Всю жизнь в индومه Карл воспринимал, как тяжелое унижение. Он говорил, что это временно, что его не забудут и в самое ближайшее время снова вызовут в Коминтерн на большие дела. Но телеграммы все не было, и однажды он исчез, уехал в Москву самовольно. Через неделю он вернулся, как побитая собака.

В отдельной каморке жили "чахоточные" — две украинки, шестнадцатилетняя Галя и тридцатилетняя красавица Леня. С ними никто не общался — опасались заразы. Но мы нежно подружились. По моей просьбе два инвалида относили меня к чахоточным в гости, и я лежал у них до самого вечера. Мы болтали, пекли в печке белую кормовую свеклу, а разочек даже купили на базаре немного требухи.

Один раз, когда нам было особенно хорошо и дружно, Леня стала уговаривать меня остаться до следующего вечера. Я понимал, что ночью она придет ко мне, и у меня от этой мысли кружилась голова и перехватывало дыхание, но я

был абсолютно уверен, что если я это сделаю, нагрянет директор. И я не решился.

А вскоре в индом явилась для проверки моего письма заведующая Горсобесом Уколова.

Они ввалились оравой — Уколова, директор и десяток его прихвостней. Как только я попытался сказать хоть слово, поднимался дикий галдеж. Все кричали, что я клеветник, что в доме порядок, и что кормят по военному времени совсем неплохо — иногда даже дают мясо.

У меня поплыли в глазах стены (как в детстве, в институте Турнера), когда Побережнюк, еще утром последним матюгом лаявший директора, крикнул:

— А он с чахоточными ночует!

Уколова вся сморщилась: "Фу, какая гадость!" — и быстро вышла из комнаты. Несомненно весь спектакль был обговорен и срежиссирован заранее.

КОРОЛЬ И ГЕРЦОГ —

Я даже помню их фамилии — Крептюков и Феокистов. Члены Московского союза писателей. Как они нашли меня — уму непостижимо. Они предложили:

— Давайте выступать вместе.

Выступали мы в основном в школах.

Происходило это так. Крептюков или Феокистов спрашивали, показывая на меня:

— Дети, вы знаете, кто такой Николай Островский?

Раздавались голоса:

— А это он?

— Нет, дети, это не он. Но это человек такой же героической биографии. Вот что писали о нем в "Огоньке". Статья называется "Мужество".

После отрывка из "Огонька" я читал несколько стихотворений, а они — по рассказу. За это нам немного платили. Можно было купить лепешку и катык — нечто среднее меж-

ду творогом и сметаной. Теперь подозреваю, что львиная доля гонорара доставалась не мне.

Тянулась наша идиллия недолго. Как-то они попросили меня подождать полчаса в школьном дворе, а сами ушли, чтобы окончательно сговориться с директором. Так бывало часто.

Но на этот раз ишак застоялся, и мы решили проехаться вокруг двора.

И вдруг ишак, будто что-то понимая, остановился около углового окна. За столом сидели маленький Феоктистов и длинный Крептюков. Администрация кормила их обедом.

Так третий раз в жизни мне пришлось испытать, что такое предательство. Задыхаясь от ярости и глотая слюнки, я сказал Карлу:

— Поворачивай!

Больше мы не выступали, несмотря на упрасиванья и мольбы. Предполагаю, что они крупно погорели без меня — без своего Николая Островского.

И еще я думаю: может быть, это были просто жулики? Уж больно напоминают они короля и герцога из "Приключений Геккельберри Финна".

ЧЕРЕПАХОВЫЙ СУП —

Хлопнула дверь. В комнату вбежала Галя.

— Смотрите, что я нашла!

В руках у нее шевелилась красивая, довольно большая черепаха.

— Сейчас суп сварим! — обрадовалась Ленья.

Словно услышав это, пленница втянула голову и лапы. Разрубить ее можно было только топором.

Однако, ни у кого не поднималась рука.

После короткого совещания решили черепаху утопить. Это было тоже жестоко, но нам очень хотелось есть.

Наполнили ведро и сунули ее на дно. Она забилась, но агония продолжалась недолго.

Для верности мы ждали около часа. Потом вывалили утопленницу на пол.

Черепаша полежала несколько минут, и вдруг задвигалась и поползла к двери.

Так мы ее и не попробовали.

БАБА ИЛИ ВОДКА ? —

В инвалидном доме жил почему-то молодой, совершенно здоровый парень — Сергей, классный сапожник.

Для чего он к нам пристроился — непонятно. Хотел подкормиться, как Паша Эмильевич? Но ведь мы все были на голодном пайке.

Захаживала к Сергею городская любовница — толстая, грудастая тетка.

Он хвастался:

— Видал? Есть за что подержаться!

И, понизив голос, спрашивал:

— А как ты считаешь, что слаще — баба или водка?

И я, не знавший еще ни того, ни другого, значительно отвечал:

— По-моему, баба.

СТРАННО УСТРОЕН ЧЕЛОВЕК —

И снова я повторяю: странно устроен человек.

Судьба преследовала меня, как дикого зверя: загнала в угол, лишила ног, морила голодом и стужей, убила близких.

Но молодость брала свое.

Это потом зрение потускнеет, а сейчас мир был раскрашен ярко, наподобие детского рисунка. Небо казалось не голубым, а густо-синим, кусты и деревья сверкали свежей листвой, песок желтел как новенький.

По ночам на меня, словно в детстве, смотрели огромные веселые звезды.

Каждое утро было обещанием. Меня переполняло ожидание счастья.

И когда я ехал на арбе мимо журчащих арыков, все струны во мне трепетали.

Я в сердце горящем вынашивал
Напиток любви хмельной.
Я каждую девушку спрашивал:
"Ты будешь моей женой?"
Она отвечала: "Буду!"
И мир, сияя, вставал.
Она отвечала: "Не буду!"
Но мир, как прежде, сиял.

САМАРКАНД—ОМСК—САМАРКАНД —

На остатки денег я перебрался из инвалидного дома в городскую гостиницу. Повздыхал над конвертом и выложил все денежки сразу — за три месяца вперед.

Время это промелькнуло мигом, но директор, человек удивительной доброты, меня не гнал и даже журил за расточительность:

— И надо же было вам так раскошелиться!

Обед мне устроили бесплатный, в райкомовской столовой. Она была довольно далеко. Худая молчаливая женщина приносила остывшее второе, а я за это отдавал ей первое.

В Самарканд эвакуировалось тогда девять институтов и военно-медицинская академия. Знакомых у меня было хоть отбавляй.

И прежде всего — Дэдка.

Он пришел ко мне робким семнадцатилетним мальчиком, и преданно и влюбленно служил мне — не могу назвать это иначе — ежедневно и ежечасно.

А постучался он в мою дверь, чтобы показать свои стихи,

совсем неплохие. Я и сейчас слышу, как он читает, заикаясь:

”Бюсты в диком ужасе смотрели,
Как багрились острия штыков.
И стонал расстрелянный Растрелли,
И молчал казненный Казаков”.

И еще одному человеку вечная моя благодарность. Мендл Лифшиц, пятидесятилетний поэт, кажется из Минска, возившийся со мной, как с сыном, и писавший (какое это вызывало у меня изумление!) по-еврейски, да, по-еврейски.

”А мазелтов! А мазелтов!
Ди гэст, ди фройнд, ди шхэйнэм,
Ди юнге лайт, ди алтэ лайт
Унд алэмэн ин эйнэм”.

Иногда меня навещал Карл, и мы плыли на арбе по солнечным улицам, и я все не мог привыкнуть, и удивлялся дувалам и арыкам, и женщинам с завешенным лицом, и тому, что знаменитый узбекский писатель Айни едет по городу на ишаке, а ишак маленький, и ноги Айни волочатся по земле.

Зной не спадал.

А в Омске, куда была эвакуирована моя будущая жена Лиля, трещали сорокаградусные морозы. На базаре продавались твердые круги молока. Пальцы в рукавицах мерзли. Ресницы становились длинными и алмазными.

Кто-то пошутил:

— Не вздумай лизнуть ручку двери — язык примерзнет.
Восьмилетняя Лиля не поверила и решила попробовать.
Язык примерз.

Она испугано дернула головой, сорвала кожуцу, заревела. Во рту долго стоял смешанный привкус крови и слез.

Семья ютилась в крохотной комнатухе. Но с районом повезло — дом находился напротив тюрьмы. По вечерам город погружался во тьму и в нем вершились темные дела. А улица перед тюрьмой была ярко освещена.

Дров уходило много. Поленница Нины Антоновны — лилиной мамы — лежала впереди, дедова сзади.

— Какая разница, — сказал дед, — будем топить сперва вашими.

Когда поленница кончилась, дед объявил:

— А теперь давайте топить каждый своими.

Квартира принадлежала двум полусумасшедшим старухам — Раечке и Клавочке.

Стоило посмотреть, как они завтракают на кухне!

Раечка стучала ножом по стакану:

— Внимание!

Клавочка настораживалась.

— Передайте мне кристаллы!

И та послушно передавала соль.

Грязны они были невероятно. Лилина тетя вышла в коридор и ей показалось, что раечкино пальто шевелится. Она пригляделась и вскрикнула. По воротнику и вниз — до самого подола, широкой полосой тянулись вши.

Весной снег таял, и наклоненные к Иртышу улицы превращались в бурлящие потоки. Лиля томилась на краю панели и канючила:

— Дяденька, перенесите!

Как-то в воскресенье, заскучав, она включила радио и услышала песню о возвращении в родной город — первый привет от меня.

Настежь раскрыта знакомая дверь,

Свалена набок ограда...

Я возвратился, я дома теперь —

Лучшего счастья не надо!

В холод и зной

Ты был всюду со мной

В гуле военных тревог.

Помни, родной,

Я по-прежнему твой —

Я не вернуться не мог!

Эту песню мы с Дэдкой сочинили на пару и продали

эстрадной певице Анне Гузик — шумной и агрессивной женщине. По гостиничному коридору она проносилась как танк, и в ее номере тут же начинался скандал.

Муж артистки — молодой глупый мужчина — больше всего любил наряжаться, и однажды чуть ли не со слезами пожаловался, что во время недавнего пожара у него сгорело четырнадцать костюмов.

Я лежал в неубранной комнате под потертым одеялом и думал:

— Зачем человеку четырнадцать костюмов?

БУСЯ И ДРУГИЕ —

Боже мой, кого я только не перевидал!

Останавливался в гостинице провинциальный еврейский театр, не помню откуда.

Режиссер, запальчивый и лохматый, уверял меня, что они гораздо лучше ГОСЕТа, что Михоэлс и Зускин — фигуры дутые, и в доказательство провел у меня репетицию. Поминутно вскакивал, бегал по комнате и шумел на актера:

— Идиот! Бездарь! Неужели нельзя выучить правильно хоть одну интонацию?

Приезжал на гастроли Борис Гольдштейн, которого вся страна по старой памяти называла Бусей.

Поиграл он и у меня в номере.

Тогда я впервые подержал в руках скрипку Страдивари — простую, темную, без всяких украшений.

Я испытывал почти благоговение, был очень осторожен, но когда я прикоснулся щекой к лакированной поверхности, Буся забеспокоился и быстро спрятал свое сокровище в неподходяще нарядный, расшитый серебряными узорами футляр.

Захаживал молодой скульптор Воробьев, симпатичный, но очень раздражительный. Девушка, за которой он нежно ухаживал, сказала ему:

— Ну, пошли?

А он, внезапно обозлившись, ответил:

— Ты мне не нукай, я тебе не лошадь.

И вся долго подготавливаемая осада рухнула, отношения прервались.

Он был анималистом и мечтал вылепить Сталина с кошкой на коленях. Борис Яковлевич возлагал на свой проект большие надежды и восторженно восклицал:

— До такого еще никто не додумался!

Впрочем, он мечтал скооперироваться.

— Кошка-то у меня получится, — говорил он, — а вот Сталина лучше бы вылепил кто-нибудь другой.

Разумеется, он тоже был евреем.

НИ ОДНОГО ПАМЯТНИКА —

По телевизору в передаче "Клуб кинопутешествий" часто показывают архитектурные сокровища Самарканда — узорчатые многофигурные порталы Шахизинда; оспаривающие голубизну неба купола Регистана; стремящиеся оторваться от земли минареты; гробницу Тимура, которую он предназначал для своего любимого внука.

Я жил в Самарканде больше года. Но я не видел ни одного памятника старины. Трудно поверить — я просто не знал, что они существуют. Карл мог бы за полчаса отвезти меня туда на арбе.

А сейчас, чтобы увидеть их, люди прилетают с другого конца света.

ИЗВОЗЧИК —

Машин в городе практически не было. Но у подъезда гостиницы постоянно торчали облезлые пролетки.

Однажды ребята решили доставить мне удовольствие и вскладчину наняли извозчика, чтобы покатать меня вволю.

Это было действительно прекрасно. Как слезы, нахлынули воспоминания: детство... "вейки"...

Но прогулка была испорчена. Один из моих друзей позволил себе какое-то безобидное замечание в адрес правительства.

Я взорвался. Я приказал ему замолчать. Я потребовал, чтобы мы немедленно вернулись. И долго — целую неделю — с ним не разговаривал.

Чужие мысли, расходящиеся с моими, расходящиеся с государственным мнением, были мне неинтересны и казались кошунственными.

Строка Мандельштама "И меня только равный убьет", при всей ее гневной красоте, которую я чувствовал, возмущала меня своей надменностью.

А мы что — неравные? Почему он ставит себя выше нас? Он — великий поэт (это я понимал), справедливо наказанный и изгнанный.

Если бы мне прочли стихи Осипа Эмильевича о Сталине, я бы умер, я бы проклял его и поклялся никогда не брать в руки ни одной его страницы.

А ведь я был добр, честен, правдив. И, конечно, не глуп. Просто все понятия сместились.

Наш мозг был поработан, и нашей совестью, нашими руками делали что угодно.

СЦЕНА В РАЙКОМЕ —

Юра — сын эвакуированной писательницы Екатерины Васильевны Андреевой, славный интеллигентный парень — был неожиданно назначен вторым секретарем самаркандского райкома комсомола.

По его разрешению я просидел несколько дней на уютном, приткнувшемся в углу диванчике.

К моему удивлению, работа их не имела ни русла, ни смысла.

Не было никаких рамок, никакой программы. Люди

любого возраста обращались сюда по любому вопросу.

В обширной комнате просторно расположилось несколько столов. Звонили телефоны. Раскрытые настежь окна вытягивали табачный дым на улицу Ленина.

Но в день, о котором я говорю, они ничего не вытягивали. Стояла невыносимая жара. Даже телефоны умолкли, словно разомлев от зноя.

И вдруг в комнату вбежал пожилой человек с безумным, дергающимся лицом. Он бросился к юриному столу и забормотал:

— Спасите... За мной следят... За мной гонятся... Меня хотят арестовать... Это недоразумение, ошибка... Помогите мне... Разберитесь... Как только я выйду, меня арестуют...

Я очень испугался: "Сумасшедший?" И тут же меня кольнуло:

— Нет!

И еще одна мысль: "Уж лучше бы сумасшедший!"

У Юры забегали глаза и он тоже забормотал:

— Успокойтесь... Если вы не виноваты, никто вас не тронет... Я проверю... Я выясню...

И испарился.

Человек метался от стены к стене, как муха между стеклами.

Поняв, наконец, что Юра не вернется, он бросился к другому столу.

Снова лихорадочное бормотанье, и парень в тюбетейке поднялся и, успокоительно гудя, попятился к двери, ведущей в соседнюю комнату.

И исчез.

Кабинет опустел. Человек пометался еще немного, потом круто повернулся и выбежал на улицу.

Когда все вернулись, я не задал Юре ни одного вопроса.

Почему? Инстинктивно?

Что за проклятый инстинкт воспитало у нас время!

И только через много лет, прочитав рассказ Солженицына "Случай на станции Кречетовка", я все вспомнил, все понял

до конца и опять увидел умоляющие отчаянные глаза этого человека.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ВЕРТИНСКИЙ —

Прошло тридцать лет.

Однажды теща пришла сияющая.

— Ну, зять, я тебе такой подарок принесла!

И вытащила пластинку Вертинского.

— Лилька, Лилька, садись скорее!

Она бегала, включала проигрыватель, целилась иглой и напевала:

”На креслах в комнате белеют ваши
блузки,

Вот вы ушли и день так пуст и сер,

Сидит в углу ваш попугай Флобер,

Он говорит ”жамé”,

Он все кричит ”жамé” и плачет по-
французски”.

При первых звуках рояля она благоговейно затихла.

А мы с Лилей сидели и переглядывались.

”За упоительную власть
Пленительного тела...”

Ну и пошлятина!

”И мне сегодня за кулисы
Прислал король
Влюбленно-бледные нарциссы
И лакфиоль”.

Какая нестерпимая красивость!

”И взгляд опуская устало,
Шепнула она, как в бреду:
”Я вас слишком долго желала.
Я к вам никогда не приду”.

Какое самолюбование, какое жеманство!

Воспитанные на Окуджаве, на его глубине и сдержанности, на его безупречном вкусе, мы недоумевали: над чем заходила Россия? Что сводило с ума Париж, Нью-Йорк и Шанхай?

Ну хорошо, эмиграция... Но разве могли утешать ее тоску по родине лиловый негр и лиловый аббат, пес Дуглас и попугай Флобер — все такое нерусское?

Мы настолько обозлились, что при этом первом прослушивании не заметили ни виртуозной отделки интонаций, ни дивной долготы гласных — мы слышали лишь, как он выламывается и удивлялись нелепой пародийности стиха.

А потом пошли вообще слюни и сопли:

”Как приятно вечерами разговаривать
С моей умненькой веселенькой женой”.

И под конец — жenuличка, чижичек — такое сюсюканье, что просто с души воротило.

— Да ты что, мать, спятила? — изумилась Лиля, когда кончились ”Ангелята”. — И это могло вам нравиться?

— Дураки! Ничего не понимаете! — чуть ли не со слезами сказала теща. — Когда я его видела...

Сразу стало интересно.

— Вы были на его концерте?

— А ты как думал? И не один раз.

— Где же?

— В доме культуры Хлебопекарной промышленности, во дворце культуры имени Первой пятилетки, в клубе МВД.

Мы снова развеселились: ничего себе!

Но обижать тещу не хотелось, и я предложил перевернуть пластинку.

Нина Антоновна уже без прежнего энтузиазма нацелилась иглой и вдруг что-то со страшной силой толкнулось в сердце.

Время сместилось.

Я опять лежал на скамейке в самаркандском парке. В

ветвях неправдоподобных деревьев запутались огромные неправдоподобные звезды.

Господи, какая грусть, какое одиночество!

”А веселое слово ”дома”.
Никому теперь незнакомо.
Все в чужое глядят окно.
Кто в Ташкенте, а кто в Нью-Йорке,
И изгнания воздух горький,
Как отравленное вино”.

Эмиграция, эвакуация — как страшно и мучительно соединило их слово ”изгнание”.

В стороне, на освещенной площадке, кружились странные пары, мелькали военные гимнастерки и узбекские халаты. Все было чужое, немилое, и только музыка соединяла меня с прошлым.

Играли Вертинского.

”Послушай, о как это было давно...”

Давно?

”О нет, вы ошибаетесь, друг дорогой,
Мы жили тогда на планете другой”.

Господи, какие строки! Я еще не знал тогда, что это Георгий Иванов.

А через несколько дней в доме культуры, на сцене, я увидел самого Вертинского. Нет, не Вертинского, конечно, — его двойника: тоже белоэмигранта, тоже из Парижа, тоже с потрясающими руками.

Какие превратности судьбы забросили в военный Самарканд этого человека с неподвижным, словно напарафиненным лицом, с прилизанными редкими волосами?

А руки... Это не был танец рук. Иногда артист опирался на деку, иногда поддерживал локоть ладонью. И внезапно руки его вспыхивали в стремительном жесте — всегда необычном, но всегда точном, и жест этот с невероятной лаконичностью раскрывал и договаривал фразу.

Я боюсь каламбуров, но руки были как бы еще одним инструментом в его руках.

И потом одежда... Он стоял в черном смокинге, черных блестящих ботинках, у него была ослепительно белая манишка, белые пальцы, белое лицо, он сливался с черно-белым роялем, казался его отражением, продолжением...

Господи, у меня уже не хватает слов!

Он пел старинную французскую балладу, которую — бывает же такое! — я в детстве слышал от мамы.

”Бить в барабан велел король,
Бить в барабан велел король,
Он видеть дам желает”.

И дальше — перехватывало горло.

”Маркиз, ты счастливей меня”, — говорил король. И повторял:

”Маркиз ты счастливей меня,
Твоя жена прекрасна.
Отдай же мне жену свою —
Приказываю властно”.

”Когда бы не был ты король...” — отвечал ему маркиз. И повторял с беспомощной угрозой:

”Когда бы не был ты король,
Мечтал бы я о мести”.

И горькая ирония — что еще ему оставалось?

”Но ты король, ты наш король —
Защитник нашей чести”.

И с безнадежной покорностью:

”Итак прощай, моя жена,
Итак прощай, моя жена,
Прощай, моя отрада.
Ты королю служить должна
И нам расстаться надо”.

Мама, певшая мне эту песню, лежала в азиатской земле. Ленинград — город, в котором она пела, был отчетливо виден из немецких траншей. Париж — город, где эта баллада родилась сотни лет назад, задыхался от ярости и унижения. А мы — такова уж неразумная сила искусства! — жалели любовь, попранную королевской властью, хотя на душе у каждого из нас было столько горя, что его хватило бы на двести маркизов.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Жизнь наша советская

Деревья срывались с откосов,
Летели на крыльях зеленых,
В истерике бились колеса,
В ознобе дрожали вагоны.
Их гул, неуёмно-тревожен,
Над степью притихнувшей реял:
Мы больше не можем, не можем!
Скорее! Скорее! Скорее!
И солнце качалось над нами,
За горы ныряя устало,
И желтое жидкое пламя
В рассыпанных лужах сверкало.

МИРНАЯ ЖИЗНЬ —

И приехали мы в Ленинград, и началась наша мирная жизнь — трудная, горькая, но разбирался я в ней все лучше и лучше.

ГРАЖДАНКА РУБИНШТЕЙН, ОТВЕЧАЙТЕ ! —

Наши соседи Лазарь Абрамович и Роза Борисовна были реабилитированные, они отсидели по семнадцать лет. Роза попала в лагерь за потерю комсомольского билета. Не помню, за что забрали Лазаря, но он дважды был "под вышкой". Из камеры смертников то и дело уводили на расстрел, а ему повезло — оба раза приговор почему-то пересматривали.

Познакомились и поженились они уже в ссылке — два измученных, рано постаревших человека. У них был сын, шестнадцатилетний Яшенька, о котором Роза говорила: "Ведь вот поздний ребенок, а смотрите, какой удачный получился".

Яшенька — противный и смешной — иногда заходил в нашу комнату и нес ахиною:

— Лидия Викторовна, а вы бросили бы Льва Савельевича за двести тысяч?

— Нет, не бросила бы.

Он не верил:

— Ну да — за двести тысяч?

А потом просил:

— Достаньте мне почитать что-нибудь порнографическое.

Пищу он глотал, как удав, съедая зараз по восемь-десять бутербродов.

Но рассказ не о нем, а о Лазаре.

Маленький, тщедушный, он с утра, часов с шести, начинал шаркать по темному коридору: взад-вперед, взад-вперед, сотни раз, не преувеличиваю.

Ложились мы поздно, и это шарканье сводило нас с ума.

Лиля умоляла:

— Лазарь Абрамович, голубчик, ну что вам тут в коридоре? Шли бы на улицу — погуляли, подышали воздухом.

Он послушно уходил, но назавтра все начиналось снова.

Мы не сразу догадались, что это тюремная привычка: так мерил он шагами камеру, в ожидании близкой и неизбежной смерти.

Как-то, проходя по коридору, Лиля услышала в их ком-

нате голоса — мужской и женский. Розы Борисовны дома не было, и Лиля, очень удивившись, прислушалась.

Говорил Лазарь — хрипло, отрывисто, с угрозой:

— Гражданка Рубинштейн, отвечайте, кому вы отдали свой комсомольский билет? Отвечайте сейчас же, не то вам будет плохо.

И высокий, захлебывающийся женский голос:

— Гражданин следователь, не бейте меня! Я все скажу... Я не виновата... Не бейте меня!

И опять:

— Гражданка Рубинштейн, отвечайте...

Холодея от ужаса, Лиля заглянула в приоткрытую дверь. Лазарь был один. Он сидел на стуле посередине комнаты и изображал сцену допроса жены. Лагерь не кончился. Несмотря на реабилитацию, семнадцатилетнее заключение продолжалось. Казалось, что еще минута, и разум сорвется в пропасть.

Этим темным несчастным людям не везло и после освобождения. Лазарь работал на открытом воздухе, на постоянном сквозняке, и почти совершенно оглох. Свой заработок он пропивал. Он с гордостью представлялся:

— Я — человек пьющий.

Или:

— Я — человек слишком культурный.

Жили они в нищете и протянули недолго. И он и она умерли от рака.

БЛАГОДАРИТЕ СУДЬБУ, ЧТО ВЫ ПАРАЛИЗОВАНЫ —

Я не знаю точно, в чем провинился перед Сталиным первый секретарь ленинградского обкома партии Попков. Не хочу сказать, что это был хороший человек (на душе у руководителя такого ранга, во всяком случае в нашей стране, неисчислимое и неизбежное количество грехов), но всю войну он был на своем посту и подписывал документы вместе со Ждановым.

Ходили слухи, что после войны он мечтал сделать Ленинград столицей РСФСР. Сталин мог усмотреть в этом некий подвох, покушение на свою беспредельную власть. Да мало ли что могли ему донести? В то время людям, находившимся наверху, было очень легко сводить друг с другом счеты.

В Ленинград приехал Маленков, о котором шепотом говорили, что у него руки по локоть в крови. (Передо мной и сейчас стоит его страшное, похожее на блин лицо.) Попков принял высокого гостя в Смольном. Сомневаюсь, что кто-нибудь когда-нибудь узнает подробности их разговора. Известно только, что Попков приехал на машине, а ушел пешком, успел написать отчаянное письмо Сталину и, вероятно, в тот же вечер был арестован.

Дочь третьего секретаря обкома Капустина рассказывала мне позже, что ее отца, Попкова и других ленинградских партийных руководителей Сталин велел не расстреливать, а подвесить на крюк, под ребро. Он был хорошим учеником — кажется, Гитлер подвесил так покушавшихся на него генералов.

Марина Цветаева писала:

”Поэт издалека заводит речь,
Поэта далеко заводит речь”.

Я тоже завел речь издалека и вспоминаю об этих событиях, о которых знаю немного, лишь для того, чтобы рассказать, как ”Ленинградское дело” отразилось на мне и моей семье.

Жили мы плохо. Регулярной работы не было. Иногда какой-нибудь стишок печатали в ”Смене”. Изредка, очень изредка бывала халтура на радио — песенка для детской передачи о пионерском галстуке, о партии или о рабочем классе. Платили гроши, но все же это была поддержка.

И вот однажды я позвонил в радиокомитет — нет ли работы. Ответ был ошеломляющим:

— Повесьте трубку и не звоните нам больше никогда!

Я совершенно растерялся, но, немного опомнившись,

набрал номер снова и попросил главного редактора. На мой вопросительный лепет последовала грубая отповедь:

— Ах, вы ничего не понимаете? Так я вам объясню. В своих стихах вы воспеваете врага народа Попкова. С такими авторами мы не желаем иметь ничего общего.

И тогда я вспомнил: несколько месяцев тому назад я пробовал дать на радио поэму о Ленинграде. Начиналась она в духе Ольги Берггольц:

”Разметались улицы
В белом бреду,
А дома сутулятся:
Ой, упаду!
Поскрипывают валенки,
Печатают следы...
Саночки маленькие
Два ведра воды”.

Затем убогими стихами описывался подвиг бойца. Потом начинался раешник — приезд на фронт шефов.

Конец поэмы был барабанно-лозунговым. Я пересказывал газетную статью о собрании городского актива, на котором Ленинграду торжественно вручали орден Ленина. Вручал Калинин, принимал Попков. Об этом в поэме была одна строчка.

К моему великому огорчению (и на мое счастье) произведение не вышло в эфир из-за низкого художественного уровня. И вдруг теперь оно выплыло на свет Божий. Трудно поверить, но в те черные годы коварная строчка могла стоять мне тюрьмы, а, следовательно, и жизни. Хотя сообщение: ”Попков — враг народа” появилось только вчера, я должен был знать о его ”измене”, когда писал поэму.

Я стал умолять главного редактора отдать мне рукопись. У меня не оставалось ни мужества, ни гордости — один животный страх. Он грубо ответил, что отдавать ее не собирается. И добавил:

— Скажите спасибо, что я добрый человек. Я слышал, что вы всю жизнь прикованы к постели и поэтому из жалости

к вам сейчас же сожгу вашу мазню. А вообще-то следовало ее послать в Союз Писателей или в другое место. Благодарите судьбу, что вы парализованы, не то бы вы так легко не отделались. И не смейте нам больше звонить.

Что ж, вероятно, это был действительно добрый человек. И смелый. Ведь поступая так, он тоже ходил по краю. А говорить со мной в ином тоне он не мог — в комнате были свидетели.

О СТАЛИНЕ —

1. Академик Варга

Гуляла в те послевоенные годы история про академика Варгу — советника Сталина по экономическим вопросам.

Однажды ночью к нему пришли незваные гости и предъявили ордер на арест, подписанный самим Берией.

Известно, что Сталин любил работать по ночам. Пришедшие не доглядели, и Варга успел набрать его номер.

— Иосиф Виссарионович, меня арестовывают по приказу товарища Берии.

— Передайте трубку старшему по званию.

Варга протянул трубку: "Вас товарищ Сталин".

Старший по званию принял трубку дрожащими руками и залепетал:

— Да, товарищ Сталин... Хорошо, товарищ Сталин... Но, товарищ Сталин, что же будет со мной? Ведь Лаврентий Павлович сам...

Сталин нетерпеливо перебил:

— Передайте трубку следующему по званию.

И опять короткие фразы:

— Да, товарищ Сталин! Слушаю, товарищ Сталин! Есть, товарищ Сталин!

Закончив на этом разговор, младший по званию повесил трубку, вынул револьвер и выстрелил в своего командира.

Затем он вежливо извинился перед Варгой, и оперативники ушли, волоча за собой труп.

2. Позвоните по такому-то номеру

Мне кажется, что у Сталина было какое-то свирепое чувство юмора. Он любил забавляться трепетом своих подданных.

Писатель Леонтий Раковский, автор книги "Генералиссимус Суворов", получил письмо: "Позвоните тогда-то, по такому-то номеру".

Он счел это глупой шуткой, но, заинтригованный, все-таки решил позвонить. Телефона у него не было. В назначенное время он зашел в телефонную будку и набрал номер.

Ему сказали:

— Товарищ Раковский? Обождите, с вами будет разговаривать товарищ Сталин.

Раковский обомлел. По тону он сразу понял, что это не розыгрыш.

Ждать пришлось долго. Около будки образовалась очередь. Рассерженные люди стучали в дверь, торопили. Раковский, бледный от испуга, высунулся наружу и попросил:

— Товарищи, умоляю, потише — я говорю с товарищем Сталиным.

Эти идиотские, неправдоподобные слова вызвали взрыв хохота. В будку забарабанили сильнее.

Наконец в трубке послышался характерный, до ужаса знакомый голос:

— Товарищ Раковский? Здравствуйте. Я прочел вашу книгу. Она мне понравилась, но у меня есть кое-какие замечания. Возьмите карандаш, бумагу — я буду называть страницы.

Раковский совсем растерялся. Заикаясь от страха, он забормотал, что у него нет телефона, что он звонит по автомату и почти ничего не слышит из-за волнения и шума.

Сталин резко перебил:

— Так вы что — не можете со мной разговаривать?

И повесил трубку.

Шатаясь, хватаясь за сердце, несчастный писатель прошел через безмолвно расступившуюся очередь. Весь день он слонялся по улицам, понимая, что дома его "уже ждут". Но выхода не было, и около часа он обреченно поднялся по лестнице. Дверь открыла жена.

— Где ты пропадал? — воскликнула она. — Я уже начала беспокоиться. А ты знаешь, у меня для тебя сюрприз: нам неожиданно поставили телефон.

Утром раздался звонок:

— Товарищ Раковский? Теперь вы можете со мной разговаривать? Возьмите, пожалуйста, карандаш и бумагу.

3. Пирожки

Мой приятель, которого арестовали в сорок шестом, рассказывал:

— Со мной в камере сидел старик-грузин, измученный, всегда печальный.

Я был молод, во мне клокотала жизнь, я не мог полностью осознать ужас происшедшего.

И я утешал его:

— Не надо так горевать, отец. Все еще переменится. Мы еще выйдем на волю.

— Может быть, — вздохнул он. — Может быть, вы и выйдете. Все, кроме меня.

— Почему же?

И тут он сказал потрясающую, почти библейскую фразу:

— Я знал Ирода, когда ему было девятнадцать.

И продолжал:

— Мы были тоже молоды, нам было нечего делать и мы организовали коммунистическую ячейку.

Собирались раз в неделю у учителя — семейного человека. Рассуждали, спорили о светлом будущем, а потом жена учителя вносила блюдо поджаристых пирожков...

Один раз мы заметили, что Джугашвили все время выхо-

дит из комнаты. А когда жена открыла дверь кухни, она увидела на блюде всего один пирожок.

Учитель спросил:

— Джугашвили, как мог ты сделать это? Ведь мы все ждали...

И он ответил:

— Я хотел.

Старик опустил голову, голос его упал:

— Может быть, вы и выйдете. Но я — никогда. У него хорошая память. Он боится, что я могу рассказать кому-нибудь про пирожки.

И снова добавил свою ужасную фразу:

— Я знал Ирода, когда ему было девятнадцать.

БУМАЖКУ ПОТЕРЯЛА —

Сталин чудил как хотел, и страна послушно выполняла его капризы.

Помню борьбу со служебными опозданиями. На три минуты — выговор в приказе, на двадцать — суд и принудработы.

Случались курьезы, над которыми никто, впрочем, не смеялся. В истерической утренней спешке женщины набрасывали пальто, забыв надеть юбку, мужчины приходили без галстуков и пиджаков. Дядя Виктории Д. — однорукий герой войны, профессор университета — однажды утром в такси с трудом натягивал брюки.

Несколько месяцев подряд радио работало с трех часов дня, чтобы не мешать людям "выполнять и перевыполнять план".

Джаз упразднили после газетной кампании о "растленном влиянии Запада". Твист считался позорным, приравнивался чуть ли не к стриптизу.

В концертных залах и по радио исполнялась только музыкальная классика, в основном русская. От бесчисленных повторений просто тошнило. У меня даже было стихотворение:

”Зачем вбивать Чайковского колом?”

Борис Слуцкий в одном из своих ранних прекрасных стихотворений писал:

”Все пропаганда. Весь мир пропаганда”.

Добавлю: и ложь. Беспросветная, бессовестная ложь.

Я видел по телевизору страшное собрание. Полный зал молодежи. На трибуне — парень:

— Родине нужны рабочие. Мы окончили десятилетку и решили всем классом идти на завод.

На трибуне второй:

— Мы, комсомолцы, тоже решили на завод всем классом.

И так несколько человек — представители разных школ, один за другим.

Неужели никто из сидевших в зале не хотел получить высшего образования, не мечтал о ВУЗе? Вы как знаете, а я не верю.

Новый виток памяти.

Когда Сталину исполнилось 70 лет, ”Правда” стала ежедневно публиковать внушительный столбец — список предприятий, поздравивших великого вождя. Поскольку Иосифа Виссарионовича поздравляли все, поток приветствий был нескончаем. Сталину исполнился уже 71 год, а газета продолжала печатать поздравления к семидесятилетию.

От подобного идиотизма тупели люди. Я был знаком с инженером, который, разворачивая ”Правду”, прежде всего, прочитывал колонку целиком.

— Зачем вы это делаете? — спросил я.

— Как зачем? — удивился он. — Ищу свою организацию.

Долго же ему пришлось ждать!

И потом ладно, нашел бы случайно (через полгода там или через год) — что бы для него изменилось?

И еще одно собрание по телевизору. Из любопытства я пошел бы на любое, да вот не довелось. Правда, все шутят, что нет худа без добра, и милосердная болезнь избавила меня от многого.

Так вот — собрание. С экрана горохом сыплются слова. Они почти одинаковые, сменяются только ораторы.

Выходит девушка — самая уверенная, самая разбитная.

Она открывает рот, но осекается. Происходит что-то непонятное. Девушка беспомощно оглядывается, наклоняется, шарит руками. По залу шепот.

”Бумажку потеряла! Бумажку потеряла!”

Самое ужасное, что шепот не насмешливый, а сочувственный.

К трибуне подбегает парень. Он сразу находит на полу маленький белый листочек. Девушка облегченно выпрямляется. И с трибуны не горох, целая пулеметная очередь, почти без пауз:

”Товарищи! Комсомольцы нашего завода клянутся партии и правительству, что в канун славного пятидесятилетия великого октября, следуя героическому примеру отцов, они обязуются беззаветно трудиться на благо нашего народа и дают нерушимое обязательство — все, как один человек...”

Хватит? А то я могу цитировать долго. И клянусь вам, тут нет и тени пародии.

Но что девушка! Я видел, как награждали орденом Суслова. Брежнев зачитал приветствие. Суслов повернулся к нему и сказал: ”Дорогой Леонид Ильич!” Сам, без текста — я даже замер от восхищения.

Потом Суслов надел очки, порылся в кармане, вынул бумажку и принялся читать дальше.

В славословиях Сталину, Хрущеву (особенно под конец) и Брежневу терминология не изменялась ни на йоту.

С Брежневым вообще потеряли всякий стыд. Да и чувство юмора тоже. Культ ”Леонида” Ильича нарастал крещендо и я уже два раза слышал, как на съезде и еще где-то его, ”оговорившись”, назвали ”наш Ильич”.

А теперь выяснилось, что к тому же он и писатель. И, как отметил Борис Полевой, все литераторы должны учиться у него стилю.

Лишь один прозаик (не помню точно кто) осмелился сказать на собрании:

— Хочу покритиковать.

Все обомлели. А он продолжал:

— Да, у книги есть недостаток. Слишком уж Леонид Ильич скромн. Хотелось бы, чтобы он больше осветил свой грандиозный вклад в общенародное дело.

Совсем как в "Голом короле" у Шварца:

"Я старик грубый. Скажу прямо: умница ты, король!"

В заключение — загадка: какое сражение решило исход Великой Отечественной войны? Думаете, битва под Москвой или под Сталинградом?

Ничего подобного!

Операция под Новороссийском, в которой принимал участие молодой генерал Леонид Ильич Брежнев.

Страшно, противно, не видно конца...

А потом напишут о нас (если вообще вспомнят это ничем не интересное время):

"Так они и жили".

ПОЛНОМОЧИЯ —

Женя С., молодой поэт, писавший стихи отнюдь не комсомольского содержания, пришел ко мне как-то с красной повязкой на рукаве. Оказывается, ночью он дежурил в дружке.

На углу Невского и Литейного, в самом центре, они наткнулись на прислонившегося к стене совершенно пьяного пожилого человека.

— Придется пройти с нами!

Человек забормотал что-то несусветное, можно было разобрать только слово "полномочия".

— Что? — не поняли ребята.

— Полномочий не имеете, — отчетливо выговорил пьяный.

Ребята засмеялись.

— Имеем, имеем, — добродушно сказал Женя.

Подхватили под руки, привели в штаб дружины, пихнули на стул.

— Фамилия?

Пьяный не отвечал — он явно задремывал.

Начальник дружины встряхнул его хорошенько, пнул кулаком под ребра и стал обшаривать одежду в поисках документов.

Полез в нагрудный карман и внезапно даже в лице переменялся.

— Ребята, что мы наделали!

В руках у него была аккуратная книжечка — Депутат Верховного Совета СССР.

Испугался он ужасно.

— Как же это случилось? Вот беда!

И не приказал, попросил:

— Ребята, вы его домой отведите... тихонько, вежливо... до самой квартиры...

На обратном пути Женя не выдержал.

— Что же ты, дядя? — сказал он. — Депутат Верховного Совета, а так напиваешься.

И вдруг пьяный заплакал.

— Деточка!.. Какой я депутат? Я — говно. Я токарь хороший... у станка стоял... Все уважали... А тут...

И, махнув рукой, повторил:

— Какой я депутат? Я — говно!

ПОЛКОВНИК НУЖИН —

До Лазаря Абрамовича в маленькой двухкомнатной квартире, в которой мы занимали одну комнату, соседствовал с нами полковник в отставке по фамилии Нужин — широкоплечий человек с тупым рябоватым лицом.

Разговаривать с ним было противно, но интересно.

Он хвастался:

— Я был командир строгий — у меня два солдата застрелились.

И охотно рассказывал о службе на Дальнем Востоке:

— Ведь мы Японию как обманули? Войну начали по местному времени, а объявили по московскому.

Очень он гордился этой подлостью!

Однажды он постучался в мою дверь весело-возбужденный:

— А ко мне на день рождения генерал придет.

— Ваш друг?

Он посмотрел на меня, как на идиота.

— Какой друг?.. Генерал... Я его подчиненный.

И заторопился на кухню — обрадовать жену.

Вероятно, это был лучший день его жизни.

”А соседи говорят:

Ваши спички не горят,

Ваша лампочка потухла,

Ваша курица протухла,

Ваша верная жена

Абсолютно неверна.

Я соседям отвечаю:

Мол, не лучше ль выпить чаю?

Я, мол, старый их сосед,

У меня претензий нет.

Только детям их поганым

Стыдно шарить по карманам.

А за окнами Нева,

На Неву летит листва.

Осень, шпиль, решетка сада...

И не ты ль, моя отрада,

Золотую эту грусть

С детства знаешь наизусть?”

ЧЕХОСЛОВАКИЯ —

Утром позвонил Володя Фрумкин:

— Лева, ты уже вывесил черный флаг?

— А что?

— Сегодня наши войска вступили в Чехословакию.

За несколько месяцев до этого Н. приводила к нам двух престестных чехов — Зденека и Гелену.

Перебивая друг друга, они восторженно рассказывали о всенародном ликовании, об отмене цензуры, о равноправии, о том, как на каком-то собрании люди запросто подходили к Дубчеку, беседовали с ним, а кто-то от полноты чувств даже взял его за пуговицу.

Мы слушали их с грустью.

Лиля спросила.

— Чему вы радуетесь? Неужели вы думаете, что мы это допустим?

Они поглядели на нее с огорчением, дивясь бестактной нелепости вопроса.

И вот...

Это была блестящая операция, особенно воздушная карусель над Прагой.

Солдатам отдали приказ: выстрел — очередь, на очередь — залп.

Девятнадцатилетние парни шумно радовались походу, но когда раздали индивидуальные пакеты, у многих на лбу вступили капли пота.

Однако, как известно, все обошлось.

Наши войска молниеносно заняли главный объект — здание ЦК коммунистической партии. Правительство арестовали и увезли в Москву.

Я хорошо помню эти дни — ледяной ветер отчаяния и стыда. За себя и за чехов. Прости меня, Чехия, и за чехов.

Что за манера пускать к себе оккупантов — то немцев, то нас?

Ведь у них была регулярная армия! Ну, конечно, мы бы

их разбили, но день-два они бы сражались, и весь мир *явно, бесспорно* видел бы, что это оккупация.

Цветаева писала:

”Но пока есть во рту слюна,
Вся страна вооружена”.

Я не мог с ней согласиться.

Что за оружие слюна? Ничего, утремся.

Дубчека поставили лицом к стене, руки на затылок, а он согласился после этого снова возглавить ЦК. Как можно идти на такое?

Так думал я тогда и тут же грубо себя одергивал:

— Заткнись! Какое право имеешь ты, оккупант, рассуждать, как должен был бы вести себя оккупированный тобой народ?

Да, тобой, потому что ты частица своего народа, выступающего в роли жандарма, душителя и палача.

А что сделал ты, ты сам? Повозмущался в узкой безопасной кампании? И все?

Ах, ты еще написал стихи? ”Не вынесла душа поэта”? Ну что ж, приведи их, если хочешь, в свое утешение, побарахтайся, высунь хоть ненадолго голову из грязи:

Ты теперь товарищ мой и брат,
Гитлеровской армии солдат.
Я напьюсь воды из синей Влтавы,
Молодой и сильный как гроза,
И девчонка, родом из Остравы,
Плюнет мне в бесстыжие глаза.
Я увижу площадь городскую
В острых шпилях, в острой тишине,
И рука словака нарисует
Свастику на танковой броне.
Я войду в собор Святого Витта,
В полутьме пристроить пулемет,
А когда я выйду деловито,
У порога встречу весь народ.

И тогда я автомат тяжелый
Вскину по приказу из Кремля...
И поднимут кулаки костелы,
И завоюет чешская земля...
Ты теперь товарищ мой и брат,
Гитлеровской армии солдат!

А сейчас вспомни, пожалуйста, как ты записывал это стихотворение.

Ты теперь товарищ мой и брат,
Ленинградской армии комбат.
Я напьюсь воды из синей речки,
Молодой и сильный как гроза,
И девчонка, родом из местечка,
Глянет мне в красивые глаза.

Вот так я его записывал — из осторожности или из трусости, не все ли равно?

Ведь я не мог себе представить, шифруя свой крамольный стих, вместо того, чтобы пустить его по рукам, ни живого костра Яна Палаха, ни Хартии 77, ни патетического выхода на Красную площадь.

Я уже думал, но еще не смел, потому что не стал еще самим собой. И не был еще самим собой год назад, когда начинал свою книгу.

Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут
Меня, и жизни ход сопровождает их.

Сегодня я пишу не стихи, а прозу. А проза пишет меня.

Мы —

Господи, да что же это такое! Почему я все время говорю "мы"? "Мы вступили в Чехословакию", "Мы заточаем людей в психбольницы..."

Что общего у меня с этими выродками, сидящими наверху?

Почему горит во мне, не переставая, чувство вины и стыда?

Вчера Лиля ездила с Наташей в Тарту. Вернулась огорченная.

Даже она, даже моя умная Лиля не понимает.

— За что же им меня-то ненавидеть? Я же их не оккупировала?

Нет, оккупировала!

Если бы они знали Лилю, они бы, может быть, и полюбили ее. Любят же они Лотмана.

А так она — русская, оккупантка, нагло разъезжающая на машине по их земле.

И если бы где-нибудь в оккупированной стране выстрел сразил моего друга или жену, я бы и в страшном горе своем осознавал, что это пуля справедливая.

ЗАЧЕМ ТАКОЙ ПЛАКАТ ? —

На всю жизнь запомнилась мне поездка из яркого богатого Крыма в Ленинград накануне пятидесятилетия.

Вся страна была затянута кумачом. (Трудно даже представить: какие деньги ушли на это!) На страшных черных избах-развалюхах почти совсем закрывая их, алели полосы материи с лозунгом: "Вперед, к победе коммунизма!" И мы мчались на поезде вперед, к победе коммунизма, а в мозгу крутились строчки Блока:

"Зачем такой плакат,
Такой огромный лоскут?
Сколько бы вышло портянок для ребят —
А каждый раздет, разут".

Но эти строчки, мысли и вообще все на свете перекрывало радио. Оно гремело в каждом купе. Передавали отчетный доклад.

Свой репродуктор нам удалось как-то испортить. Но в коридоре голос орал, как резаный.

А на полке, напротив нас, сидел огромный добродушный украинец. Он боялся, что мне скучно, и занимал меня бесконечными, пустыми разговорами. Когда же темы иссякали, он пел мне одну за другой советские песни.

И, теряя свою иронию, в мозгу, на полном серьезе, опять возникали строчки Блока:

”Ох, матушка заступница!
Ох, большевики загонят в гроб!”

ЛЮБИМЫЙ ЕВРЕЙ КОРОЛЯ —

Как-то Ося Домнич привел ко мне своего родственника — директора большого завода. Это был одетый с иголки интеллигент лет сорока пяти с выразительным энергичным лицом. Я еще не встречался с советским работником такого ранга.

Он произносил ”товарищ Романов”, ”товарищ Демичев” не в шутку, а совершенно серьезно. Это было смешно и дико. Но в смысле интеллекта и остального словаря все обстояло благополучно.

Между нами почти сразу завязалась ожесточенная политическая баталия.

Директор душил меня эрудицией, не переставая бил колючим градом цифр. Я пробовал наступать, но мне казалось, что все мои удары проходят мимо.

Я говорил о евреях. Он соглашался, но спрашивал, почему этот мелкий в общем масштабе вопрос я ставлю во главу угла?

Я напоминал о миллионных репрессиях, он возражал, что это было давно.

Я твердил о свободе мысли, о благородном движении диссидентов, а он, опять же соглашаясь, уточнял: сколько их, диссидентов, какой процент?

И стыдил меня:

— Такая война! Половина городов в развалинах, голод,

отсутствие техники, плач о погибших. Разве вы слепой? Разве вы не понимаете, чего мы достигли?

Я вставил в паузу яростную реплику о спецпсихбольницах, но это его еще больше распалило:

— Да, у каждой страны есть свои недостатки, имеются они и у нас. С евреями — плохо, с диссидентами — ужасно, психбольницы — позор. Но надо же дифференцировать! В сопоставлении со всеми этими теневыми подробностями, наши успехи несоизмеримы. Вы что — статистики не видели?

И снова, становясь предельно конкретным, вколачивал в меня цифры, ударяя голосом, как будто пристукивая молотком по каждой шляпке.

Я чувствовал себя бессильным. В памяти всплыли строчки:

”А для низкой жизни были числа,
Как домашний подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умною число передает”.

Против чисел я боролся словами.

”Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог.
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что слово — это Бог”.

Мы забыли, что слово — это Бог. Слова, мысли, эмоции отступали перед цифрами. Магия чисел торжествовала.

Но, пасуя, я все время ощущал его чудовищную неправоту. Как я жалел, что рядом нет Сережи или Бори, которые могли бы сразаться с ним его оружием.

Я честно сказал ему об этом. И привел пример, вызвавший ироническую улыбку.

Однажды Кювье заспорил с Ламарком по какому-то научному поводу, кажется об эволюции. Спор был публичным.

Кювье — человек огромного ума и ораторского блеска — разнес противника в клочья. Тот удалился посрамленный.

Кювье наградили ликующим воплем. А через несколько лет выяснилось, что прав Ламарк.

Не хочу кривить душой, я сознавал всю беспомощность этой притчи.

И вдруг директор сам поставил себе подножку.

Снисходительно посчитав спор окончанным, он перевел разговор на другое.

Сейчас он едет к себе в Петрозаводск. А до этого был на совещании в ЦК, где ему предложили автомобильный гигант в Набережных Челнах.

— И знаешь, Ося, — сказал он племяннику, — у меня все налажено, все идет как по маслу, и я рискнул отказаться. Я думал, Суслов взорвется, а он только рассмеялся и потрепал меня по плечу.

Директор форсил. Он хотел произвести на нас впечатление. Все-таки вначале я его переоценил.

Гипноз лопнул. Цифровая плотина рухнула. Цифры, подпрыгивая, катились во все стороны, теряя свое значение.

Я презирал этого человека. Я сказал ему:

— А вам не кажется, что вы любимый еврей короля?

Я бил ниже пояса я не жалел об этом:

— Вы отступник. Вы постарались забыть о своей национальности. Сколько у вас комнат? Четыре? А закрытый распределитель? Не брезгуете? Интересно, как вы будете рассуждать, если по капризу того же Суслова полетите вверх тормашками?

Я хамил. Я нарушал законы гостеприимства. Я мстил за недавнее бессилие:

— Все ваши цифры лживые, даже те, которые правдивы. Потому что в сумме они поддерживают ложь. Они такие же лживые, как сообщения центрального статистического бюро. И не нужно тут ни Сережи, ни Бори. Все, что вы говорили, обыкновенная демагогия, только цифровая. Но от этого она еще гаже. Я гуманитар, но я тоже могу привести пару цифр. Каждый год мы импортируем из Америки миллионы тонн зерна. Сколько процентов населения занято в американском

сельском хозяйстве? Пять? А у нас? Шестьдесят шесть? Что же вы молчите?

По-моему, я просто орал. Лиля встала. У Оси были испуганные и возмущенные глаза. Директор вспомнил, что ему надо побриться перед отъездом.

Но у двери он вдруг обернулся:

— Поймите, я не могу думать по-другому, иначе как же мне жить и работать?

Помолчал и опять повторил:

— Я не могу думать по-другому.

Но тут уж я ему был помощник!

СМОТРИТЕ... СМОТРИТЕ... —

В Советском Союзе событие — приехал Никсон. Побывает он, разумеется, и в Ленинграде.

Идут спешные приготовления. Невский заново заасфальтировали. По пути следования знатного американца жителям запрещено подходить к окнам. Милиция заколачивает балконные двери. У нас напротив садик — видно как между деревьями протягивают канаты, опутывают стволы, чтобы, Боже упаси, кто-нибудь не свернул на улицу по дорожке.

Главный режиссер БДТ Товстоногов находился в это время в Москве. К нему постучали. На пороге стоял человек, предъявивший красную книжечку.

— Извините, Георгий Александрович. Из гостиницы выходить нельзя. К окнам — тоже нельзя. Сами понимаете — Никсон. С вашего разрешения, я посижу у вас полчасика.

Делать было нечего. Товстоногов завалился на диван с книжкой. Непрошенный гость пристроился на краешек стула и развернул газету. Они читали в полном молчании.

И вдруг агент закричал:

— Смотрите... Смотрите... Смотрите... Едет... Едет...

И бросился к окну. Товстоногов за ним.

Так они вместе и посмотрели.

РОМАНОВ И ПУЛЕМЕТЧИЦА —

Ленинградские пионеры — красные следопыты — отыскали всеми забытую героиню Великой Отечественной войны, бывшую пулеметчицу, жившую в трудных условиях — в коммуналке.

Город благодарно отнесся к находке, и героине дали однокомнатную квартиру.

Но старуха была больна, беспомощна, и к ней из провинции приехал племянник.

Начались хлопоты о прописке.

В райисполкоме отказали, в горисполкоме тоже. Тогда, пользуясь извлеченными на свет заслугами, она неожиданно легко добилась приема у Романова.

В Смольном ее встретили очень вежливо, но предупредили:

— Прасковья Никитична, постарайтесь изложить свое дело как можно короче. Григорий Васильевич человек занятой. В вашем распоряжении три минуты.

— А чего тут разговаривать? Я больна, ухаживать некому — всего и делов.

Романов сидел за огромным столом, на котором стояли несколько телефонов и изумительный чернильный прибор, то ли подаренный Брежневым, то ли украденный в Эрмитаже.

Бывшая пулеметчица управилась со своей просьбой за полторы минуты.

Романов сказал:

— Не разрешаю... Живите одна...

— Но, Григорий Васильевич, я больна и мне...

Романов сказал:

— Прием окончен.

— Но, Григорий Васильевич...

Романов повторил:

— Прием окончен.

Старуха не обладала выдержкой да и терять ей было в общем-то нечего.

— Ах ты тупорылая сволочь! — вспыхнула она. — Да ты еще сопли вытирал, когда мы за вас кровь проливали.

Романов протянул руку к звонку.

Как из-под земли, выросли джины:

— Прасковья Никитична, успокойтесь, разве вам можно так волноваться?

Ласково уговаривая, ее свели вниз по лестнице, где у подъезда ждала роскошная черная "Волга".

Старуху так же вежливо усадили в машину и отвезли... в психиатрическую лечебницу.

Впрочем, кажется, недели через три выпустили.

ХОТЬ В ЛИЦО ВСЕХ ЗНАЛИ! —

Спросили бы вы меня или любого советского человека несколько месяцев назад: кто такой Кулаков?

Ну член Политбюро, ну один из них, ну портрет среди других вождей вывешивают на Дворцовой на время демонстрации...

А чего еще?

При Сталине хоть в лицо всех знали — Молотова, Калинина, Маленкова.

А теперь — никого. Косыгина по старой памяти да, пожалуй, раньше Подгорного, потому что лысый и похож на Никиту.

А Кулаков... Умер и вдруг узнаем по западному радио и соображаем по неожиданной пышности похорон, что ведь действительно был наверное вторым человеком в государстве и намечался, как преемник Брежнева.

На кого угодно думали — на Кириленко, на нашего мате-рого ленинградского волка Романова (все-таки помоложе!), но чтобы Кулаков... и в голову никому не приходило.

Это вообще характерно для нашей страны. Вот сняли, например, Подгорного. Почему? За что? Да какая разница? Президент страны? Подумаешь! Мы и не такое видали. Мы помним, как большая часть Политбюро за одну ночь превра-

тилась в антипартийную группу. А тут — один человек. Сняли, исчез — и ладушки!

”Кто смел, тот и съел”.

НИКАКОГО ПРОДЫХУ —

Иногда ничего: все-таки стерпелись.

А иногда от радио и телевидения, от ядовитого газетного тумана — невыносимо, никакого продыху.

Это даже смешно (просто мистика какая-то!), но когда бы ты ни ткнул в штепсель вилку репродуктора, первое услышанное слово — либо партия, либо народ, либо коммунизм.

А газеты...

У меня есть друг, умный человек, серьезный ученый, химик — он вообще не читает газет.

Но это ему помогает мало.

Недавно получила государственную премию телевизионная программа ”Время”. Я изредка смотрю этот получасовой спектакль. Композиция его нерушима.

Сперва идут огромные, колоссальные, величественные успехи Советского Союза: ударные вахты, вести с полей и т. п.

Потом чуть скромнее, но тоже напыщенно, — достижения социалистических стран.

”В Плоешти (Румыния) выпуск нефтехимических продуктов увеличился в семьдесят раз”. И бегут, бегут, постукивая по рельсам, нескончаемые цистерны.

”Музыкальное издательство ”Супрафон” (Прага) выпустило впервые запись оратории чехословацкого композитора Шульгофа ”Коммунистический манифест”. И тут же фрагмент концерта. И каждому видно, как стараются музыканты, понимающие всю значительность исполняемого произведения.

”В Болгарии широко развернулось соревнование за завершение годовых планов к седьмому ноября и за досроч-

ное выполнение заказов Советского Союза”. У станка симпатичный молодой болгарин. Ему некогда. Но он все же успевает повернуть лицо и радостно — во весь экран — улыбнуться нам, советским людям.

И куда бежать от этой улыбки?

Но передача еще не окончена. Сейчас нам покажут антиправительственную демонстрацию в Вашингтоне, наводнение во Франции, пожар в Англии, землетрясение в Японии...

Куда бежать? Куда деваться от постоянной подтасовки, от наглой трескотни, от неумного хвастовства? Хоть ненадолго, хоть на отпуск, хоть на несколько недель.

Можно вырваться из Ленинграда на Сашкиной машине — в глушь, в псковскую область, подальше от железной дороги, в никому не известную деревню Усохи или в такую же Богом забытую деревню Рудиновку.

Хочешь? Давай позвоним ему... не отказывайся... Я тебя очень прошу!

Оставим город стыдный,
Уедем наконец
Туда, в тот край завидный,
Где небо, как ларец.
И отомкнем со звоном
Мы крышку у ларца.
А в нем — лесам зеленым
Ни края, ни конца.
Дремучие крылечки,
Росистая межа...
Там ждут меня две речки —
ВЕЛИКАЯ И ЛЖА.

ПОДСЛУШИВАНИЕ —

А, впрочем, не надо звонить. Все равно никуда не денешься "от их всевидящего глаза, от их всеслышающих ушей".

Мы-то хорошо это знаем, а вот иностранцы порой этому не верят, но почти всегда убеждаются.

Польский режиссер Аксер, сидя в своем номере в "Европейской", сказал приятелю:

— Безобразие! Такая гостиница, а окна не мыли уже целую вечность.

Они сидели вдвоем, но не прошло и получаса, как в дверь постучали. Вошла уборщица с ведром и тряпкой.

— Разрешите, я у вас окна помою.

ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА —

Иногда в незаконченности есть какая-то удивительная законченность.

Я очень люблю стихи маленьких детей.

”Белка по лесу гуляет,
Шишки ежику дает”.

Такие стихи писала и четырехлетняя Даша.

Отец спросил ее:

— Ну, Дашенька, ты еще сочиняешь?

— Да.

— Тогда почитай.

Даша подумала и произнесла:

— Уточка вышла из воды и отряхнулась.

— А дальше?

— Зачем дальше? Это все стихотворение.

И я ее понимаю. Это было действительно все — остальное дополнило воображение.

А теперь вроде бы о другом.

Однажды мои друзья Сережа и Наташа случайно оказались в Москве.

Сережа сказал:

— Сейчас я познакомлю тебя с замечательной женщиной — Еленой Сергеевной Булгаковой.

Они доехали на троллейбусе до Никитских ворот и пошли по Гоголевскому бульвару.

Наташа навсегда запомнила памятник Гоголю, неболь-

шой светло-серый дом и буквы "п-р-о-к-а-т", набитые справа над окнами, между первым и вторым этажом.

Внизу почему-то были открыты обе половинки двери.

Сережа и Наташа поднялись по лестнице. Наташа потом рассказывала, что она очень волновалась, во всех подробностях представляя себе встречу.

И вдруг они обомлели — на площадке стояла прислоненная к стене крышка гроба.

Несколько секунд они молчали, потрясенные.

Наконец Сережа пробормотал:

— Но ведь здесь две квартиры... Почему же обязательно к ней?

Они позвонили. Дверь открыл незнакомый человек.

Сережа спросил:

— Можно видеть Елену Сергеевну?

Человек ответил: "Можно". И посторонился.

Они прошли в комнату.

В гробу, головой к окну, лежала Елена Сергеевна Булгакова.

И больше я ничего не прибавлю.

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА —

К портрету Анны Андреевны Ахматовой приступаю с робостью.

Имя ее я услышал в шестнадцатилетнем возрасте от моей московской тетушки Фани Гинзбург. Она сказала, что это дореволюционная поэтесса с маленьким, но очень красивым и искренним голосом.

Обычно так хвалят певца.

Через пару недель я держал в руках "Чётки", но по-прежнему был уверен (до самого конца войны), что автора уже давно нет в живых.

Первую нашу встречу помню смутно. По-моему, я позвонил ей домой, и Ахматова пришла ко мне по зимнему снегу

пешком через весь город. "Не люблю трамваев" — сказала она, здороваясь.

Это было для нее счастливое время. Ее стали понемножку печатать, и она как бы возникла из небытия.

Недаром муза в "Поэме без героя", обращаясь к своей хозяйке, восклицает:

„А твоей двусмысленной славе,
Двадцать лет лежавшей в канаве,
Я еще не так послужу.
Мы с тобой еще попируем,
И я царским моим поцелую
Злую полночь твою награжу”.

Кажется тогда я прочитал Анне Андреевне всего одно стихотворение, как считал — лучшее. Особенно нравилось мне четверостишие:

Да, любимая будет довольна
И придет в балаганчик опять.
Что ж, я шут прирожденный! Но больно
Мне стихами тебя забавлять.

Ахматова улыбнулась: "Такую вещь мог бы написать Блок".

А я обрадовался и возгордился, не понимая, что она деликатно упрекнула меня в подражательности.

Говорили мы, очевидно, о поэзии. Память сберегла лишь одну, поразившую меня мысль:

"Плохие ботинки все-таки кое-как еще можно надеть. Но кому нужны плохие стихи?"

День этот почему-то быстро забылся, хотя я прочитал почти все, что она написала, очень ее полюбил, и у меня даже хранился первый вариант "Решки" с авторскими пометками на полях.

Но до пира, до царского поцелуя музы было, к сожалению, далеко. В газетах зачернело постановление ЦК о журналах "Звезда" и "Ленинград".

Писателей собрали в большом зале Смольного. Ахматова

и Зощенко приглашены не были. Председательствовал Попков.

Мне подробно рассказывали про этот шабаш. Сперва на сцену вышли эмведешники. Они расселись вдоль всей стены. Некоторые спустились в зал и встали у дверей, чтобы никто не смел покинуть помещение.

Затем появился Жданов. Он говорил без бумажки.

Ахматову он определил грубо и безапелляционно: "Взбесившаяся барынька, мечущаяся между будуаром и моленной".

До сих пор с ленинградского университета не смыто позорное пятно — "Университет имени Жданова". И до сих пор, думая о взаимоотношениях партии и Ахматовой, я вспоминаю строку:

"В моей крови ее неуголненный рот".

После доклада были выступления писателей — Григорьева, Федорова, секретаря парторганизации Мирошниченко.

Николай Никитин так разволновался, что начал: "Выступая с этой эстрады..." Из зала несколько голосов поправили: "С трибуны".

Юрий Герман, недавно хваливший Зощенко в печати, во время покаянной речи расплакался.

Подвиг духа совершил Владимир Николаевич Орлов.

В 1946 году, вопреки постановлению, в Ленинграде опубликовали однотомник Ахматовой.

Книга в продажу не поступила. Тираж уничтожили, кроме двухсот экземпляров, посланных зачем-то в Москву.

Теперь Владимиру Николаевичу предстояло расплатиться сразу за три греха: он был составителем, редактором и автором предисловия.

Но перед лицом этого грозного собрания он не растерялся. Интеллигентный, породистый, еще молодой, он сказал отчетливо и бесстрашно: "Я редактировал стихи Анны Андреевны и наравне с ней отвечаю за каждую строчку".

Он шел по проходу к своему месту и все глядели на него, как на обреченного.

Когда выступления закончились, поставили вопрос об исключении Ахматовой и Зощенко из Союза Писателей.

Женщина, сидевшая позади Евгения Шварца, рассказывала мне, что он секунду поколебался, потом по затылку его потекли струйки пота и он медленно поднял руку.

Не хочу говорить о травле, последовавшей за исключением: это у нас происходит всегда одинаково. Запомнилось только выступление по радио: "Чтобы не быть Зощенко на транспорте, надо..." и т. д.

В связи с тем, что на Западе возникло много слухов, была организована встреча Ахматовой и Зощенко с английскими студентами.

Студенты задали чудовищный по провокационности и недомыслию вопрос: "Как вы сами оцениваете постановление ЦК?"

Ахматова ответила, что к постановлению она отнеслась как советский человек, критику находит правильной и постарается не повторять прошлых ошибок.

А Зощенко не выдержал глума.

Он сказал: "С постановлением я согласен. Но товарищ Жданов назвал меня хулиганом — это неправда. И еще он назвал меня трусом. Какой же я трус, если я имею два Георгия за мировую войну и орден Боевого Красного Знамени за гражданскую?"

Не дрогнув, слово в слово, он повторил свое заявление на состоявшемся специально по этому поводу секретариате.

Травля усилилась.

На нервной почве у Зощенко начались спазмы пищевода. Умер он в 1958 году фактически от голода — пища не проходила.

Судьбы двух таких непохожих писателей переплелись и бок о бок вошли в печальную историю советской литературы.

Но хватит об этом. Лучше я расскажу про свою вторую встречу с Ахматовой.

К старухе, горестной и умной,
Блистательной, полубезумной,

Мы едем в гости сквозь содом
И пиво улицы вокзальной,
И это вовсе нереально,
Что есть она и есть тот дом.
Она торжественно и трудно,
Как бури видевшее судно
К нам выплывала, как фрегат —
Быть может, чуть и старомодный,
Но затмевавший что угодно:
И день, и ночь, и нас, и сад.
Она ко мне благоволила,
Она стихи мои хвалила...
И если двести лет прожить,
Счастливо или несчастливо,
Сотрется все — лишь это диво
Мне будет голову кружить.
И было так невероятно,
Когда мы ехали обратно,
Казалось выдумкой такой,
Что за углом, за полквартала,
Она бредет домой устало
И сосны трогает рукой.

Стихотворение это написано гораздо позже, а тогда, второго сентября 1965 года все тот же Миша П. вез нас из Зеленогорска в Комарово по ее приглашению, и в голове, как заклинание, крутились совсем другие строки — не торжественные, а ликующие:

Вдоль моря, вдоль моря, к Ахматовской
даче...
Дорога витками ведет на Парнас,
Дома и деревья желают удачи
И небо стихи повторяет для нас.

Старая заслуженная машина, доставившая мне уже столько радости, сворачивает с асфальта, подпрыгивает три раза на ухабах и останавливается.

Миша и Толя Найман достают из багажника инвалидную коляску, переносят меня и подвозят к веранде.

Ступеньки крутые, перил нет. Как же она спустится? Опираясь на чью-нибудь руку или на палку?

Но Ахматова не показывает нам своей немощи.

Сбоку есть еще один выход, о котором мы не подозреваем. И она появляется неожиданно, из-за дома. Она приближается и по мере приближения вырастает — становится все стройнее и выше.

Это, конечно, театр — но какой!

Нам довелось потом жить в ее доме. Лиля много раз проверяла "Ахматовскую" тропинку. Мы думали, там подъем — ничего подобного, совершенно ровно. Эффект остался неразгаданным.

И вот она сидит рядом, в двух измерениях — реальном и нереальном. Потому что поверить в это невозможно.

Я люблю ее молодые портреты, но сейчас она еще лучше — крупная, с белой головой, необыкновенно красивая.

Она приветлива, но немногословна. С ней непросто. Если возникает пауза, она не помогает, а выдерживает ее, пока не заговорит собеседник.

У нее мраморные, очень отекавшие ноги старой женщины. На одну сел комар, и когда он начал наливаться кровью, Лилия не выдержала:

— Анна Андреевна, сгоните!

Она посмотрела и усмехнулась:

— Что вы, деточка, я их давно уже не чувствую.

Мы спросили об Италии и это ее развеселило:

— Подумайте, вручают диплом и кладут передо мной премию — не хрустящие банкноты, а толстую пачку грязных бумажек. Но это — мильён.

Она так и выговорила: не миллион, а мильён.

И добавила: "Ох уж эти итальяшки!"

В ее словах было не пренебрежение, а ласковая снисходительность русской дворянки.

Я терпеливо дождался просьбы и прочитал стихи — немного, два-три, чтобы не утомить. Было страшно, но легко.

Иногда читаешь и с отчаянием чувствуешь — нет контакта. А тут — полная духовная связь, понимание каждого оттенка.

В окно влетают с гулом поезда,
Ты спишь — тебе уютно в этом гуле.
Твоя рука на низкий подоконник
Легла, как пятистишье. За окном
Высокие, ученые деревья.
Смешно! Они по-фински и по-русски
Умеют говорить. А по-арабски?
Конечно, да. Ведь там, на чердаке,
Две ласточки пристроились. Они
Сюда являются уже четвертый год,
И каждый раз — представьте — из Египта.
Счастливые... Но не счастливей нас!
Усталая моя, ты — мой Египет:
И зной, и страсть... Поспи еще немного.
В окно влетают с гулом поезда.
И жаркая, на солнечном пятне,
Твоя рука лежит, как пятистишье.

Дослушав, она кивнула:

— Вы вернули слову "Египет" его поэтический смысл.
Похоже, она меня похвалила. А впрочем:

"От других мне хвала, что зола,
От тебя и хула — похвала".

Закончил я стихотворением "Ива". Я читал, уставившись в просвет между Ахматовой и Найманом, но каким-то боковым зрением увидел: после строки "Стыдись, чудак — седая голова" Анна Андреевна быстро, очень по-женски, взглянула на мои волосы.

И тут же опустила глаза.

— Сейчас все пишут хорошо, — вздохнула она, и трудно было понять, есть ли в ее реплике ирония.

Я спросил о молодых. Она ответила:

— Евтушенко и Вознесенский великолепные, замечательные... (задумалась и подобрала слово) — эстрадники. Ни

Гумилев, ни Ходасевич ни за что не могли бы собрать такой аудитории. Только я не понимаю, при чем тут поэзия.

И об Ахмадулиной:

— На эту лошадку я ставила, но она не пришла.

К Ахматовой мы приехали на редкость удачно. Она была в хорошем настроении. Совсем недавно в магазинах появился и был мгновенно раскуплен "Бег времени" с "Поэмой без героя".

— Вот только "Решку" не пропустили.

Сколько раз Анну Андреевну сбивали с ног, замалчивали, шельмовали — она всегда поднималась.

Поднялась и теперь. Но стихи писала редко.

 "Что мне делать с такой обузой?
 Говорят: называют музой,
 Говорят: она на лугу,
 Говорят: Божественный лепет,
 Жестче, чем лихорадка, оттрепет
 И опять весь год ни гу-гу".

Хотелось, чтобы она прочитала свое. Хотелось сидеть и сидеть. Но было неудобно, и мы стали прощаться.

Пока меня пересаживали в машину, она глядела нам вслед с суровой, не обижающей жалостью. Так, вероятно, глядела бы простая женщина, крестьянка.

На следующий день она прислала мне свою фотографию двадцать четвертого года с надписью: "Льву Друскину за стихи".

И передала на словах: "Это год, когда меня впервые перестали печатать".

Поездка к Ахматовой — одно из самых сильных впечатлений моей жизни. Воздаяние судьбы за многое, чего я лишен.

А потом — похороны.

Никто из моих знакомых не попал в Никольский собор на отпевание. Кажется, там было скорбно и прекрасно.

Лиля поехала в Дом Писателя на гражданскую панихиду.

На улице Воинова густела толпа и сновали милиционеры. У входа в дом топтался обиженный Николай Браун. Он показывал писательский билет, говорил, что он член правления, но его уже не пускали.

Лиле повезло. Подошел какой-то милицейский чин, ему отперли дверь, и Лиля проскользнула перед ним.

Она поднялась по лестнице и оставила пальто в секретариате.

Родственники Ахматовой просили, чтобы панихиду устроили в главном зале — кресла можно было вынести. Но администрация отказала.

Гроб стоял в небольшой круглой гостиной. Люди набились так плотно, что казалось — все, протиснуться туда невозможно.

Но пронесли огромный венок и, прижавшись к нему, Лиля пробралась к самому гробу. Она так и простояла всю панихиду в венке от Шостаковича.

Горели юпитеры, шла съемка. Из главного зала негромко доносились звуки рояля, за которым сидел Борис Тищенко. Слева Лиля видела лицо Бродского с красными от слез глазами. Справа плакал и сморкался Лев Гумилев.

На подоконнике, подняв колени к подбородку, пригорюнилась Лена Шварц. Где-то у дверей жена Толи Наймана Эра Коробова громко и нелепо сказала:

— Пропустите товарища Наймана.

Я называю имена, может быть, для читателя иногда ничего не значащие, потому что это история и надо пытаться сохранить малейшие крупинки.

Началась панихида.

Говорила шатающаяся от горя Ольга Берггольц, преданно помогавшая Анне Андреевне в годы травли.

Говорили академик Алексеев и поэт Арсений Тарковский — последняя любовь Цветаевой.

Майя Борисова читала стихи Ахматовой "Когда человек умирает, изменяются его портреты".

В комнате почти не было подонков.

Наконец, дождался своей очереди и секретарь ленинградского отделения Михаил Дудин. Он держал в руках отпечатанный на машинке текст. Лиля ясно разглядела, что это — копия. Первый экземпляр, очевидно, пошел в горком на утверждение.

В скорбной тишине дико и нагло звучали казенные слова.

Потом Дудин опустил руку с текстом и произнес:

— Считаю панихиду закрытой.

Лиля поднялась на третий этаж за пальто. Третий этаж — разве он так далек от второго?

Атмосфера в секретариате была нахально-веселой: словно мешок с плеч сбросили. Многолетний оргсекретарь Союза Сергеев кричал по телефону о каких-то пустяках, абсолютно не имеющих отношения к похоронам. Слышался смех.

Лиля спрашивала себя: что они тут, с ума посходили?

— Ну и веселье! — не стерпела она. Сергеев ответил:

— Это для вас похороны в новинку. А у нас каждый день помирают. Если всякий раз расстраиваться, работать будет некому.

Секретариат работал.

Никто не думал о том, что происходит на втором этаже. Хоронили последнего великого русского поэта, а Союзу Писателей было все равно.

И Лиля вспомнила: совсем еще недавно, несколько месяцев назад, она случайно услышала, как Прокофьев кричал по этому же телефону:

— Анна Андреевна, не надо чего подсобить?

Теперь они, действительно, могли ей подсобить — предстояло отвезти ее на кладбище.

Автобус плыл и все на свете плыло,
И видел я, к стеклу прижавшись лбом,
Как жизнь ее из ледяной могилы
Восходит ослепительным столбом.
Дорога шла, сознание теряя,
Прощалось море, плакала Нева...

И я заплакал тоже, повторяя
Ее стихов бессмертные слова.

Я, конечно, не был в автобусе. Я лежал на своей кровати, раскрывал наугад "Бег времени" и без конца перечитывал бессмертные слова ее удивительных стихов:

"Но я предупреждаю вас,
Что я живу в последний раз.
Ни ласточкой, ни кленом,
Ни тростником и ни звездой,
Ни родниковой водой,
Ни колокольным звоном —
Не буду я людей смущать
И сны чужие навещать
Неутоленным стоном".

Ночью на киностудии по просьбе Баталова сколотили деревянный крест. Простым карандашом на нем написали "Анна Ахматова". Надпись эта не стиралась долго.

Будке (так Ахматова называла свою дачу) сразу не повезло — ее приказали перекрасить. Кара и Гитович умоляли директора Литфонда оставить все по-прежнему — для паломников и почитателей. Но директор сказал: "Нельзя!" — и зеленый цвет сменили на коричневый.

Вещи Анны Ахматовой были беспорядочно свалены на веранде — частью их вывезли, частью разворовали.

Сперва поговаривали, что организуется музей, но власти запретили и дача пошла в расход: ее стали сдавать в аренду.

Жили на ней и мы.

Ахматова не сдержала слова. Она навещала наши сны. Странно и неловко было нам поначалу в ее доме.

Я еще не привык, я смущен,
Будто впрямь совершаю кощунство
Тем, что в комнате этой живу,
Раскрываю окно по-хозяйски

И несу на веранду цветы
В знаменитой надтреснутой вазе.
Этот старенький стол под сосной...
Не моим бы лежать там тетрадам!
Не мои, не мои, не мои
Эти стены, и окна, и двери.
Лучше б мне, как два года назад,
Робким гостем стоять на пороге,
Острым локтем в портфеле зажав,
Ненавистную милую папку.
Я сажусь на чужую скамью,
Я к столу наклоняюсь чужому...
И все кажется мне, что сейчас
Выйдет тень величавой старухи
И, стихи мои перечеркнув,
Настоящие строчки напишет.

Соседи непрерывно рассказывали мне об Ахматовой, и я как бы прожил с ней три летних месяца на одном участке.

Вот драгоценные дополнения:

Она очень любила собирать грибы, и ей оставляли — белые — вдоль забора.

Старая, грузная — она держала марку. Однажды она споткнулась, села на землю и не могла сама подняться. Сбежались соседи. Но она сделала вид, что рвет цветы — вот какова была ее гордыня!

Когда я в стихах о ней употребил слово "старуха", все были шокированы и уверяли, что это — искажение образа.

Анна Андреевна никогда не расставалась с черным ридикулем. В нем хранились письма Гумилева и Пастернака.

Она принципиально и воинственно не устраивала свой быт. Когда к ней приехал Генрих Белль, она уселась на полумантый стул, чтобы знаменитый гость не сел на него случайно и не свалился.

Рядом была дача Гитовича. Он боготворил Анну Андреевну. Но иногда ночью, пьяный выходил на террасу и кричал, обращаясь к соснам:

— Здесь на участке два поэта!

Жена уводила его в дом и утром он смущенно целовал Ахматовой руки. Та не сердилась и, когда появилась книга Ли Бо в переводе Гитовича, сказала:

— Завидую. Я бы так не смогла.

Она бы и правда не смогла. Переводческую работу она ненавидела, и в ее мастерских трудах нет того Божьего огня, который бьет из перевода Пастернака.

Анна Андреевна, Анна Андреевна... — для меня это имя связано только с ней. От того, что так зовут нашу аптекаршу, я испытываю неловкость. Как будто она что-то украла.

Когда к даче, поднимая клубы пыли, подъезжают экскурсионные автобусы, сидящие в них, видя развешенное белье, играющих в карты дачников, спрашивают:

— А кто сейчас здесь живет?

Экскурсовод сухо вато отвечает:

— Сейчас здесь живут другие члены Литфонда.

И начинает рассказ о замечательном поэте, и читает стихи:

”Духом-хранителем места сего
Стала лесная коряга”.

Я помню эту священную корягу. Она лежала около дома — прекрасная и неуклюжая, беспомощно растопырив причудливые отростки. Позже ”другие члены Литфонда” распилили ее и стопили в своих печках.

После дачи автобусы сворачивали налево и ехали по лесной дороге до кладбища.

Надгробный памятник был заказан молодому скульптору из Пскова. Чтобы создать такой памятник, надо очень любить Ахматову. Суровая каменная стена грубой кладки. И в ней маленькое окошко, наглухо заложенное камнем — символ ее пленной жизни.

Потом кто-то понял и окошко закрыли барельефом. Ушла мысль, и надгробье стало просто надгробьем.

Я редко бываю на Ахматовском кладбище. В калитку коляска не проходит, а ворота раскрыты только в дни похорон.

К тому же, за эти годы кладбище разрослось, стало почти мемориальным и посещать его неприятно и страшно: палачи погребены вперемежку с жертвами.

Неподалеку от Ахматовой лежит Наумов. А недалеко от Наумова — Плоткин. На травле Анны Андреевны они сделали себе карьеру и добились чести быть похороненными на ее кладбище.

Первой легла она.

Смерть великих людей всегда прекрасна.

Такая смерть, как у Бетховена, целиком вписывается в его образ, хотя и несколько театральна. Великолепно заканчивает жизнь Чехова его тихое "Ich sterbe!" Но удивительна своей простотой и последняя фраза Ахматовой:

— Чай простыл.

Не могу объяснить почему, но в ней есть что-то невыразимо трогательное.

Чай простыл. И все. И последний штрих. И образ завершен.

Братъа-писатели

БАНКА С ПАУКАМИ —

Бедная моя ленинградская поэзия! Я очень боюсь прослыть злопахателем. Но ведь я поклялся писать правду, всю правду, ничего, кроме правды. И у меня нет выхода.

Я буду говорить здесь в основном о послевоенном времени. Пятидесятые, шестидесятые, семидесятые сливаются в одну серую колышущуюся рябь.

Члены поэтической секции. Их невозможно отличить по стихам, а иногда и по возрасту — такие они стертые. Просто с некоторыми из них связаны житейские истории и скандалы. Тем они и непохожи.

Борис Лихарев. Помню, что рыжий. Вот, пожалуй, и все.

Илья Авраменко. Про него немного больше. Это тот негодяй с запорожскими усами, которому публично дал пощечину тихий сдержанный человек — писатель Эльмар Грин.

Браун и Комиссарова — супружеская пара, прибравшая к рукам все переводы (белорусские, грузинские, литовские). С их пиршественного стола мне или Гале Гампер доставались лишь жалкие крохи, да и то, если им было не по силам заглотать кус целиком.

Кто следующий?

Семен Ботвинник, написавший в студенческие годы поэму "Сифилиада". Спина этого еще не старого человека согнулась от угодничества. Когда из подъезда выходил отдувающийся Прокофьев, он бросался вперед, спеша распахнуть перед ним дверцу машины.

А ведь Ботвинник врач, человек со специальностью, казалось бы чего уж так выслуживаться?

"Ох, не шейте вы, евреи, ливреи! — предупреждал Галич. — Не сидеть вам ни в синоде, ни в сенате!"

И поэтесса Лидия Гладкая кричит в редакции журнала "Аврора":

— Пусть Ботвинник и Кушнер убираются в свой Израиль!

Вообще антисемитов навалом — и Кобраков, и Шевелёв, и Хаустов. Слово "жид" они смакуют (потихе или погромче, в зависимости от обстоятельств) на всех трех этажах бывшего Шереметьевского дома.

Хаустов особенно доволен. Сегодня его усилиями третий раз зарубили на приемной комиссии Асю Векслер.

Недаром он предварительно отобрал заявления евреев с подколотыми рекомендациями и аккуратно сложил отдельной стопочкой.

Продолжим? Продолжим.

Вот, пожалуйста, — Елена Серебровская. Стихи у нее так себе. Но она пишет и прозу.

Запомнился страстный любовный диалог — в постели, ночью.

"Он:

— Скажи честно, кого ты любишь больше — меня или комсомол?

Она (честно) :

— Комсомол".

Восхитительно, не правда ли?

А с Людмилой Поповой даже интереснее.

В 1956 году вышел первый московский "День поэзии". Там впервые за бесконечно долгие годы опубликовали несколько стихотворений Цветаевой.

Впечатление было — не передать!

С банальной, примелькавшейся страницы смотрели в отвыкшую от правды душу написанные огнем слова. Казалось, бумага свернется в трубочку и загорится.

”Вчера еще в глаза глядел,
А нынче — все косится в сторону!
Вчера еще до птиц сидел, —
Все жаворонки нынче — вороны!
Я глупая, а ты умен,
Живой, а я остолбенелая.
О вопль женщин всех времен:
Мой милый, что тебе я сделала?!”.

Выходя из магазина, Лиля лицом к лицу столкнулась с Людмилой Поповой. Пожилая, очень некрасивая, в сером драповом пальто, нос уточкой, седые короткие волосы уложены плойкой.

— Читали? — спросила она Лилю.

И, кривляясь, передразнила: ”Мой милый, что тебе я сделала?”

— Разве *об этом* должна писать женщина?

”Пусть волосы белеют на висках,
Я твердо знаю: старости не будет,
Пока ко мне приходит по ночам,
Что вдохновеньем называют люди”.

Лилия удивилась:

— А это чье?

— Как чье? Мое!

Однажды, не выдержав, я спросил у Надежды Поляковой:

— Надя, послушай, зачем ты так пишешь? Ведь твои детские стихи были гораздо лучше.

Она возмутилась:

— Что ты! Разве можно сейчас *так* писать?

И — злобно — о своем выступлении с Ахмадулиной и Окуджавой, где она успеха, конечно, не имела:

— Я не могу читать, когда на меня из зала наставлены пулеметы.

Много чести Наде! Мне кажется, она с радостью выбрала бы пулеметы, взамен равнодушия, которое ее окружает.

Парад монстров и василисков можно продолжать: Кутов, Кустов, Заводчиков, Ойфа, Никитина — несть им числа.

И подхалимаж, какой подхалимаж! Прокофьеву нарочно проигрывают в карты, о Дудине пишут льстивые рецензии, от которых Пушкин, если бы речь шла о нем, сгорел бы со стыда и счел оценку чересчур высокой.

Слышал я анекдот — подражание гоголевскому "Носу":

"Проснулся однажды Михалков в ленинградской гостинице "Астория" и с ужасом обнаружил, что у него нет жопы.

Искал, искал — не находит.

Засунул в штаны подушку и пошел с горя в Дом Писателя, в ресторан.

И вдруг видит — сидит и завтракает его жопа.

Подошел он к столу и спрашивает:

— Это еще что за фокусы? Почему вы — моя жопа — сидите здесь?

И слышит ответ:

— Нет, Сергей Владимирович, я не жопа. Я ваш покорный слуга, секретарь ленинградского отделения — Олег Шестинский".

Члены Союза писателей без конца грызутся, подсиживают друг друга, интригуют. Недаром эту славную организацию называют банкой с пауками.

Вы спросите, как они пишут? Достаточно привести две строчки Сергея Малахова:

"У нее не юбок шуршащий шелк,
А Ульянова пятый том".

Все они — почитайте, если охота — воспевают родину, партию, высокую идейность и коммунистическую мораль.

Как эта мораль проводится в жизнь, хорошо видно на примере Анатолия Аквилёва.

Сначала он служил лагерным охранником. Потом стал литсотрудником журнала "Нева".

Но, как у всякого многостороннего человека, было у него и свое хобби.

Он ездил на Южное кладбище, выбирал похороны побогаче и примешивался к толпе родственников и друзей.

Прослушав несколько выступлений, он выходил тоже, называл себя старым другом усопшего и читал о нем прочувствованные стихи.

Растроганная семья приглашала поэта на поминки, где он напивался вусмерть.

Настучали на него могильщики, которым надоело слушать каждый раз одно и то же стихотворение.

Произошел небольшой скандал, который тут же замяли.

Сейчас Анатолий Аквилёв — заместитель председателя месткома.

Разумеется, жили в Ленинграде и Заболоцкий, и Чуковский, и Маршак, но это было давно.

Где-то здесь же жила и писала свои лучшие стихи почти никем не знаемая Анна Ахматова.

До 36-го года по улицам Ленинграда, как по улицам Петербурга, ходил странный человек, бормочущий стихи совсем о другом городе:

”Когда мне говорят Александрия,
Я вижу бледно-багровый закат над зеленым морем,
Мохнатые, мигающие звезды
И светлые серые глаза под густыми бровями
Которые я вижу и тогда,
Когда не говорят мне Александрия”.

И словно строчки стиха, возникают в моем мозгу названия его книг: "Нездешние вечера", "Александрийские песни", "Форель разбивает лед".

Город серый и сердитый,
Ломкий воздух, зимний сплин...

Здесь живет поэт забытый
По фамилии Кузмин.
Он огни Александрии
Видит в северных снегах,
И форели золотые
Бьются в невских берегах.
И никто-никто не знает
(Ведь чудес на свете нет),
Что проспект пересекает
Божьей милостью поэт.
Он и мухи не обидит,
Он и ветру не соврет,
И никто-никто не видит,
Что сегодня он умрет.
Не сойдемся на поминки,
Слово некому держать...
Лишь стихи на черном рынке
Будут снова дорожать.

А еще жили в Ленинграде обэриуты (Общество реального искусства и "у" для забавы). Теперь их изучают во всем мире, кроме нас.

Я восхищаюсь ими, но пишу это слово через "е". Вывести неуклюжее "э" (обэриуты) рука не поднимается. Хотя я понимаю: это была шутка.

Олейников умер, Хармса и Введенского убили.

Кто же остался?

Неплохо начинал Виссарион Саянов. Помню его молодую строфу:

"Много было звонких песен, токмо
Где же ты, заветная Олёкма?
Нищая, хоть оторви да брось,
Золотом прошитая насквозь".

Сын богатого золотопромышленника, культурный человек, знающий несколько языков, он всю свою жизнь потратил на то, чтобы — Боже упаси! — не выделяться, не казаться

ся интеллигентным. Талант его быстро растворился в винных парах. И все (в дальнейшем бесцветное) творчество этого неудачника перекрыла написанная кем-то лихая эпитафия:

Видел я Саянова —
Трезвого, не пьяного.
Трезвого? Не пьяного?
Значит, не Саянова.

А, впрочем, почему я назвал его неудачником? До самой смерти он был членом Правления, постоянно печатался. Вероятно, он считал себя счастливым. Ведь люди находят счастье в разном: кому нужны вершки, а кому корешки.

И теперь — только б не забыть! — нужно мне назвать для полной картины двух замечательных переводчиков: Лозинского, без которого не было бы у нас "Божественной комедии", и, конечно же, Гитовича — с его прозрачными, необыкновенно умиротворенными переводами Ли Бо:

Плывут облака
Отдыхать после летнего дня,
Стремительных птиц
Улетела последняя стая.
Гляжу я на горы
И горы глядят на меня...
И долго глядим мы,
Друг другу не надоедая.

Что ж, не такая уж бедная моя ленинградская поэзия — ведь я еще пропустил Мандельштама.

Но в Союзе писателей управляли одни подонки, а эти все находились на отшибе — настолько на отшибе, что происходили курьезы.

Писатель Михаил Димиденко, здоровяк и обжора, только что приехавший в комаровский Дом творчества, сидел в столовой и с грустью доедал второе.

В стороне, у окна, он заметил седую женщину, неохотноковырявшуюся в тарелке.

Димиденко подошел к ней, держа в руке стакан, и пробасил:

— Бабуля, махнем компотик на котлетку?

Это была Анна Андреевна Ахматова.

Жизнь рассказывает нам свои анекдоты и они ничуть не хуже анекдотов, придуманных людьми.

Сейчас в Ленинграде — на мой взгляд — три настоящих поэта (говорю о тех, кого печатают).

Виктор Соснора. Его прислали ко мне как графомана. Но его ранние стихи сразу поразили меня оригинальностью и широтой взгляда.

”И этот жирный голубь — птица мира?” — недоумевал он, когда по всей земле, и особенно у нас, бушевал голубиный психоз, сделавший эту птицу чуть ли не священной.

Писал он торопливо, лихорадочно. В комнате его на бельевых веревках висели тетрадные листы со стихами, зажатые прищепками.

А через два месяца после нашего знакомства — публикация в ”Литературке”, изумительный древнерусский цикл.

”И сказал Гзе Кончак:

Если сокол в гнезде

Зачах,

Краснощекую сочную девицу

Мы положим около сокола;

Никуда он тогда

Не денется,

Так и будет валяться

Около.

И сказал Кончаку Гза:

Ты держи начеку

Глаза.

Бабу соколу не подсовывай,

Половчанки к русичам слабы.

Убежит половчанка с соколом,

И не будет

Ни князя,

Ни бабы”.

И перед стихами — восторженная предпосылка Асеева.

Асеев, в частности, писал: "Молодые слесари будущего..."

Ну какой же Соснора слесарь? Такой же, как Новелла Матвеева — пастушка.

Не получилась эта подделка. Не захотели. А ведь какой красной улицей покати́лась бы их судьба.

Виктор очень болен. Кажется, он где-то облучился. Он рассказывал, что у него были язвы, в которые входил кулак.

Это всегда грустный, бескомпромиссный человек. Он послал письмо Съезду писателей одновременно с Солженицыным.

О своем телефонном друге — Галине Гампер — я напишу отдельно. Приведу лишь одно ее стихотворение, чтобы показать, до каких трагических высот она подымается:

Теперь и в похвалах, и в брани,
И в снах, и просто в болтовне,
Из разных словосочетаний
Все чаще сочетанье "не".
Не хватит сил, не верь, не рад,
Не будет, нету, неприлично, —
Как будто кто-то бьет в набат
На пыльной площади столичной.
И я, теряя суть и толк,
Уже почти сходя с ума,
Твержу: не дом, не дым, не волк,
Не ночь, не день, не я сама.

И третий, Александр Кушнер — о нет, не третий, первый: мой вечный соперник, моя поэтическая любовь.

Был приход поэта странен.
Он вошел, смиряя шаг,
Пряча крылья за плечами
Под потрепанный пиджак.

Он сидел обыкновенный
(Я-то знал, кто он такой) ,
Лишь мелькал огонь мгновенный,
Как зарница над рекой.
Зарывались мысли наши
В слой словесной шелухи,
И тогда сказал я: "Саша,
Почитали бы стихи!"
В запрокинутом затылке
И в широком жесте — взрыв,
Дух рванулся из бутылки,
Заклинанье подхватив.
Он стоял в красе и в силе —
И знаком, и незнаком.
И тревожно бились крылья
Под высоким потолком.

На идеологическом совещании первый секретарь обкома Романов процитировал стихи Кушнера о том, как трудно дается поэту слово. И начал ёрничать.

— Трудно, так и не пиши. Я вот, например, не умею сочинять стихов — и не пишу.

Как и следовало ожидать, эти слова обернулись директивой.

В Лениздате с Кушнером не подписали уже обговоренный договор. Главный редактор Хренков развел руками:

— Саша, вы же не маленький — сами понимаете. Раньше, чем года через три, и думать нечего.

Боже мой, как они все хотели бы нашей продажи! На крыльце Дома творчества ко мне, блестя очками и лысиной, подошел Азаров:

— Лев Савельевич, я составитель нового "Дня поэзии". Не согласитесь ли вы принять в нем участие и дать нам стихи о Ленине?

— У меня нет стихов о Ленине.

— Это не страшно. Времени впереди много — вы успели бы написать даже поэму.

И, наклонившись, доверительно:

— Сборник весь Ленинский, круг авторов ограничен. И учтите — двойной гонорар.

И последнее. Ко мне приходят мальчики и девочки со стихами. Им не надо ни денег, ни легкой газетной славы. Они хотят одного — писать настоящие стихи. Судьбе Прокофьева они предпочли бы судьбу Мандельштама.

И думая о Сосноре, о Кушнере и об этих детях, я заканчиваю такими стихами:

Выступают сверчки,
С них сбивают очки,
Им ломают пюпитры и скрипки,
Но они поправляют свои пиджачки
И опять надевают улыбки.
И торопятся к нотам, и в ритме живут,
И глядят увлеченно и добро...
И тогда их калечат, увечат и рвут,
И пинают и в спину, и в ребра.
Но они поднимаются — эти сверчки —
И опять поправляют свои пиджачки,
Чтоб им было ни густо, ни пусто...

.....

И да здравствует наше искусство!

БЫВШЕГО ОТЦА Я ОТВЕЛ В ЧК —

Кто начал это дело в русской литературе? Пожалуй, Гоголь. Тарас Бульба говорит сыну: "Я тебя породил, я тебя и убью". И убивает.

Встречалось такое в древнегреческой трагедии и в Азии. Есть и французский вариант: "Матео Фальконе". Но во Франции тема как-то не прижилась, а у нас в литературе двадцатых-тридцатых годов стала сквозной и основополагающей.

Вот советская классика — пьеса Тренева "Любовь Яровая".

Молодая учительница выдает пролетарским бойцам офицера, своего любимого мужа. Но автору этого мало. Старуха-мать ищет по городу сыновей и находит одного из них.

Марья: А Грицко где?

Семен: Сам его ищу, маманя... Под землей найду! Я из его по жилочке коней вытащу, пшеницу по капле крови выточу!

Марья: Да он, чай, в могиле.

Семен: Найдем и в могиле.

Марья: Аспиды же вы! Один глаз у тебя остался.

Семен: Ништо. Я ему оба закрою”.

Этот брат — белый — еще только грозитя, а другой — красный — из стихотворения комсомольского поэта Джека Алтауэна просто вешает своего брата на сосне.

”Он был пастух, он пас коров,
Потом пастуший рог разбил,
Стал юнкером.
Из юнкеров
Я Лермонтова лишь любил.
Нас годы сделали грубей,
Он захрипел, я сел в седло,
И ожерелье голубей
Над ним в лазури протекло”.

Полюбуйтесь, какая находка! Как изысканно сравнивает поэт ожерелье голубей с петлей, затянувшейся на шее младшего брата!

И заметьте, никаких эмоций — ни горя (ведь брат же!), ни сожаления (юнкер, совсем мальчик!): одна революционная романтика.

А вот уже без романтики, вещь вполне реалистическая — трилогия Алексея Толстого ”Хождение по мукам”.

Тут эта проблема рассматривается взволнованно и подробно: кто дороже — мать, отец, сын, брат, друг, одним словом, самый близкий, самый родной тебе человек или идея, партия, государство? И можно ли, и *нужно ли* предавать и убивать, если делаешь это ради высокой цели?

Поцитируем.

— Сегодня расстреляли заведомую сволочь, деникинского контрразведчика, он же сам его и поймал в камышах... Готово: нализался и тянет философию... Ну вот я сейчас стоял под окном, слушал — рвет, как от тухлятины... За эту философию другой, не я, давно бы его отправил в особый отдел.

— А если ты расстрелял моего университетского товарища? — Сапожков прищурился, ноздри его затрепетали. — Деникинский разведчик, ну да. А мы вместе с ним бегали на "философские вечера". *Я сам его к тебе привел...* Довольно с тебя, что я исполнил долг? Или тебе нужно, чтобы я камаринского плясал, когда его в овраг повели?... — Он в упор глядел Гымзе в темные впадины глаз. — Могу я иметь человеческие чувства или я уже всё должен в себе сжечь?

Гымза ответил, не спеша:

— *Нет, не можешь иметь...* От такого гнезда, как в тебе, контрреволюция и начинается".

Слышите? Человеческих чувств иметь нельзя, от них рвет, как от тухлятины. И ярлык уже приготовлен: контрреволюция.

Когда же все это написано? В 27-ом году, за десять лет до 37-го!

Но дальше, через несколько глав, вроде бы другое — иная сцена, иное решение.

"Рощин сквозь раздвинутые пальцы одним глазом покосился на соседа. Это был Телегин.

Нужно было немедленно пойти доложить коменданту. Два месяца тому назад Рощин не поколебался бы ни на мгновение. Но он прирос к дивану, — не было силы. Иван Ильич, — красный офицер, — вот он, рядом, все тот же — усталый, весь добрый... Не за деньги же пошел, не для выслуги — какой вздор! Рассудительный, спокойный человек, пошел потому, что счел это дело правильным... Так же, как я, как я... Выдать, чтобы через час муж Даши, мой, Катин брат валялся без сапог под забором на мусорной куче...

Неподвижно, точно спящие, сидели Рошин и Иван Ильич близко на дубовом диване. Сторож закрыл перронные двери. Тогда Телегин проговорил, не открывая глаз:

— Спасибо, Вадим.

У Рошина отчаянно задрожала рука. Иван Ильич легко поднялся и пошел к выходу на площадь спокойной походкой, не оборачиваясь”.

Не торопитесь перевести дыхание. Не обольщайтесь. Да, не донес. Но за два месяца до этого ”не поколебался бы ни на мгновение”. Просто у Рошина пошатнулись убеждения и он не верит больше в свою идею.

А ради идеи — выдал бы.

И автор, словно подчеркивая это, переставляет фишки.

Рошин с декабря в Красной армии. Но Телегин этого не знает. И, встретив Вадима Петровича, принимает его за белого контрразведчика.

Иван Ильич мягок душой — он ахает и ужасается, он не скрывает своего горя:

— Я горячо тебя *любил*, Вадим... Я помню прошлогоднюю встречу на ростовском вокзале... Ты проявил большое великодушие... У тебя всегда было горячее сердце... Ах, Боже мой, Боже мой...

Он ахает, вертит пуговицы, подтягивает пояс, но конечно же не колеблется ни на мгновение.

— Ты, очевидно, рассчитываешь, что мы поменялись местами, и я в свою очередь должен проявить большое чувство... Я ничего не могу для тебя сделать... Предупреждаю — я тебя арестую... Ах, как это все...

Ивана Ильича не останавливает, что через час муж Кати, его, Дашин брат будет валяться без сапог под забором на мусорной куче.

А как же реагирует на это предательство Рошин?

— Иван, хороший ты человек... Простая душа... Рад видеть тебя таким...

Бедные убогие люди! Они, не знают, что с ними сделают, прикрываясь теми же идеями.

Никто из них не переживет 37-го года. Дашу расстре-

ляют за участие в Савинковском "Союзе защиты родины и свободы", Катю, как жену активного белогвардейца, Рощина — тут и говорить нечего, а Телегина за тесную связь с врагами народа.

Одновременно с ними пустят в расход и героя другого знаменитого романа — казачьего офицера Григория Мелехова.

Жену выдали, друга предали, брата повесили — поднимаемся на следующую ступеньку.

Фильм по сценарию Вишневского "Мы из Кронштадта" — жемчужина советской кинематографии.

Группа моряков отправляется на задание. Берут только самых достойных. Каждый выходит и рассказывает товарищам о себе.

В густом махорочном зале отрывисто падают слова:

— Родился тогда-то. Отец — рабочий, мать — крестьянка.

— Родился тогда-то. Мать — ткачиха, отец — кочегар.

И вдруг, нарушая безупречность биографий:

— Мать — прачка, отец — белый офицер.

Неистовство негодования, выкрики, свист. Но матрос невозмутимо поднимает руку:

— Спокойно, товарищи. Бывшего отца я отвел в ЧК.

И над судьбами этих аспидов, отцеубийц — героев советской классики — сияет эпиграф, выведенный бестрепетной рукой Алексея Толстого:

"В трех водах топлено, в трех кровях купано, в трех щелоках варено, чище мы чистого".

Эту чистоту преступления во имя идеи четко и убежденно сформулировал, к сожалению, мой любимый поэт Эдуард Багрицкий устами своего вымышленного ночного гостя — Феликса Дзержинского:

"Век поджидает на мостовой,
Сосредоточен, как часовой.

.....

Оглянешься — а вокруг враги.
Руки протянешь — и нет друзей.

Но если он скажет: „Солги”, — солги.
Но если он скажет: „Убей” — убей”.

О Багрицком я написал стихи:

А он выкашливал ключья легких
В платок кровавый,
И было душно от ранней зорьки,
От ранней славы.
Волна встречала, седло качало,
Качала койка.
Убей — кричала, солги — кричала:
Умрешь — и только.
Век не упросишь, век не охватишь,
Он — пуля в спину.
Убей — он скажет.
Женой заплатишь,
А после — сыном.
А синий ветер читал страницы
Из слова в слово,
И в этой жизни, как говорится,
Все было ново:
И мир, куда он пришел как порох,
Пришел как нищий,
И первый зяблик, и первый шорох
Песка о днище.
И море, море — обитель шума,
Его таласса...
А по ночам он думал думу
Про Опанаса.

Багрицкого похоронили с почетом. Гроб стоял на пушечном лафете. До Новодевичьего его провожал конный эскадрон с шашками наголо.

А вскоре после этого — по формуле ”солги”, ”убей” — жену его посадили как врага народа.

Но в 33-ем, когда писалась поэма, поэт еще не мог представить, к чему призывали его строки.

”Дума про Опанаса”, гражданская война. Где-то, далеко

от Украины, над рекой Урал, поет русскую народную песню
красный командарм Чапаев. В сталинское время мы все
могли бы подтянуть ему:

”Черный ворон, что ты вьешься
Над моею головой?”

Но никто из нас не мог бы с уверенностью пропеть вто-
рую половину строфы:

”Ты добычи не добьешься:
Черный ворон, я не твой”.

По улицам кружили ”черные вороны” — так окрестили
тюремные машины. По ночным лестницам звучали шаги.

Мой знакомый Семен Слевич, услышав приближающийся
зловещий топот, распахнул окно и хотел выброситься с
четвертого этажа, но жена повисла на нем и удержала.

Еще страшнее случилось у Добиных. Шли именно к ним.

Когда шаги смолкли и раздался звонок, Александра
Александровна (оба они были уже у дверей) обхватила шею
мужа и шепнула:

— Молчи!

Они затаили дыхание — два белых дрожащих призрака,
которых словно сдуло с постели ледяным ветром.

Звонили долго. Потом стали стучать. Грохот усиливался:
барабанили руками и ногами.

Донесся голос:

— Да они, наверное, дома не ночуют.

— Постучи опять.

Постучали.

— Говорю тебе, дома нет. Пойдем в квартиру напротив.

Так они и спаслись. Забрали соседа по площадке. Какая
разница? План все равно был выполнен.

Это ощущение ночного предарестного ужаса гениально
выразил Мандельштам:

”Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок.

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных”.

В 37-ом году в Дом творчества ”Коктебель” приехал парторг ленинградской писательской организации Григорий Мирошниченко — дюжий мужчина с хмурым казацким лицом.

Он вышел к ужину, поставил перед собой бутылку водки, пил раз за разом, быстро опьянел и вдруг, резко отодвинув тарелку, поднялся. Все оглянулись.

— Простите, товарищи, — сказал он, — я должен вас покинуть. Я очень устал. Я боролся с врагами народа.

Он пошатнулся и уперся кулаками в скатерть.

— Я боролся с врагами народа, — повторил он. — Я приехал сюда отдохнуть. И что же я вижу?

Он обвел всех ненавидящим взглядом:

— Кругом одни враги народа. Не с кем за стол сесть!

В столовой повисла абсолютная тишина. Стоило ему захотеть, и назавтра арестовали бы любого.

Он повернулся и угрюмо вышел.

Литература густо перемешалась с жизнью, отражала ее и питала своими соками — у них была общая кровеносная система.

Тарас Бульба и Матео Фальконе, убивая сыновей, наказывали предательство. Ныне предательство прославлялось всеми силами, особенно с 32-го года, после того, как пионер из села Герасимовка Павлик Морозов донес на своего отца.

Государство дороже семьи — это было газетной догмой. Дети важно повторяли: ”Лес рубят — щепки летят”. Среди комсомольцев модным был разговор: ”Ничего не поделаешь, бывают и ошибки. Но лучше изолировать двух невинных, чем оставить на воле одного врага”.

Шли процессы. Помню страницу ”Правды”: справа и слева столбцы фотографий, посредине широкая полоса текста — правительственное сообщение. Под фотографиями жирные подписи: ”враг народа Тухачевский”, ”враг народа Якир”, ”враг народа Уборевич”.

Пройдет еще много лет, прежде чем появится замечательное военное стихотворение Межирова, написанное, по-моему, совсем не о войне.

”Нас комбаты утешить спешат,
Говорят, что нас родина любит.
По своим артиллерия лупит —
Лес не рубят, а щепки летят.
Недолет... перелет... недолет... —
По своим артиллерия бьет”.

Предательство носилось в воздухе.

Блестящий переводчик Алексей Шадрин — милый, грустный человек — отбыл два срока. Первый раз его арестовали по доносу жены. Как можно пережить такое? Но он пережил (только поседел весь) и, когда вышел, женился на другой. Через некоторое время *вторая жена* отнесла в МВД его дневник, и Алексей Матвеевич снова стал измерять шагами тюремную камеру.

Самые низменные человеческие свойства — зависть, корыстолюбие, сознание безнаказанности за любой донос — выступили наружу, как грязь из люков.

Три студента, три будущих скульптора с отличием оканчивали Академию художеств. В аспирантуре было два места — шансы у всех равные.

— Слабо тебе вылепить свастику, — сказал один из них своему товарищу Васе Остапову.

— Почему слабо? — удивился недогадливый Вася.

— А так. Слабо — и все.

— Ничего не слабо, — обиделся Вася. Он вылепил свастику и тут же ее скомкал.

Это было днем. Той же ночью за ним приехали. В аспирантуру поступили двое.

Мандельштам писал:

”Есть прекрасный русский стих, который я не устану твердить в московские псиные ночи, от которого, как наваждение, рассыпается рогатая нечисть...”

”Не расстреливал несчастных по темницам”.

Мы не расстреливали, не предавали, но каждый из нас чувствовал себя соучастником. И нам не помогали никакие стихи, никакие самооправдания.

Не лгите мне, не я распял Христа —
Я даже не сколачивал креста,
Я даже не выковывал гвоздя
И не смеялся, мимо проходя.
Я даже и в окно не поглядел,
Я просто слышал, как народ гудел.
Мне было зябко даже у огня.
И странно слиплись пальцы у меня.

Стены были пропитаны страхом и подозрением.

Приятель сказал мне, что в одном разговоре он предположил:

— У Друскина бывает много гостей — боюсь, туда подсылают провокатора.

Хозяин дома возразил:

— Зачем подсылать? Сам стучит.

И я даже не обиделся. Ведь незадолго до этого в мою тетрадь легло четверостишие:

Отпираются нехотя двери,
Каждый взгляд подозрением жжет...
Ни тебе, ни себе я не верю —
Береженого Бог бережет.

Хочу рассказать об одном случае. Ко мне пришел Дима Поляновский — необыкновенно красивый человек, о котором потихоньку передавали дурное. У него был телефон, но являлся он всегда без звонка и, разговаривая, рассеянно перебирал книги на моем столике.

Стоял ясный январский день 53-го года, и Дима ввернул что-то о деле врачей. Я попытался перевести на другое, но он горячо и настойчиво стал убеждать меня, что это начало злобной правительственной антисемитской кампании и все назвал своими именами.

Я не возражал, но и не поддерживал.

И вдруг он изменился в лице:

— Что я болтаю! Какой я идиот — что я тут болтаю!

И начал умолять:

— Лева, не выдавай меня... Если кто-нибудь узнает, я погиб... Я тебя прошу... Мы всегда были друзьями... Не выдавай меня...

Сперва я возмутился, потом пытался его успокаивать. Но он заводился все больше, побелел, лицо покрылось потом. Он заглядывал мне в глаза, хватал за руки.

— Не рассказывай... Не выдавай... Я пропаду...

И встал передо мной на колени.

До сих пор я читал об этом только в книгах, и до сих пор не знаю, что это было — истерика или провокация.

Не помню, как я от него отделался. Но и по сей день не могу отплеваться от омерзения и жалости.

А зря.

Я был не намного лучше. Все чаще я следовал совету Тютчева:

”Молчи, скрывайся и таи...”

И как это ни страшно, вглядывался в лица лучших друзей с внезапным ожогом: а не тот? а не этот?

С гневом и презрением к себе я сразу же отметал подлые мысли, но они возвращались и в часы бесед, и в вечера праздничного застолья.

Был хлеб веселым круглолицым парнем,
Он к нам ввалился прямо из пекарни
С коричневой от зноя головой,
Дымился он довольными ломтями
И, сдвинув скатерть дружными локтями,
Мы пировали в радости живой.
Ручьем вилась свободная беседа,
Сосед, смеясь, перебивал соседа,
Бутылка кочевала вдоль стола...
Вдруг словно тень какая-то прошла.
И все преображалось постепенно —

Менялся стол, вытягивались стены,
Свисала скатерть, мокрая от слез.
Стал черствым хлеб, не звякала посуда...
И мы не знали, кто из нас Иуда,
А кто — Христос.

Этот вопрос остался открытым и сейчас.

Изменились масштабы, но не суть. Засудили Щаранского, в тюрьме Юрий Орлов. Пока выйдет эта книга, минет время и подставятся другие фамилии.

А что касается спецсикхбольниц, то они вступили в строй уже после смерти Сталина.

Ну а кто старое помянет — тому глаз вон. Это не шутливая пословица, это вполне реальная угроза.

Там наверху многое отдали бы за то, чтобы все недоумевали, как в гениальном рассказе Солженицына:

”37-ой год? А что было в 37-ом? Испанская война?”

А теперь раскроем третье издание Малой Советской Энциклопедии.

Читаем:

”Морозов Павел (Павел Трофимович) — (1918—1932) — школьник, пионер. Родился и жил в селе Герасимовке (ныне Верхне-Тавдинский район Свердловской области). Вместе с крестьянами-бедняками участвовал в изъятии хлеба у кулаков в период коллективизации. Был убит кулаками”.

А где же про отца?

Ведь на этом, именно на этом делалась акцентация. *Об этом* — газетные статьи, стихи, повести, пьесы.

Не ищите, не вглядывайтесь — ни слова.

И я позволю себе закончить частушкой, которую я слышал от насмешливой молодежи:

На полу отец лежит,
Весь от крови розовый —
Это сын его играет
В Павлика Морозова.

НУЖЕН ВЕЛИКИЙ —

Нужен великий.

Иногда в газетах появляется:

”Умер великий советский художник Александр Герасимов”.

”Умер великий советский скульптор Евгений Вучетич”.

”Скончался великий советский композитор Дмитрий Шостакович”. (И ведь не соврали — действительно великий. А что касается того полузабытого случая, когда композитор свалился в обморок в Архангельске у газетного киоска, увидев в ”Правде” подвал ”Сумбур вместо музыки”, то за чем ворошить интимные, почти внутрисемейные отношения?)

Хуже всего обстояло дело с поэзией.

Сперва — довольно уверенно — остановились на Прокофьеве. Это была фигура примечательная. Он родился в ладожском местечке Кобоны в рыбацкой семье и начинал как крестьянский поэт, в духе молодого Есенина. Впрочем, выше этого уровня он так и не поднялся.

Писал он увлеченно, лирично, и у него даже встречались по-настоящему хорошие стихи, которые я люблю и сейчас.

”И звезда, как ласточка, присела
На твое высокое крыльцо”.

Вскоре Прокофьев сочинил стихотворение о Ленине:

”Так дуб не держится за землю,
Как за него держались мы”.

Вероятно, в этом еще не было спекуляции. Ну о Ленине и о Ленине. Кто о нем тогда не писал? Но стихотворение облетело все газеты и альманахи, стало хрестоматийным.

И тогда — пошла писать губерния! Поток хлынули произведения — патриотические и псевдонародные. (Приговорочки, прибауточки, частушки, потешки — все, что только приходило в голову) :

”Сидит ворон на дубу,
Зрит в подзорную трубу...”

и т. п.

Творчество Прокофьева быстро превратилось в самопародию. *Почти в каждом* его стихотворении один или несколько раз употреблялось слово ”Россия”. В маленькой книжке я насчитал его 87 раз. Злые языки утверждали, что за свежую рифму к ”России” Александр Андреевич платит пять рублей.

Одновременно происходило стремительное продвижение по иерархической лестнице. Он был членом обкома, депутатом Верховного совета, лауреатом сталинской премии (кстати, за поэму ”Россия”), секретарем Союза писателей СССР, первым секретарем Ленинградской писательской организации, членом ряда редколлегий. Да мало ли? Всего не перечислишь!

Прокофьев не стал интеллигентом, культуры в нем не прибавлялось ни на грош. Он оставался человеком из народа, превратившимся в генерала и раздувшимся от непомерной важности.

Он обожал лезть, любил пить на чужие деньги и однажды так поднабрался, что не смог попасть ключом в замочную скважину и проспал всю ночь, стоя, упершись лбом в косяк.

К чести его, он не был антисемитом. Обо мне он говорил:
— Парню надо дать жить.

Но молодых душил беспощадно. Да и московских ”новаторов” недолюбливал. Это у него есть стихи ”Ох ты лесенка московская!”, где он яростно выступает против введенной Маяковским разбивки строк.

Русофил, коммунист, консерватор, человек не совсем бездарный — он вполне подходил на роль великого.

Поэтому, когда его неожиданно ”прокатали” на ленинградском перевыборном собрании, Москва очень рассердилась:

— Вам он не нужен, а России нужен!

Александр Андреевич перенес свое поражение тяжело.

В коротком и выразительном рассказе И. Е. есть замечательный эпизод.

Вечером после перевыборов Прокофьев, пьяный, сидел в ресторане Дома писателей и плакал. Рядом стоял верный оруженосец Анатолий Чепуров и утешал его. И вдруг Прокофьев повернулся к утешителю и плюнул ему в лицо. Чепуров вынул носовой платок, бережно обтер Прокофьеву губы, а потом уже утерся сам.

Я сказал, что Александр Андреевич тяжело пережил свое поражение. Это не так: оно его просто убило.

Лиля видела Прокофьева незадолго до конца: смертельно обиженный голос, апоплексическое лицо, трясущиеся руки — не узнать!

Вскоре последовал инсульт, за ним второй — и поэта не стало.

Когда я думаю о нем, я испытываю чувство сожаления. Может быть, если бы не этот головокружительный официальный взлет, что-нибудь бы и вышло. Вышло же из Корнилова! Хотя таланты, конечно, неравные.

Прокофьев умер и место осталось вакантным.

Кого же выбрать великим?

На "могучую кучку" положиться нельзя.

Евтушенко пересаживается с одного стула на другой с такой стремительностью, что просто в глазах мелькает — то "Бабий яр", то "Моя идеология — райком", то телеграмма правительству по поводу Чехословакии, то верно-подданническая поэма о БАМе.

Вознесенский? Ну, это, разумеется, валюта. Но советскому читателю трудно — "ему б чего-нибудь попроще бы".

А с третьей — Ахмадулиной — совсем скверно. Окончила Литературный институт, где (по выражению Бродского) соловьев превращают в попугаев, но осталась, к сожалению, соловьем: неподдающаяся. Да и дерзка, ох дерзка! В ЦК партии (подумать только, в ЦК партии!) в ответ на обвинения сказала:

— Я поэт, а не крепостная девка!

Остановились на Дудине. Русский, член КПСС, воевал.

Чересчур часто уходит в пьяную отключку, зато характер партийный:

”Добродушный Миша Дудин,
Сто очков любому даст:
Миша Дудин, сын Иудин —
Поцелует и продаст”.

А поэт какой? Да никакой! Крепкий профессионал. Стихи ни плохие, ни хорошие — длинные, скучные, патристичные. Творческой индивидуальностью не обладает.

Вспоминается смешное.

Как-то к нам в комаровском Доме творчества заглянула Ирина Тарсанова, его жена.

— Ой, ребята! Что у меня есть, ни за что не угадаете. После обеда забегу — почитаем.

Было время особенного увлечения самиздатом и она нас страшно заинтриговала. Какой сюрприз она припасла: свежую ”Хронику текущих событий” или незнакомый рассказ Солженицына?

Мы пристали к ней и она все-таки раскололась:

— Ну ладно, скажу. Миша написал утром два стихотворения, а я стянула — вот почитаем!

Теперь Дудина сажали на трон.

К шестидесятилетию устроили ему два юбилейных вечера — в большом зале Ленинградской филармонии и в Москве, в ЦДЛ.

Было много выступлений, говорили немало глупостей, и Кайсын Кулиев на всю страну назвал Михаила Александровича великим русским поэтом.

А потом Дудин читал стихи и в самом патетическом месте, тоже перед всей страной (ох уж это телевидение!), быстрым вороватым движением почесал зад.

Наверное, очень чесалось.

ПРЯМАЯ ДОРОГА В ЛАГЕРЬ —

Письма в будущее писали многие. Известно письмо потомкам Маяковского, написал им послание и поэт Роберт Рождественский.

У Рождественского люди тридцатого века только и должны делать, что думать о нас (нет, не о Великой Отечественной войне, тут еще было бы понятно!), а о нас нынешних — восхищаться нами, воздвигать нам памятники.

А Маяковский резанул напрямую:

”Уважаемые

товарищи потомки,

Роясь

в сегодняшнем

окаменевшем говне...”

Я абсолютно уверен, что Маяковский не пережил бы 37-го года, с ним рассчитались бы даже за самые праведные его произведения — например, за вступление к поэме ”Во весь голос”.

Да напиши я и теперь о советской жизни ”сегодняшнее окаменевшее говно”, мне была бы прямая дорога в лагерь, независимо от остального содержания.

И потом, как это — ”через головы поэтов и правительств”? Через головы вождей, что ли?

А другие стихи? Как отнестись к выражению ”Карлы-марлы борода”?

Нет, тут сработала поэтическая интуиция: Маяковский застрелился вовремя, из чувства самосохранения.

ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГРАНИН —

Я мог бы дать развернутый портрет Даниила Гранина, но уж очень не хочется. Ограничусь несколькими подробностями.

Писатель он, по-моему, плохой. А журналист способный. Мне нравится его книжка об Австралии ”Месяц вверх но-

гами". Еще лучше опубликованная в "Новом мире" умная и тонкая статья "Два лика".

К сожалению, у него у самого два лика.

До Солженицынского дела Гранин считался эталоном порядочности. Наступил час суровой проверки. Все голосовали за исключение, а Даниил Александрович воздержался. Но на этом он и кончился. Достаточно было одного грозного звонка из Смольного, как в Москву полетела телеграмма: "Присоединяюсь к мнению большинства".

Решение присоединиться к большинству было принято раз и навсегда, и писатель, как колобок, покатился своей вымеренной и выверенной дорогой.

Неприятность с Солженицыным была, впрочем, не единственной. Когда-то в молодости он рассердил "хозяев" рассказом "Собственное мнение".

На правительственной встрече с писателями Молотов даже спросил:

— Это тот Гранин, который имеет собственное мнение?

Шутка была зловещей, но все обошлось.

Гранин, как умный человек, не подавал больше поводов для раздражения. Наоборот. В повести "Картина" он написал о злодействах прошлого:

"Не нами началось, да на нас оборвалось".

Такие свидетельства преданности не остаются незамеченными.

Начинающему литератору Сергею Д. Гранин советовал:

— Нужно найти небольшой промежуток между подлостью и благородством, и работать в этом промежутке.

Моему приятелю Борису С., который вышел из заключения и не мог никуда устроиться, он предложил:

— А вы обратитесь в КГБ. Там сейчас совсем другие люди — честные, образованные, доброжелательные. Они вам обязательно помогут.

Сам он не помогает никому.

Его родная сестра Ирина, моя детская знакомая, всю жизнь нищенствовала, билась, как "килечка об лед", растила сына, боготворила брата, а он и пальцем не пошевелил, чтобы как-то облегчить ее судьбу.

В доме его она — бедная родственница, присаживающаяся на край стула и готовая исчезнуть по первому знаку.

Однажды Ира пришла ко мне в воскресенье. У меня сидело несколько человек — новые знакомые.

На кухне Ира шепнула Лиле:

— Знаешь, не говори им, что я сестра Дони, а то они будут стесняться.

Сидели, пили чай.

И вдруг один из гостей сказал:

— Прочел в журнале новую повесть Гранина — такое говно!

— Да он и сам говно, — поддержал сосед.

— Он хуже всех, — добавила его жена, — ведь умный же человек, а карьерист, проститутка. Это еще хуже, что умный.

Ей-Богу, мы не были виноваты. Все получилось само собой.

Потом Ира со слезами спрашивала:

— За что они его так?

В двенадцатом номере "Нового мира" за 1977 год напечатано потрясающее произведение Алеся Адамовича и Даниила Гранина "Главы из блокадной книги".

Писатели ходили по квартирам с магнитофоном и записывали рассказы людей, переживших блокаду. Они почти ничего не меняли: сортировали материал и строили композицию. Именно поэтому книга и получилась такой правдивой. Литературные связки носят чисто служебный характер и почти не запоминаются.

Но иногда (очень редко) встречаются и лжесвидетельства:

Страница 71: разгар голода, в каждой комнате мертвые или умирающие.

"Машину снарядом разнесло, хлеб лежит, собрали и никто себе не взял".

Или:

"Начался сильный обстрел. Я кое-как поползла до булочной. Кто лежит на полу, кто спрятался за прилавков. Но

никто ничего не тронул. Буханки хлеба были — и никто ничего”.

Это неправда. Это было бы противоестественно, античеловечно. Подвиг ленинградцев настолько огромен, что его не нужно подкрашивать ложью.

Не нужно? Почему же?

”Все пропаганда, весь мир — пропаганда!”

Англичане бы съели, американцы бы съели, а вот советские люди отдали государству все до кусочка.

И еще одно поражает в этой книге. Свидетельствуют рабочие, интеллигенты, врачи, учителя, служащие Эрмитажа — и все они русские. Как будто в блокадном городе совсем не было евреев.

Это, разумеется, не случайность. У сестры Даниила Александровича Иры в паспорте — еврейка. А у Даниила Германа, кроме фамилии, изменена и национальность. То ли он белорус, то ли кто другой — во всяком случае, не еврей.

Так в нашей стране удобнее.

В последние годы Гранин заматерел, стал маститым. Он всегда спокоен, немногословен, от него исходит какая-то недобрая сила.

Недавно он пышно справил свой шестидесятилетний юбилей.

По всему Союзу писателей шел нервный шепоток:

— А его пригласил...

— А меня не пригласил...

На этом вечере сильно подвыпивший Виктор Конецкий в присутствии 120-ти гостей произнес тост: ”Все мы знаем, что Даниилу Александровичу не так уж много отпущено от Бога, и только своим великим трудом...”

Все сделали вид, что ничего не заметили, и Гранин тоже. Но я Конецкому не завидую.

Как-то летом, встретив писателя Н., Гранин рассказал ему, что вдова замечательного поэта Вагинова живет впроголодь. Единственный человек, который ее иногда поддерживает, — Николай Семенович Тихонов.

Гранин спросил:

— Может быть, и вы, Г. С., примете участие в благородном деле?

Услышав это, мы с Лилей так и взвыли:

— А сам?

Н. даже удивился: "Ну что вы!" И добавил:

— А какая картина Филонова висит у него в гостиной! Бесценная!

— За сколько же он ее купил?

Н. помялся, с опаской покосился на стенку, за которой жили Ритхеу, и сказал шепотом:

— Он не покупал, это подарок. Он получил его за то, что помог сестре Филонова устроиться в хороший инвалидный дом.

Помню, я сидел в коляске у ворот комаровского кладбища. Друзья, сопровождавшие меня, пошли поклониться Ахматовой, а я дожидался, положив руку на мохнатую голову Гека.

Это был первый ясный день после дождливой недели.

Вдруг я услышал голос:

— Лева, вам помочь?

Я поднял глаза: Гранин. Чего это он?

— Да нет, спасибо, — ответил я, недоумевая.

Он кивнул и отправился дальше.

И тут я заметил, что подушечка, которую мне подкладывают под бок, выскользнула, упала и лежит в грязи.

Так вот он о чем!

— Гек, подними, — сказал я.

И моя собака охотно мне помогла.

Государство моего духа

МОЯ КОМНАТА —

Мой мир — это моя комната. В каком государстве она находится? В государстве моего духа.

Между ним и соседней державой — открытая граница, и жена ежедневно пересекает ее, отправляясь за книгами и за продуктами.

Въезд к нам — без визы, но есть и персоны нон-грата. Территория для них, конечно, запретна, но, как и во все страны, засылаются иногда шпионы и лазутчики, и распознать их удается не сразу.

Диверсий, слава Богу, пока еще не было.

Мое государство не покоится на прочной финансовой основе. Оно бедное — беднее, чем Израиль. Мы целиком зависим от могучего соседа, и внешне нам приходится под него подлаживаться.

Наш сосед — великая страна с тысячелетней культурой: эта культура прекрасна, она входит во все наши поры, она воздух, которым мы дышим, но, к сожалению, зубы нашего соседа находятся слишком близко от моего горла.

Но я пишу и думаю все, что хочу. Хотя, разумеется, не

печатаю. И соблюдаю меры предосторожности. Недостаточные. Иначе я не могу.

И мои друзья, мои умные золотые друзья качают головами:

— Смотри! Вспомни о Чехословакии. Все до поры, до времени.

Но я ничего не в силах переменить.

КАКОЕ ЭТО ЧУДО, ЧТО Я УСПЕЛ —

Боже мой, Боже мой, что я делаю — зачем я пишу прозу?

В суматохе переезда на новую квартиру, кошек, вещей, наспех беспомощно исписанных страниц, в меня вдруг откуда ударили две строки:

Господи, помилуй! Господи, помилуй!

Боже, дай подняться, дай собраться с силой.

Я лежал, я ничего не подозревал, а на меня обвалом пошло стихотворение — сразу, строка за строкой, и тут же стало теряться, пропадать. Сперва я ничего не сообразил, потом вскочил, выхватил тетрадь, но оно уже уходило и я не успевал — всюду оставались пропуски. Но я накрепк память и вот — почти все они заполнились.

Неужели я успел? Какое это чудо, что я успел!

Господи, помилуй! Господи, помилуй!

Боже, дай подняться, дай собраться с силой.

Я тебя не видел, я тебя не знаю...

Дай прожить, ладони кровью не пятная.

Огради от злобы, охрани от муки,

Я тебе целую сморщенные руки.

Даже если вправду нет тебя, Владыка,

Упаси от раны, удержи от крика.

Сжался надо мною, сделай землю милой...

Господи, помилуй! Господи, помилуй!

Для чего я пишу прозу?

О БОГЕ —

Верю ли я в Бога? На этот мучительный для меня вопрос я отвечаю отрицательно.

Но горюю и завидую, потому что верующим легче.

Я поэт, я знаю, что такое подсознание и интуиция. И все же главное для меня — понять.

И я изо всех сил старался понять.

Я перебирал в уме десять заповедей: не убий, не укради, не пожелай жены ближнего своего... И недоумевал: ведь это кодекс любого порядочного человека.

А люди глубоко верующие крали, желали жену ближнего своего, устраивали войны, и два священника именем Божиим благословляли каждый свою армию.

Я жадно расспрашивал верующих. Они не обижались, но отвечали:

— Сначала надо уверовать, а не понять. Понимание придет потом. А если не придет, это тоже не имеет значения. Главное — вера.

Лишь один человек (довольно цинично) попробовал объяснить:

— Вот предположите, что вы евнух, а я нет — и перед нами обнаженная женщина. Сумеете ли вы понять мои ощущения?

— Да, — ответил я, — сумею. У нас с вами есть общее — язык. Вы мне обо всем расскажете. Ощутить не смогу, а понять смогу.

Я прочел изумительную книгу отца Сергея Желудкова "Почему и я христианин?" Меня потрясло, с каким бесстрашием и с какой честностью он собрал в начале книги аргументы противников религии.

Я убедился: человек вышел на бой с открытым забралом.

Но когда началась эта схватка, она началась с того же:

— Сперва надо уверовать.

И я продолжаю задавать себе и другим все те же вопросы:

— Почему умирают маленькие безгрешные дети? Почему

войны? Почему вчера в нашей парадной злодей убил женщину? Почему Бог это допускает?

Кто-то привел мне мысль Бердяева, что Бог не околоточный. И добавил:

— Человеку дана свободная воля.

Но если Бог равнодушен к моей судьбе, во всяком случае, пока я не уверю, да в общем-то и потом, то какая разница, существует он или не существует?

Я понимаю, что с точки зрения верующих я кощунствую. Но я не хочу кощунствовать. Я просто пытаюсь понять.

Я знаю изречение: "Не мудрствуйте лукаво!"

Но если Бог дал мне свободную волю, то он дал мне и разум. Дал ведь для чего-то? Почему же я не имею права размышлять?

Меня упрекают:

— Ты хочешь создать Бога по своему образу и подобию, ты хочешь, чтобы у него были твои понятия о добре и зле.

Разумеется.

Если есть Бог, которому для каких-то иных, высших, непонятных мне целей нужна смерть невинного ребенка, то он мне просто враждебен, и дай Бог, чтобы его не было.

Не трогает меня и мысль повторяемости жизней. Если я являлся в прошлых своих превращениях Наполеоном, деревом или тигром, но не могу соединить это памятью воедино, то что мне с того?

Не волнует меня также идея, что я частица мирового духа. Умру — увижу. А пока — почему это должно меня утешать? Какой с этого толк?

Я не могу, к сожалению, читать философии, тем более религиозной. У меня иной склад ума.

Я спросил:

— Кого мне прочесть из философов? Кто легче?

Мне посоветовали Спинозу.

Это было действительно совсем просто. Но где-то на третьей странице внимание отвлеклось, и я потерял одну мысль. Одну — а все здание рухнуло. Выпало логическое звено, и цепь разорвалась и обесмыслилась.

Я почувствовал безмерное уважение к философии и страх перед ней.

Геннадий Гор без конца рассказывает мне суть бесчисленных философских учений. Я слушаю его всегда с острым интересом, хотя наутро все путаю и забываю.

Но и он однажды сказал мне:

— Истин много. Поэтому в философии я ищу не истину, а красоту.

Возвращаюсь к религии.

Повторяю: мое неверие — мое горе. Для меня Бог — это лишь символ нравственного начала. Я следую всем десяти заповедям. Я не краду, не желаю жены ближнего своего (вероятно потому, что люблю свою), не совершаю подлостей, борюсь, как умею, со злом.

Мне говорят:

— Значит, ты верующий.

Но я-то знаю, что это не так.

И все-таки, я неотрывно об этом думаю, постоянно пишу. Вот и сегодня:

Почему от слова "плачет"
Перехватывает дух?
Разве это что-то значит —
На бумаге и не вслух?
Почему от слова "горе",
Позабыв тропу свою,
Я, как дуб на косогоре,
Опечаленный стою?
И других оберегая,
Я себя не уберег.
Вот пишу, стихи слагаю...
Почему от слова БОГ...

ПОКА СУЩЕСТВУЕТ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ —

Недавно Габриэль Маркес заявил, что не напишет ни одной художественной вещи, пока у власти в Чили находится Пиночет.

Когда я прочел об этом, мне, несмотря на трагизм ситуации, стало смешно. Ну не будет писать Маркес, а Пиночету-то что? Он, небось, и имени такого не знает. А если и знает... Пáлах вот сжег себя заживо, а советские войска даже не пошевелинулись.

Помню сразу после войны лихую молодежную пьянку. Один молодой поэт заявил на этой пьянке, что пока существует советская власть, он не сочинит больше ни строчки. А потом заснул, и наутро честно ничего не помнил.

И продолжал писать стихи. А его продолжали не печатать. И не печатают до сих пор. И не будут, пока существует советская власть.

Вот так-то!

НОМЕР —

В цирке, когда на арену с дурацким смехом выбегали клоуны — толкали друг друга, падали, обливались водой, — Цветаева закрывала Але глаза руками:

”Не смотри! Нельзя смеяться над человеческим унижением!”

Я тоже не принимаю буффонады.

Как-то по телевизору выступал молодой интеллигентный человек-клоун.

Он сказал:

— Главное в нашем деле — найти номер. Я искал целый год и вот, наконец, нашел. Сейчас я вам его покажу.

Он надел автомобильную камеру. Упал. Камера его подбросила и он встал на ноги. Упал снова и камера его опять подбросила. Так он сделал несколько раз. Это и был номер.

— На что он потратил год? — думал я. И мне было стыдно смотреть.

Вероятно, я ничего не понимаю.

ПЕСНЯ О КОМСОМОЛЕ —

Однажды ко мне позвонил композитор Олесь Чижко, автор бездарной оперы "Броненосец Потемкин":

— Хочу написать песню о комсомоле, но у меня нет текста. Владимир Аронович посоветовал обратиться к вам.

Сочинять заново я не хотел (уж больно противно), но деньги были нужны и, порывшись в своих бумагах, я откопал подходящий барабанный текст десятилетней давности, кончавшийся словами Маяковского: "Коммунизм — это молодость мира, и его возводить молодым!"

Через несколько дней Володя с некоторым злорадством передал мне, что его приятель Виталий Ф., встретившись с ним в филармонии, спросил:

"Ты дружишь с Друскиным и уверяешь, что это приличный человек? Странно! Он тут такие стихи написал..."

Мне не довелось познакомиться с Ф., но если он когда-нибудь прочтет эти строки — низкий ему поклон. Он пристыдил меня на всю жизнь. Больше я так не поступал ни при каких обстоятельствах.

ЭТО КАК-ТО НЕХОРОШО УСТРОЕНО —

Суждение современников не может быть беспристрастным.

Самый великий норвежский писатель Кнут Гамсун стал квислинговцем. После войны огромная толпа сограждан пришла к его дому. Нет, расправы не было — просто каждый в знак презрения швырял через ограду его книгу.

Я представляю, как росла гора этих книг с бессмертными названиями на обложках, как Гамсун — гордость и кумир нации, — спрятавшись за штору, смотрел в окно (не мог же он — великий художник — не смотреть на такое!), а вот, что он думал, — не знаю. Да и не хочу знать. Время все спишет. Останутся лишь вечные книги. Но это как-то нехорошо устроено!

Время зачеркнет и подпись Шостаковича под заявлением, осуждающим Сахарова. Останется только музыка.

А я не могу ее слушать. Я современник. Для меня он еще и живой человек. Для меня подлость гения заслонила красоту его творений.

Господи, да ведь должна же быть хоть какая-то прижизненная кара!

А музыка — что ж! — она не виновата.

Не виновата? Но, значит, гений и его создание — разное?

Подумаешь, какая новость! А я что — не знал?

Знал, конечно. Но как-то это нехорошо устроено.

ЗАЧЕМ? —

Глаза даны, чтобы видеть, уши — чтобы слышать. А тут не видят, не слышат, не внимают.

Ужас и отчаяние. Ведь погибнем же! Мы, дети, внуки, города, библиотеки.

А если мы одни во вселенной? Кто после нас? Крысы? Они, кажется, не боятся радиации.

Гуманоиды? Зачем?

Наше поколение вложило свой кирпич в мироздание. Мы умрем. Это печально, но понятно.

Пушкин писал:

”И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас”.

Только такой светлый гений мог написать о смерти ”в добрый час”. Он понимал: всем места не хватит, нужна смена поколений — в ней бессмертие, вечная жизнь, продолжение.

Но я все чаще думаю о всеобщем безумии.

Моцарт, Леонардо, Эйнштейн — были ли они? Для чего они были?

Все равно нельзя убить, не получив ответного удара. Убийца неизбежно убьет себя.

Музыка — ни звука, великие мысли — ни следа, великие сооружения — во прахе. Память? Ее тоже не будет.

И я кричу: зачем?

Если где-то на крыши
Опустилась печаль,
Слышу, Господи, слышу,
Жаль мне, Господи, жаль.
Если мимо

незрячий

Идет человек,
Плачу, Господи, плачу —
Не утихну вовек.
Я, как рана сквозная,
Весь прикинул к ножу...
Знаю, Господи, знаю —
От рыданий дрожу.
Все небесные грозы,
Все земные моря —
Это, Господи, слезы,
Это мука моя.

ЧТО СО МНОЙ МОГУТ СДЕЛАТЬ? —

Прости меня, моя книга: я изменял тебе целых десять дней. Я сочинил стихотворение (это уже отступничество), а остальное время провел в праздности и болтовне.

Мне нельзя позволять себе это — я ведь и так вряд ли успею написать тебя.

И потом, все меня спрашивают: боюсь ли я?

Что со мной могут сделать? Ну выгонят из Союза писателей, отнимут дачу, подадут в суд за клевету (люди-то живы!), перестанут печатать, предадут газетной анафеме.

Квартиру и пенсию вроде бы отобрать не могут.

А посадить? Маловероятно.

А в психбольницу до конца дней моих? Вполне возможно.

Боюсь, конечно боюсь.

Но больше боюсь умереть, не дописав.

И ужас перед расплатой (почти неизбежной) отступает перед этим страхом.

ЗВЕЗДОЧКИ —

Откуда берется у гениев абсолютное чувство композиции? Ведь "Пиквикский клуб" писался и выдумывался к еженедельным газетным выпускам. А какое совершенное здание возникло!

И потом названия... Как много значат названия! Вот читаешь, например, "Арктур — гончий пес" и сразу знаешь, что рассказ хороший.

А я не умею называть — у меня над всеми стихами звездочки. И книжки так названы — "Стихи", "Стихотворения", "Стихи".

И статьи я не умею писать, потому что мысль выкладываю сразу. Напишу полстранички и вроде бы уже и говорить нечего. А развивать, поворачивать, кружить вокруг да около — не получается.

Часто, читая чужую статью, я тоже не могу понять: да о чем она, собственно?

И все время слышится чеховское: "Они хотят свою образованность показать".

НА КОГО Я ПОХОЖ? —

В юности друзья говорили, что я похож на Багрицкого — поза, копна волос, романтическая внешность.

Потом я растолстел и стал похож на Бальзака.

Виктор Некрасов сказал, что я удивительно напоминаю его покойного друга — Марка Щеглова.

Писатель Михаил Слонимский, послушав мои стихи, развел руками и довел до моего сведения, что и голосом и манерой чтения я почти не отличим от Мандельштама.

И, наконец, в Коктебеле, у Волошинского дома случайный прохожий остановился и спросил:

— Простите, вы не родственник Эммануила Казакевича? Я друг их семьи, видел его много раз. Вы — как две капли воды.

Самое забавное, что все эти люди совсем не походят друг на друга.

На кого же я похож? Может быть, все-таки на самого себя?

СПОР С СЕРГЕЕМ —

Кто мой адресат? Для кого я пишу?

Там — неинтересно, здесь — все знают.

Думаю, что не все.

Память человека беспринципна и коротка. Она сохраняет горы мусора, забывая подчас острые штрихи, определяющие эпоху.

Вот с этикой действительно сложно. Весь вечер мы яростно спорили с Сергеем. Он пошатнул меня, а я его.

Имею ли я право писать о Рытхеу? Он мой сосед и сам идет в руки. Он поворачивается то одним, то другим боком, словно нарочно подставляется.

Он такой, как есть, и не ждет подвоха, иначе бы он стер меня в порошок.

Лучший друг Эдгара По написал о нем книгу. Влюбленный в По, он говорил о нем все — и хорошее, и плохое. Он хотел, чтобы образ был живым и объемным, он говорил только правду. И вот, — уверяет Сергей, — великого писателя уже сто лет не могут отмыть от этой правды.

А надо ли отмывать? Зачем делать из человека ангела?

И я возражаю Сергею: о чем же я вообще имею право писать? Да никому из людей, населяющих эту рукопись, и в голову не приходило, что они могут стать персонажами. Поэтому никто не притворялся.

Я был безопасен — я писал стихи, а не прозу.

А теперь я пишу все обо всех, ничего не выдумывая. И, вероятно, в этом присутствует элемент предательства.

Но Шкловский — он и есть Шкловский. А Рытхеу — он и есть Рытхеу.

Неужели над моей душой будет постоянно торчать внутренний цензор и долдонить: не упоминай, обидишь; это мы знаем и без тебя; этого никто не помнит, да и не нужно; это неинтересно; а вот это, пожалуйста, — попробуй.

Не хочу, не могу, не буду!

Всю жизнь я ходил под чужим контролем и освобождаюсь от него, неужто только для того, чтобы терпеть свой собственный?

Я просыпаюсь по ночам, потому что боюсь забыть приснившуюся фразу. Меня несет сумасшедшая, неистовая волна.

Потом, когда допишу, — перетряхну, разберусь, рассортирую.

Но потом, потом, когда закончу эту книгу, которая никогда не окончится.

МОЯ КОМНАТА —

Однажды Наташа Березина принесла справочник. Там сказано, что в нашем доме была когда-то гостиница дилижансов. В ней, возвращаясь из ссылки, останавливался Герцен со своей молодой женой. Дом сохранился полностью.

Этаж не указан, но я всем говорю, что это было на третьем, и уверяю, что их кровать стояла в нашей комнате.

В углу — большая изразцовая печь, похожая на камин. Сейчас паровое, а раньше она топилась из коридора. Если внимательно ее выстукать, два изразца звучат совсем по-другому. Лиля утверждает, что за ними клад, а я думаю, что там спрятана неизвестная рукопись Герцена.

Потолки у нас высокие, лепные, в дверь вставлено художественное стекло с тонким узором. При нашей в общем-то бедности это особенно прекрасно.

Тридцатиметровая комната находится в центре огромной захлавленной коммуналки. Нас вселили в нее на год, до подхода отдельной квартиры, но мы застряли в ней, как это обычно и бывает, уже на целых десять лет.

Это самые счастливые годы моей жизни.

”Я в комнате моей, где луч заката бродит —
У пристани своей, у берега своего...”

На стенах висят картины, подаренные Зямой Эпштейном. Недавно у него был вернисаж и Лилия увидела почти такую же картину, как у нас, и цену — триста семьдесят шесть рублей. Она была настолько ошеломлена, что дома, решив позвонить кому-то, стала набирать: триста семьдесят шесть...

По вечерам у нас собираются друзья. Иногда приходят поэты и музыканты. Однажды привели целый квартет.

Наш сосед, алкоголик Сергей, сказал:

— А мой отец тоже хорошо играл на рояле — даже двумя руками.

Между окнами — старинные французские часы благородных очертаний, доставшиеся Лиле от бабушки. На прокатном пианино — будильник попроще. Он неказистый, но зато играет вальс ”На сопках Маньчжурии”.

У нас нет детей, но наша кошка Бишка родила здесь двадцать пять котят, а наш пудель Гек считает себя в комнате главным.

На низком полированном столике, уже сильно поцарапанном, я написал свои лучшие стихи. Ночью у моего плеча — сонное дыхание жены, которая создала мой покой, мой уют, мое счастье.

Но как оно непрочное, это счастье!

Я живу в прекрасном и яростном мире Платонова, в страшном мире Блока, и ярость этого мира то и дело швыряла меня на острые выступы.

Я живу с израненными боками, с израненной волей. Даже если взять эти мои десять самых счастливых лет, в них было столько горя, что его хватило бы на двести маркизов.

Мой покой не вечен!

Мудрые и добрые книги, лежащие передо мной, тоже предупреждают меня об этом: о бренности, о шаткости, о предстоящем.

”В песчаных степях аравийской земли
Три гордые пальмы высоко росли.

.....

А ныне все дико и пусто кругом —
Не шепчутся листья с гремучим ручьем.
Напрасно пророка о тени он просит,
Его лишь песок раскаленный заносит”.

Что разобьет мой уют, какое горе — инфаркт, война, государство, злой человек?

А впрочем...

”Зачем
Об этом думать? Что за разговор?
Иль у тебя всегда такие мысли?”

Нет, не всегда. Почти никогда. Я живу, пишу, читаю, люблю. И пусть что будет, то будет!

Бог порога, Бог двери
И Бог очага,
Вы со мной — не поверю
Ни в какого врага.
Вы со мной, мои Боги,
И беда моя спит...
Кто-то встал на пороге,
Кто-то дверью скрипит.
Не отпряну, как птица,
Ничего не скажу —
Не ударю убийцу,
Не поверю ножу.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

— Ваша национальность? — Заключенный

ПОМНИШЬ, КАК МЫ С ТОБОЙ В МОСКВЕ МЕТРО ВЗРЫВАЛИ ? —

— Ваша национальность?

— Заключение.

Этот ответ войдет в историю.

Так сказал на суде Александр Гинзбург, названный Натальей Солженицыной одним из самых светлых людей планеты.

Весь седой, в сорок лет превратившийся в шестидесятилетнего старика, он в своем последнем слове, перед враждебным залом (ни одной родной души — только кагебешники и ударники коммунистического труда), после укола, сделанного по настоянию врача для поддержки сердца, тихим голосом проговорил:

— Пользуюсь последней возможностью передать свой привет и солидарность моему другу Анатолию Щаранскому.

Наталья Солженицына выразила общую ужасную мысль: "Гинзбург тяжело болен. Всем ясно, что это не восемь лет лагеря, а смертный приговор".

Когда его увозили, друзья на улице закричали: "Алик! Алик!", как когда-то кричали: "Ося! Ося!"

А когда увозили Щаранского, его восьмидесятилетняя мать зарыдала, а Сахаров не выдержал и голос его вознесся над толпой:

— Фашисты! Убийцы!

А какие рыцари, какие богатыри духа!

Чуковский сказал о Солженицыне, когда того вызвали в секретариат Союза писателей и он бесстрашно предстал перед чертовой дюжиной секретарей:

— Да я бы бухнулся на колени: "Секретари! Отпустите душу на покаяние!" А он...

Буковскому, спустившемуся по трапу самолета в Цюрихе, задали первый вопрос:

— Как вы относитесь к обмену вас на Корвалана?

Он ответил:

— Я счастлив за товарища Корвалана.

Гинзбурга (еще до ареста) спросили:

— А семьям сидящих в лагере стукачей вы тоже помогаете?

Он удивился:

— Конечно. Ведь их дети не виноваты.

Викторас Пяткус, которого силой втащили в зал, в знак протеста и презрения к суду, лег на скамью подсудимых и заснул.

Зачем я об этом пишу? Об этом вопят все западные газеты. Мир сотрясается от горя и ярости. А, может быть, потрясутся-потрясутся и перестанут, как прежде с Чехословакией? И в книге моей придется делать сноску:

"Юрий Орлов — советский диссидент, арестован тогда-то, был судим в таком-то году, приговорен к такому-то сроку отбывания в лагерях особого режима".

А еще я пишу об этих людях, потому что они мне братья, независимо от того, знаю я кого-либо из них или нет. И, встретившись, мы поняли бы друг друга с первого взгляда — прежде первого слова.

.....

Вернулся П. из Калуги и рассказал, как все было.

Чтобы запутать друзей, сбили расписание электричек, а некоторые маршруты отменили. Представителям иностранной прессы не разрешили пользоваться автомобилями, и они вынуждены были добираться по железной дороге.

У здания суда собрались две толпы. Первая — поменьше и подальше — друзья Гинзбурга, среди них академик Сахаров. Пространство перед ними заполняла другая толпа, клокочущая как гейзер — натасканная и науськанная.

Раздавались выкрики: "Вешать жидов!" и требования повесить Гинзбурга.

Друзей Алика толкали, провоцировали, осатаневшие старухи плевали им в лицо.

У самого здания растянулись две цепи милиционеров, не обращавших на эти провокации никакого внимания.

В дверях стояли четверо в штатском: плечом к плечу, живое ограждение — намертво.

Ждали долго, неотступно, до горького конца суда.

А вот как Гинзбурга увозили. Сперва стремительно промчался крытый фургон. За ним, через малое время, черный воронок с решетками на окнах. Потом на той же скорости пронесся еще один воронок. Затем так же стремительно какой-то полупикапчик.

Каждой машине друзья кричали: "Алик! Алик!"

Наконец медленно и нагло выехал последний воронок. Он остановился. Вылез ухмыляющийся милиционер и открыл задние дверцы. Внутри стояли ящики с кефиром.

Так они потешили свою хамскую душу.

Перед этим по улицам Калуги прошла демонстрация. Участники ее орали: "Бей жидов!", приплясывали, кривлялись и делали непристойные жесты. Легко было с первого взгляда определить, что шествие состояло из уголовников.

Откуда их столько набрали? Выпустили на денек из тюрьмы?

Всю дорогу (из Ленинграда в Москву и от Москвы до Калуги) П., бывшего политзаключенного, сопровождали стукачи — нахально, в открытую.

Приставали:

— Так поедешь или в картишки сыграем?

В Калуге один из них спросил:

— Почему цветочки покупал?

П. не ответил.

— Продай цветочки-то!

П. молчал.

Тогда стукач сказал:

— А помнишь, как мы с тобой в Москве метро взрывали?

На обратном пути тот же стукач наклонился к П., обдавая его сивушным перегаром:

— Надоел ты нам. Хоть бы уезжал скорее!

Когда П., у которого был законный отгул, возвратился на сто первый километр, в Лугу, на предприятие, где он, человек с высшим образованием, работал слесарем, его вызвал парторг.

Он так и начал:

— Я, как секретарь парторганизации...

П. оборвал:

— Я в вашей партии не состою.

Секретарь обозлился:

— В таком случае, я буду разговаривать с вами, как начальник отдела кадров.

— Пожалуйста.

— Куда вы ездили?

— Вы же знаете.

— Мы будем жаловаться в КГБ.

П. засмеялся:

— Да вам же оттуда и звонили.

Секретарь окрысился:

— Это вас не касается.

И пригрозил:

— Смотрите, если еще что — уволим.

П. пожал плечами, повернулся и вышел из кабинета.

Я клянусь тебе, век двадцатый
С хищно поднятой львиной лапой,

Что ни вождь, ни палач не смогут
Рот заткнуть моей мысли кляпом.
Что не буду праздновать труса,
Сторониться бури не стану,
Даже если судьба моя хрустнет,
Как у Осипа Мандельштама.
Объявляю войну запретам,
Чтобы подлость расстреливать словом.
Лучше быть в Магадане поэтом,
Чем в Москве стихоплетом дворцовым!

АХИЛЛ —

Вот случай, достойный античной трагедии.

Пришли арестовывать писателя Ахилла Левинтона. Жена с грудным ребенком на руках металась по комнате, собирая ему вещи.

Он нагнулся и что-то тихо шепнул ей на ухо.

Офицер КГБ, руководивший обыском, заорал:

— Что вы сказали?

Ахилл поднял голову и ответил смущенно и просто:

— Я сказал ей, что люблю ее.

МИКАДО —

Лауреат государственной премии Давид Кугультинов, сидевший в сталинское время, потому что по национальности он калмык, рассказывал:

”Однажды в нашу камеру впихнули темного полуграмотного адыгейца, которого обвиняли в том, что он японский шпион.

Чуть ли не каждый день его тащили на допросы и свирепо избивали, требуя признания.

Когда его вконец измордовали, сокамерники сочувственно посоветовали:

— Да сознайся ты! Ну отсидишь срок, лет пятнадцать

получишь. Но зато живым выйдешь. А так — хана, заму-чают.

На следующем допросе он сознался.

Следователь не отставал:

— С кем же ты поддерживал связь?

Адыгеец покопался в своем бедном уме, вспомнил единственное японское слово и ответил:

— С микадо.

Следователь, такой же умный и столь же эрудированный, обрадовался:

— Где же ты с ним встречался?

Заключенный думал-думал и сказал:

— На базаре в Благовещенске.

С этим обвинением он и получил срок”.

ЦЕНА ОШИБКИ —

В 37-ом году ленинградского художника Крейцера (однофамильца знаменитого скрипача, которому Бетховен посвятил ”Крейцерову сонату”) приговорили к ”вышке”, как английского и французского шпиона.

Ночью его вывели на расстрел, прочитали приговор. И вдруг он услышал фамилию Рейцер. Невнимательная машинистка ударила по клавишам не семь раз, а шесть.

— Это не я, — закричал художник, — моя фамилия Крейцер.

Поднялась суматоха. Осужденного вернули в камеру. Дело послали в Москву на проверку.

Бюрократическая машина крутилась со скрипом. Ответ пришел только через несколько месяцев. Вместо расстрела дали десять лет, которые Крейцер прилежно отсидел.

Прекрасный сюжет для новеллы, не правда ли? Но лучше бы жизнь не подкидывала нам постоянно тысячи таких сюжетов.

НЕ ВЗЯЛИ —

Оглядываясь назад, я часто удивляюсь: почему меня не тронули?

Многих друзей, свидетелей по другим делам, расспрашивали обо мне в Большом доме.

Разумеется, они давали подписку о неразглашении. И наклоняясь к моему уху, шепотом рассказывали мне обо всем.

И все-таки меня не взяли. Почему? Пожалели? Вряд ли. Тогда сплошь и рядом забирали людей и на носилках.

До сих пор не понимаю!

И до сих пор твержу себе: от тюрьмы да от сумы не зарекайся!

ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ —

Но разве тюрьма — самое страшное?

Мой знакомый, психиатр С., с грустью говорил:

— Наша профессия становится опасной.

Другой психиатр, которого я видел в комаровском Доме творчества, профессор А., седой благообразный негодяй, сделал "открытие": здоровые люди обладают чувством самосохранения. А диссиденты — нет. Следовательно все они психически ненормальны.

И ведь не вывернешься!

Во время обыска Наталья Горбаневская держалась спокойно, и только, когда с полки сняли книжку, надписанную Ахматовой, вспыхнула и бросилась отнимать.

Диагноз — шизофрения.

Ольга Иофе, когда ее увозили в больницу, четко помнила об опасности, не хотела давать врачам козырей, не сопротивлялась, не показывала волнения.

Кого пыталась перехитрить?

Врачи сказали:

"В подобной ситуации здоровый человек не может быть равнодушным, он должен переживать, волноваться".

Диагноз: вяло текущая шизофрения.

И хоть о стенку головой бейся — не поможет!

ПЕТЯ СТАРЧИК В КАЗАНСКОЙ СПЕЦПСИХБОЛЬНИЦЕ —

Врач:

— Откажитесь от своих бредовых идей, это и есть путь к выздоровлению. Не спорьте, подумайте хорошенько. А то придется лечить.

За две недели несколько раз вызывают в кабинет, уговаривают.

Потом с каким-то даже сожалением:

— Ну что ж, будем лечить.

Старчик рассказывает:

— Сопровитвляюсь, но борьба напрасна. Два дюжих санитара перехватывают горло полотенцем, душат. Когда ты уже на грани потери сознания, отпускают, а затем — еще и еще.

Наконец сестра делает укол галоперидола.

Наступает страшное состояние. Все мышцы сокращаются по-разному, тело корежит, слюни до самого пола.

Бегу к врачу.

— Доктор, помогите, не могу больше — снимите лекарство.

— Лекарство тут ни при чем. Это ваша болезнь вас мучает.

— Помогите, сил нет.

— Хорошо, я подумаю.

На следующий день сестра набирает вместо трех кубиков пять.

— Зачем вы это делаете? Я же ходил к врачу.

— Ничего не знаю. Вот назначение.

Товарищи по палате уговаривают:

— Не ходи к врачу, хуже будет.

Но у меня уже нет ни воли, ни собственного "я".

Стучу в дверь кабинета. Врач вежлив, даже приветлив.

— Мы же хотим вам добра.

Умоляю:

— Снимите лекарство. Сил нет.

— Хорошо. Я подумаю.

Наутро доза опять увеличивается. Я уже так ослаб, что сестра обходится без санитаров.

От передозировки почти каждый день кто-нибудь падает — кома.

К нему бросаются, колют кардиамином, массируют грудь — стараются вытащить на свет для новых мучений. Но это удается не всегда.

Диагноз — сердечная недостаточность.

— Петя, — говорю я, — если теряется личность, подавляется воля, почему вы не отрелись?

Он улыбается:

— Видимо, что-то все же остается. А, может быть, нам помогает Бог.

СКОЛЬКО ИХ ? —

Сколько их, этих людей — бесстрашных, пренебрегающих презренной пользой, отдающих душу свою за други своя?

Не знаю, немного.

Но сколько бы их ни было, это лучшие люди, встреченные мною на земле.

И иногда, в счастливые минуты, мне кажется, что я тоже один из них (как это несбыточно!), что мы сошлись вместе, понимаем друг друга с первого взгляда, прежде первого слова, и я читаю им свои стихи:

Еще нас ждет удача или слава,
Еще поет нам песни Окуджава...
Что из того, что прошлое в крови?
Нам хорошо. Не сломлена отвага.
Поговорим о бурных днях ГУЛАГа,
О Пушкине, о дружбе, о любви.

ВЫПЬЕМ ЗА АКАДЕМИКА ! —

В трудные дни, когда выслали в Горький Андрея Дмитриевича Сахарова, на его московской квартире собрались друзья. И один из них произнес тост, который я запомнил на всю жизнь.

Он сказал:

”Мы собрались здесь в бывшей столице Советского Союза — бывшей, потому что столица страны находится там, где бьется ее сердце.

Выпьем за Академика!”

Голос предков

ДЕЛО ВРАЧЕЙ —

Сначала убили Михоэлса. Вероятно, он был слишком крупной фигурой, и Сталин, который ничего не боялся, на этот раз не то чтобы испугался, а почему-то не захотел все-ленского шума и решил схитрить.

Михоэлса похоронили с почетом, но гроб не открывали, настолько было изуродовано тело. Причину смерти не сообщили — скоропостижно скончался.

Я часто представляю себе эту ночь — ночь длинных ножей. Грязная белорусская дорога. Подкупленный правительством шофер останавливает машину. Подкупленные правительством бандиты (местные или командировочные — из Москвы) вытаскивают великого артиста в ночь, на дорогу, как вытащили бы весь еврейский народ — и ножами, ножами...

Да так, чтоб не сразу, чтоб подольше не умирал.

Вся страна знала, что Михоэлса убили. Знал и весь мир. Но не ссориться же из-за этого с Советским Союзом.

Тогда, закончив проверку, Сталин отдал второй тайный приказ. И началось "дело врачей".

Я хорошо помню эти дни. И всегда удивляюсь той душевной готовности, той радости (не нахожу другого слова), с которыми встретило это мерзкое дело широкое население страны.

Недаром советская власть с конца войны так старательно культивировала антисемитизм.

Статья "Убийцы в белых халатах" обошла все газеты. В центральной прессе публиковались благодарности Лидии Тимашук, раскрывшей заговор. "Доченька, — писали ей, — спасибо, что ты спасла нас от этих извергов".

Ежедневно печатались сообщения о жуликах, ворах и расхитителях. Нет, никто не сообщал их национальности, но фамилии не вызывали сомнений. Об этом хорошо — у Слуцкого:

"Я вставал с утра пораньше, в шесть,
Шел к газетной будке поскорее,

Чтобы фельетоны про евреев
Медленно и вдумчиво прочесть”.

В поликлиниках тянулись длинные очереди к русским врачам, потому что ”еврейские врачи нарочно ставят неверные диагнозы, а детям прививают рак”.

Я лежал тогда в больнице, курс лечения не был закончен, но заведующая отделением — пожилая добрая женщина — пряча глаза (и то слава Богу!), сказала, что вынуждена меня выписать: койка нужна другому.

И я не посмел возразить, не посмел крикнуть: ”Вы делаете так потому, что я еврей!” Ведь это была бы клевета на советскую власть.

Вообще нельзя было показать и виду. Оскорбления сыпались, на улицах, в магазинах; в коммунальных квартирах евреи жались по своим комнатам.

Знаю такой случай. Девушка-консерваторка, ехавшая в трамвае с виолончелью попросила кондукторшу подойти, чтобы купить билет. Та ответила: ”Сама подойдешь, жидовская гадина!” Девушка подошла сама и ударила кондукторшу по лицу. Состоялся суд. Пассажиры выступили свидетелями обвинения. Студентку исключили из комсомола, выгнали из консерватории, дали три года за хулиганство.

Судьба ее была сломана навсегда.

Между тем, дело двигалось. Газеты, обнаглев, писали уже, что, как выяснилось на следствии, сионистская организация ”Джойнт” передавала приказы об убийствах, в частности, через артиста Михоэлса.

Был разгромлен еврейский театр, целиком арестован еврейский антифашистский комитет (Зускин, Перец Маркиш, Квитко).

А какая чистая душа была у Квитко, какие удивительные детские стихи его переводил Маршак!

”Климу Ворошилову
Письмо я написал:
”Товарищ Ворошилов,
Народный комиссар...”

Не помог поэту Клим Ворошилов и письмо никакое не дошло — увели, убили...

А врачи, как и всегда у нас бывало, сознались во всем. Приближался процесс. Ходили упорные слухи, что общественным обвинителем будет Илья Эренбург. Хочу верить, что это клевета.

Готовилась короткая звериная расправа. Где-то (то ли в тайге, то ли на Крайнем Севере) спешно строились бараки. Сразу же после суда всех евреев должны были выслать туда, "чтобы спасти от справедливого гнева советского народа".

Выручить их — их, нас, меня — могло только чудо. И оно совершилось: 5 марта 1953 года умер Сталин.

В тот день я — неверующий человек — написал стихи:

Мелькает огонек зеленый
И машинист угрюмо ждет,
Пока рассадят по вагонам
Тот Богом проклятый народ.
Но Ягве на расправу бурям
Не даст народа своего,
И умирает в ночь на Пурим,
Кто руку поднял на него.

Я понял, а многие не поняли. Мы так долго находились под гипнозом этого имени, что в день всенародного траура, в счастливый день его смерти, евреи говорили друг другу: "Теперь все, теперь мы окончательно пропали!" И искренне считали, что ушел их последний защитник.

После вылившихся в Ходынку похорон одним из первых решений правительства была реабилитация врачей. А затем случилось беспрецедентное: указ Президиума Верховного совета о награждении Лидии Тимашук орденом Ленина был отменен, как неправильный.

Вскоре она погибла в "случайной" уличной катастрофе.

Но с горечью вспоминаю, что я опять подивился единодушью антисемитизма. Люди, читавшие на стендах газеты, разочарованно говорили:

— Ну вот, эти всегда вывернутся.

Через десять лет интеллигентная женщина, учительница, сказала мне, еврею:

— А рак детям они все-таки прививали. Я это знаю совершенно точно.

Мы с Лилей буквально хрипели, пытаюсь ей что-то доказать, напоминали о Бейлисе, о Дрейфусе, издевались, стыдили: "Вы же культурный человек, как вы можете!"

На все наши доводы у нее был один ответ:

— Моя подруга тогда никого не послушалась, показала своего сына еврейскому врачу, и через несколько месяцев ребенок умер.

— От рака?

— Диагноз был другой, но его поставил тоже еврей. А умер он, конечно, от рака.

И хоть кол на голове тещи!

ХАЙЛЬ ГИТЛЕР! —

Мой знакомый Леня Урман женился на польке. Городок, где они жили, находился неподалеку от Освенцима.

Леню можно отнести к тем, к сожалению, уже немногим людям, для которых еврейская боль — острая незатухающая рана, хотя в сороковые годы его и на свете-то не было.

Почти каждую неделю он ходил в Освенцим поклониться памяти погибших. Это было мучительно, но он не мог себя пересилить — это стало его потребностью, его молитвой.

Однажды он возвращался домой и заметил на вечереющей дороге молодую пару. Он очень обрадовался, так как одиночество становилось нестерпимым, и прибавил шагу.

Парень был смугл и курчав, девушка, судя по одежде, тоже иностранка.

— Откуда вы, ребята? — спросил Леня.

— Мы итальянцы. А ты?

— Я еврей.

И тут случилось непонятное и страшное. Итальянцы при-

нялись хохотать. Они даже за животы хватались — так им было смешно.

Леня стоял в полной растерянности.

И вдруг парень, давясь от смеха, выбросил руку и крикнул:

— Хайль Гитлер!

Леня когда-то занимался каратэ. Он ударил сразу — мгновенная реакция, опередившая мысль.

— Если бы я ударил сильнее, — рассказывал он потом, — я бы наверняка убил его.

Но и этот удар был неплох. Итальянец рухнул, потеряв сознание. Из носа и изо рта полилась кровь. Девушка с воплем кинулась к нему.

Леня, еще более растерявшись, оглянулся и, увидев вблизи лужу, зачерпнул полную шапку и стал лить воду парню на лицо, пытаясь привести его в чувство.

Тот охнул, зашевелился и открыл глаза.

— Поймите, — бормотал Леня, обращаясь к девушке, — я еврей... Я, как и вы, иду из Освенцима... Неужели вы не понимаете?..

Тогда девушка выпрямилась, выбросила руку и крикнула:

— Хайль Гитлер!

И Леня убежал. Он бежал и плакал — от ужаса, от безнадёжности, от этого тысячелетнего кошмара.

А я, услышав его рассказ, еще раз подумал, что я еврей "не по крови, текущей в жилах, а по крови, текущей из жил".

МОЯ ПЛАТФОРМА —

Это произошло на гастролях БДТ в Венгрии.

К народной артистке республики Эмме Анатольевне Поповой во время обеда, шатаясь, приблизился изрядно уже накачавшийся молодой артист Максимов.

— Эммочка, — спросил он (громко, на весь зал), — а как вы относитесь к евреям?

— Ну как же я могу к ним относиться? — пыталась отшутиться та. — Все мои мужья были евреями.

— Нет, позвольте, — не отставал Максимов, — неужели они действительно могут вам нравиться?

Эмма Анатольевна ударилась в слезы:

— Уберите от меня этого хулигана!

На следующий день состоялось собрание. Товстоногов сказал:

— Вчера товарищ Максимов был нетрезв и вел себя недостойно. Я надеюсь, что он извинится перед нами.

Максимов ответил:

— Георгий Александрович прав, вчера я был пьян. Но я не собираюсь отказываться от своих слов: это моя платформа.

Его наказали — отправили в Советский Союз. Но из театра не уволили.

После возвращения некоторые артисты (очень немногие) при встрече отворачивались и не подавали ему руки. Потом стали — даже евреи. (Боюсь, что раньше других.)

У КОЛОДЦА —

В то лето мы жили в Зеленогорске. Пришла к колодцу соседка, гремела ведром, рассказывала:

— Мои-то дачники вчера вечеринку устроили. Проигрыватель включили, а там все не по-русски: гам-гам-гам!

Я в окно заглянула: батюшки — одни евреи! Я думала, они не пьют...

Пьют, проклятые...

ВАША КАРТА БИТАЯ —

Однажды Лиля проходила мимо кухни и услышала, как Сергей объясняет соседям:

— Жида все трусы, потому что они евреи.

Она открыла дверь:

— Кто тут сказал про евреев?

Сергей перепугался и залебезил:

— Ой, Лилюсенька, давайте жить мирно. Я евреев люблю.

— Можете их не любить, — сказала Лиля, — но чтоб больше я этого слова не слышала!

И хлопнула дверью. На кухне погломонили и затихли.

Но не везде и не всегда кончается так благополучно. Застенчивого в квартирных баталиях художника Мишу Беломлинского соседка буквально затравила. Каждый день разносится ее пронзительный голос:

— Если вы еврей, то молчите. И не нагличайте над русскими. Ваша карта битая. Не понимаете?

Миша: Не понимаю.

Соседка: Ну и не понимайте дальше.

Миша прячется к себе, но работать не может, руки дрожат. А в коридоре продолжается вопёж.

РАЗГЛЯДЕЛ —

У нас в комнате белили потолок.

Я спросил у маляра:

— А не посыпется?

— Что вы, — ответил маляр с обидой, — вот были бы вы евреи, тогда бы посыпалось.

Через три дня посыпалось.

Разглядел все-таки!

АУТИЗМ —

У двенадцатилетнего ребенка аутизм. Его ведут показывать в институт Бехтерева.

Профессор Рем Андреевич Андреев, — молодой, красивый — говорит убитым горем родителям:

— Это типичный случай еврейского идиотизма. Вырождение нации. Чем же тут можно помочь, если ребенок еврей?

ЯСНЕЕ ЯСНОГО —

Спрашиваю у Глеба Семенова, соседа по дачному участку:

— Кто это к вам приходил сегодня, Глебушка?

— Миша Гурвич.

— Миша? Я знал его только мальчиком. Говорят, он хорошо пишет.

— Вы знаете, в последние годы — да. Он принес мне престелстную книжечку, вышедшую в издательстве "Малыш". Вот она.

Читаю:

Михаил Яснов.

Пауза.

Глеб (*чуть насмешливо*):

— Вам что-нибудь неясно?

Я (*со вздохом*):

— Ясно. Яснее ясного.

И после новой паузы:

— А "Малыш" — московское издательство?

— Разумеется. В Ленинграде Мишу не печатают даже под псевдонимом.

— Почему?

— Дошел слух, что он помогал укладываться Эткинду.

БЕЗ ОЧЕРЕДИ —

Вернулся Вадим — весь белый. Оказывается, у поворота на нашу тихую улочку, через всё шоссе, мелом на асфальте огромными буквами:

ЖИДЫ!

Да что там мелом!

На многих московских домах (в частности, в Черемушках, где живет Оля Рытхеу) жирной зеленой краской нама-левано:

"Бей жидов — спасай Россию!"

И это не в старые добрые времена Союза Русского Народа, а всего за год до Олимпиады.

Особенно плохо автомобилистам. Реня чуть не плакал: "Да что я, единственный еврей в Ленинграде?" Ему действительно не везло: то ветровое стекло вынут, то фары разобьют, то ругательство напишут.

Один раз, когда на самом видном месте нацарапали: "Жид, убирайся в свой Израиль!", Реня решил отвести душу. Он дождался часа пик и, не торопясь, поехал через весь город на станцию обслуживания.

Его останавливали раз десять, но он невозмутимо отвечал:

— А что я могу сделать? Не я же написал! Сейчас эту мерзость ликвидируют — за тем и еду.

На станции предупрежденные телефонными звонками работяги кинулись к нему и обслужили вне очереди. Но деньги за покраску все же взяли.

Я ЖИДОВКА —

Помню, в ташкентской больнице во время войны лежала молодая польская еврейка. О себе она говорила с достоинством: "Я жидовка". С таким достоинством, что над ней никто не смеялся.

Когда мы пытались объяснить ей, что в нашей стране это грубое оскорбление, у нас ничего не вышло.

"Неправда. Это очень красивое слово".

Она выговаривала его мягко, по-особенному, и звучало оно действительно красиво.

Я ТОЖЕ ЖИДОВКА —

Наша прелестная знакомая — датская художница Дея Триер Мерк, стажировавшаяся в Академии художеств, а до этого прожившая полгода в Польше, подбегала к понравившимся ей студенткам и радостно спрашивала:

— Ты жидовка? Я тоже жидовка.

Мы с Лилей, узнав об этом, повалились от хохота:

— Дзечка, так нельзя!

Она долго не понимала почему, а когда поняла, ужаснулась и кинулась ко всем извиняться.

СВОЯ КОНТОРА —

В Советском Союзе стоматологам разрешено иметь частные кабинеты. Но налог такой, что, как говорится, грабеж среди бела дня. Аренда помещения, инструменты, материалы стоят безумно дорого. Работа налево — тюрьма. Золото — тем более. И хотя государству частная практика выгодна, оно не спускает со своих кормильцев кошачьих глаз.

Натан Букринский рассказывает:

— Открыл я кабинет в Луге. Месяца не прошло, является жирная баба, продавщица из соседнего магазина, высыпает на стол золотые монеты.

— Сделайте, пожалуйста.

— С золотом не работаю.

— Да никто не узнает.

— Нет. Забирайте свои монеты и уходите.

Несколько дней она ко мне таскалась. Потом пропала. И вдруг знакомый говорит:

— Стоит за прилавком, рот в золоте, хвастается, что это ты сделал.

Бегу в магазин.

— Зубы — я вам вставлял?

— Нет.

— А кто?

— Не ваше дело?

— Что же вы на меня клеветеете?

— Подумаешь, клеветеете! И пошутить нельзя.

Разговор громкий. Покупатели слушают с интересом.

Поворачиваюсь.

— Сейчас пойду в прокуратуру и подам заявление, что вы меня оклеветали.

— Иди-иди, жид пархатый!

За углом вижу — догоняет.

— Ведь не пойдешь.

— Почему не пойду? Пойду. Года два получишь.

Вот и прокуратура. Берусь за ручку двери.

Умоляющий голос (уже на вы) :

— Пожалейте. У меня дочка маленькая.

— Тогда иди сама (уже на ты) .

— Да я боюсь.

— Правильно боишься. Тут, кстати, выяснят, откуда у тебя золотые монеты и кто вставил. Пожалуй, двумя годами не отделаешься.

— Натан Григорьевич, пощадите!

Смотрите-ка, имя-отчество вспомнила.

— Ладно, — говорю, — мне не тебя, мне врача подводить не хочется.

И в магазине — по моему требованию — комедия:

— Товарищи покупатели! Оболгала я его. Не он зубы вставлял.

В помещении хохот. Противно. Ухожу. Свидетелей более, чем достаточно.

Как-то под конец рабочего дня вваливается красавец-цыган. Под черными усами белая кипень улыбки.

— Дорогой, сделай мне золотые зубы.

Я обалдеваю.

— Да вы что! Они же у вас один к одному.

— Обычай у нас такой. Уважать больше будут.

— Нет-нет, уходите. С золотом не работаю.

— Отплачу по-царски, на всю жизнь запомнишь.

Это я и без него понимаю.

— Сейчас же уходите!

Он лезет за пазуху и достает огромный золотой крест. В церкви украл или просто на время дали?

— Вот. Зубы сделаешь, остальное тебе.

Зубы — грамм тридцать пять, в кресте — грамм триста не меньше.

Даже обидно, каким дураком меня считают.

— Убирайтесь немедленно! — говорю я.

— Не хочешь — как хочешь.

И он прячет крест обратно за пазуху.

Город маленький. Знакомлюсь случайно (или не совсем случайно) с начальником ОБХСС.

Едем на рыбалку.

Уха, водочка.

Полуобняв меня за плечо, он грозит пальцем:

— А ты хитрый еврей — я тебя сколько раз поддавливал...

Отстраняюсь с почти непритворной обидой:

— За что же вы хотели меня погубить?

Добродушно смеется. Симпатия. Рубаха-парень.

— У тебя своя контора, у меня своя. Преступлений давно нет. Скажут, что плохо работаю.

ПАМЯТНИК —

Недавно Евтушенко опубликовал в "Литературке" статью. Автор сокрушается, почему в Москве еще не поставили памятник поэту Ярославу Смелякову.

А года за три до этого видел я Смелякова на экране телевизора. Он сел к столу, сердито посмотрел в нашу сторону и начал:

— В силу своего таланта, смею думать немалого...

После этой фразы слушать его всерьез мы уже не могли.

Незадолго до смерти Смеляков в узком кругу прочитал стихотворение о том, как бедная русская женщина ходит стирать белье к богатой еврейке.

Заканчивается оно четверостишьем:

"И не знает эта дура,
Моя грязное белье,
Что в России диктатура
Не евреев, а ее".

А правда, и чего это до сих пор не поставлен ему в Москве памятник?

ЭКСПЕРИМЕНТ —

Врач-психиатр говорит приятелю:

— Хочешь, я покажу тебе, как живуч антисемитизм?

Они входят в палату, где на постели сидит человек — ко всему безучастный, уставившийся в одну точку.

— Здравствуйте, — говорит врач.

Больной не отвечает.

— Как вас зовут? — спрашивает врач.

Больной молчит.

— В каком году вы родились?

Молчание.

— Где вы сейчас находитесь?

Никакой реакции.

— Кто я?

И мгновенный ответ:

— Жид.

ВАШ СЫН ПРИНЯТ —

Набирают детей в школу с математическим уклоном. (Математической она становится с девятого класса.)

Директор:

— Какой национальности ваш сын?

Отец:

— Как это какой? Я еврей, мать русская. В метрике национальность не указывается. Исполнится шестнадцать — берет.

Директор:

— Ну а все-таки?

Отец:

— Да что "все-таки"? Я же объяснил! (*раздраженно*): Ну пусть будет русский, какая разница!

Директор (с облегчением):

— Ваш сын принят.

НЕ ПОВЕЗЛО —

А вот отдел кадров научно-исследовательского института. Требуются специалисты. На столе обреченно лежит заявление. Идет беседа — интеллигентная, чуть ироничная:

— С папой у вас всё в порядке — русский, член партии, преподавал марксизм... А вот с мамой не повезло — еврейка.

Объяснили добродушно и на работу, разумеется, не взяли.

ВИЗА —

Лиля ехала в такси по Москве. На коленях у нее была сумка, битком набитая материалами для "Евреев в СССР".

Шофер — огромный мужчина в страшном, негнущемся от времени и грязи пальто довоенного покроя, с волосатыми лапами, с широким корявым лицом (не лицо, а будка) — безошибочным профессиональным чутьем распознал иногороднюю.

Когда они свернули с Охотного ряда на Калининский проспект, он вдруг сказал:

— А вот приемная Верховного совета. Здесь евреи забастовку устраивали.

— Как это забастовку?

— А так — пришли в приемную, и всё. А тут, напротив, — он кивнул на Ленинскую библиотеку, — тоже двое сидели. У меня мимо несколько рейсов было, я их сам видел.

— Откуда же вы знали, что они бастуют? Сидели и сидели.

Шофер удивился:

— Как откуда? Да об этом вся Москва говорит!

— А я из Ленинграда, — сказала Лиля.

— Что же вы, Би-Би-Си не слушаете?

— Мы не можем, — соврала Лиля, — у нас забивают.

— А я люблю, — сказал шофер. — Вернешься со смены, включишь приемник, и все тебе новости — и про Вьетнам, и про Никсона. А про евреев целых три дня передавали.

Лиле стало смешно — особенно, когда она подумала о содержимом своей сумки. Но разговор мог оказаться провокационным (половина шоферов — стукачи) и она продолжала валять дурака.

— Зачем же они бастовали?

— Как зачем? Визу требовали.

— Какую визу?

— Ну, визу, — шоферу явно нравилось иностранное словечко, и он выговаривал его протяжно, отделяя слога, с удовольствием и уважением. — Они хотят уехать, а их не отпускают.

— Зачем же им уезжать? — придуривала Лиля.

Шофер совсем рассердился. Он даже руль выпустил от негодования.

— Ну как вы не понимаете? Они же евреи. Это мы с вами просто так работаем. А они ученые, в НИИ. Вот их и не выпускают, не дают визу.

В его словах не было и тени антисемитизма.

— Да вы что, — спросил он, — и про Сахарова не слышали?

И тут Лиля не выдержала. Ей надоело быть провинциалкой и круглой идиоткой.

— Про Сахарова немного слышала, — сказала она.

— Ну вот видите, — обрадовался шофер. — Жене Сахарова дали визу, а ему нет. И евреев некоторых отпускают. Я их каждый день на аэродром вожу. А других — умных — тех, конечно, подержат.

И снова щегольнул словом:

— Но это не насовсем. Года через три им тоже дадут визу.

Выходя из машины, Лиля щедро выложила лишний полтинник.

ГДЕ ГАРАНТИЯ ? —

Неугомонная Мариэтта Шагинян, писавшая книгу о семье Ульяновых, откопала в ленинградском Центральном архиве любопытный документ — ходатайство какого-то губернатора о принятии в петербургский университет братьев Бланк "из крещенных евреев".

Когда она сообщила об этом Суслову, тот тяжело опустился на стул и воскликнул: "Этого нам еще не хватало!"

Злые языки утверждают, что знаменитый ленинский жест — закладывание больших пальцев под мышки, за проймы жилета — безусловный национальный признак: так делают евреи, танцуя "фрейлахс".

Страну облетел издевательский стишок:

"Где гарантия, что жид
В мавзолее не лежит?
Евреи, евреи —
Везде одни евреи!"

ХАЛА —

Хала, хрустящая, румяная хала — как я любил ее в детстве! Не повезло бедной. Не понравилось еврейское имя. Да, она продается по-прежнему, но теперь она уже не хала, а плетенка.

Кушайте на здоровье!

Не так ли с актерами, музыкантами, деятелями культуры? Сколько имен продаются в другой упаковке!

Владимиру Ароновичу Фрумкину, ведущему по телевизору серию молодежных передач, предложили называться Владимиром Александровичем.

Это была последняя капля.

— Не могу больше — душно! — сказал Володя, бледный от ненависти.

Через некоторое время ему удалось эмигрировать.

А переменил бы имя, как хала, — глядишь! — может быть, еще пару лет и поработал бы.

ТОЛЬКО БЫ НЕ ЕВРЕИ ! —

Когда мы узнаём об угоне советского авиалайнера, или о поимке шпиона, или о каком-либо другом преступлении, у нас в голове одна мысль: "Господи, только бы не евреи!"

А почему, собственно?

Я помню гневную реплику Жаботинского:

"Мы такой же народ, как другие. Позвольте нам иметь своих негодяев!"

А еще чаще я вспоминаю недоуменный вопрос:

"Что же это такое? Если Абрам украл, значит, все евреи воры?"

ДИАЛОГ —

— Дедушка, а правда, что Христос был еврей?

Дед (*сокрушенно*):

— Правда, внучек. Тогда все были евреями. Время было такое.

БЕЛЫЕ, КАК МЫ —

Вот что случилось у наших московских приятелей.

Дед-профессор сказал своей жене несколько слов по-еврейски.

Семилетний Борька встрепенулся:

— Ты с бабушкой на каком языке разговаривал?

— На еврейском.

— А ты разве видел евреев?

— Видел.

— А они черные, как негры, или белые, как мы?

Дед растерялся и ответил:

— Знаешь что, придет вечером твой умный папа — у него и спросишь.

Весь день ребенка отвлекали. Сводили в кино, почитали

любимую книжку. Но не успел Яша, вернувшись с работы, снять пальто, как Борька, уже лежавший в кровати, задал ему свой вопрос:

— Евреев видал?

— Ну, видал, — удивился Яша.

— А они черные, как негры, или белые, как мы?

— Белые, как мы.

— А где же ты их видал? В Москве?

— И в Москве.

— Тогда, может быть, на нашей улице?

— И на нашей улице.

Круг неумолимо сужался. Борька почувствовал неладное, но продолжал:

— Тогда, может быть, и в нашем доме?

— И в нашем доме, — сказал Яша. И неумолимо добавил:

— И в нашей квартире тоже.

Наступило молчание. В квартире жили всего две семьи.

— Смирновы? — с надеждой спросил Борька.

— Нет, — ответил Яша, — Смирновы русские.

Тогда Борька, совсем испугавшись, начал с сестренки:

— Может быть, Света?

— И Света, — сказал Яша, — и я, и мама, и ты.

Реакция была неожиданной. Решив, что все это дурацкая шутка, Борька принялся хохотать.

Яша рассердился, да и урок надо было довести до конца.

— Читать умеешь? — спросил он сына.

— Умею.

Яша достал паспорт.

— Смотри. Видишь, что написано? Ев-рей.

Реакция опять была неожиданной. Борька встал на колени, уткнулся головой в подушку и застыл в этой позе. Яша уговаривал, проводил рукой у него под животом, распрямлял ноги, но Борька тут же возвращался все к той же позиции.

Прошло полгода. История немного подзабылась. Семья сидела за столом. Яша — веселый и оживленный — сообщал:

— Вот. Наконец-то поменял паспорт. Теперь он у меня чистенький: ни прописок, ни развода — ничего.

Борька вскочил:

— Дай сюда!

Выхватил паспорт, прочел на том же проклятом месте "ев-рей" и сник. И вдруг закричал:

— Но у меня ведь нет паспорта: откуда же вы знаете, что я еврей?!!

Тяжело переживал свое неожиданное еврейство и пятилетний Дима. Узнав печальную новость, он решил поделиться с домработницей: "Бабонька, а ты знаешь — я еврей".

Баба Рая, ставшая за тридцать лет членом семьи, вырос- тившая еще Димину мать, замахнулась на него тряпкой.

— Что глупости-то молоть! Еврей, не еврей. Иди с кухни и не мешай.

Квартира была коммунальной и Дима, не встретив со- чувствия и понимания, пошел к соседской домработнице.

— Дуня, ты знаешь, — пожаловался он, — а я, оказывается, еврей.

Та обняла его и вздохнула:

— Ну что ж, лапонька, ты ведь не виноват.

И третья история.

В знакомой семье возник разговор об обмене. Шести- летний сын сказал:

— Только не на улицу Маяковского.

— Почему?

— Там живут одни евреи.

— Здрасьте, — сказала мать, — а ты кто?

— Я русский.

— Какой же русский, когда твои родители евреи?

— Ну и пусть, а я все равно русский.

Наши маленькие дети не хотят быть париями. Они отби- ваются руками и ногами. Слово "жид", услышанное во дво- ре, гораздо убедительнее для них, чем наши беспомощные рассказы о величии еврейского народа.

И у нас остается одна отчаянная и шаткая надежда:

Вырастут — поймут.

Я НАПИШУ ЭТУ КНИГУ —

И снова смотрю я по телевизору старый кинофильм — на этот раз "Цирк". Смотрю специально, чтобы увидеть один кадр, чтобы еще раз причинить себе нестерпимую боль и увериться, что я имею моральное право писать эту книгу, что гнев мой — праведный, что я не злопыхатель, что каждое слово — от любви, от великой жалости и опять от любви.

Сейчас он будет — этот кадр. Ласковый горбоносый грузин передает черного малыша соседу — Михоэлсу. Тот склоняется над ребенком и поет свой куплет колыбельной на своем родном языке — на идиш. Я вижу его добрые, прекрасные, чуть усталые глаза и еще раз отчетливо до ужаса представляю себе, как он лежит в минских развалинах искалеченный ножами, мертвый, в одном ботинке, *с выколотыми глазами*.

Нет, я напишу эту книгу.

По ту сторону

ОТЕЦ ТИМОФЕЙ —

Судьба русских за границей причудлива.

Мой товарищ Миша Петров рассказал:

В Мюнхене, среди циклопических сооружений олимпийского комплекса, вдруг видишь покосившийся забор, вернее, плетень. У колодца, в пыли, копошатся куры. К забору привязана коза. За колодцем — крохотная православная церквушка. Рядом — деревенская изба.

Каким ветром занесло сюда из-под Краснодара в сороковые годы отца Тимофея? Он говорит, что это место указал ему Господь.

Когда стали готовиться к Олимпиаде, священнику предложили другой участок. Но он отказался:

— Не могу. Бог указал здесь.

Старика, конечно, выселили бы, но за него вступилась общественность. В крупнейших газетах замелькали душещипательные статьи, и гигантские трибуны стадиона поднялись к небу по соседству с церквушкой. Она находится в самом центре комплекса.

Зрелище совершенно фантастическое!

Узнав, что Миша из России, отец Тимофей очень обрадовался и назвал его в избу. Их окружили милые деревенские запахи. Пахло березовым веником, мытым деревом и парным молоком.

На русской печи лежала жена отца Тимофея — восьмидесятилетняя Наташа.

Миша посидел на лавочке, поговорил по душам, а когда стал собираться, старик засуетился:

— Ты, Миша, речечки, речечки возьми.

— Что же я буду делать с ней в отеле?

— А ты ее потри и с сольцой.

Миша рассказывает, что из феергешных впечатлений это, пожалуй, самое сильное.

”ОКАЯННЫЕ ДНИ” —

Прочел ”Окаянные дни” Бунина. Читать было неприятно. Ненависть Ходасевича все-таки не выходит за берега разума. А тут автору застилает глаза туман гнева, ярости и отчаяния. Он как бы бьется в падучей и кликушествует. Ему ненавистно все: хамская толпа, это животное Ленин, эти предатели и негодяи Горький и Брюсов, этот дурак Блок, все эти Волошины, Есенины и Клюевы. Вместо лиц — одни свиные рыла.

Конечно, есть в книге и кровавая правда: казни, грабежи, насилие, тупость. Но непрерывная истерика и вопль: ”Предатели! Погибла Россия!” — мешает Бунину видеть. Жалко его ужасно.

Не дай Бог мне написать такую книгу! Ненависть — плохой вожатый.

И еще меня раздражает, как Бунин на этом фоне, в атмосфере всеобщего охаиванья, пишет о себе, умиленно вспоминает почтальоншу Махоточку, которой он, вместо восьмидесяти копеек, дал за доставку целый рубль.

(”И это меня-то считают недобрым желчным человеком!”)

А телеграмма, доставленная Махоточкой, гласила:

”Вместе со всей Стрельной пьем славу и гордость русской литературы!”

Так что рубль, как видим, был истрачен не зря.

РОССИЯ НЕ ТАКАЯ —

Нельзя чувствовать страну на расстоянии. Ее точное ощущение, связь с ней теряется уже через полтора-два года.

Большой компанией мы слушали пленку какого-то эмигрантского певца — кажется Бориса Шаляпина или Ивана Реброва. Репертуар странный — цыганщина, блатные песни, нэп и даже ”Подмосковные вечера”.

Первое внезапное ощущение: ”Эх, бедняга! Русский певец, а поет с акцентом!” Второе ощущение, вторая мысль: ”Это не русское, это — тоска по России”.

Потом приходят и любопытство, и ирония, и восхищение мастерством. И все это сложное впечатление заканчивается первоначальным сожалением: ”Бедняга! Ненастоящее это, не русское!”

И когда эти песни создавались, Россия была не такая, и теперь она по-другому, но тоже не такая.

И, конечно, неизбежно вспоминаются строки Ахматовой:

”Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключенный, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой”.

ФОМА —

Ко мне привели однажды белого Барышниковского пуделя — Фому.

Он живет недалеко — на Фонтанке. Про нашего Гека часто спрашивают: это Фома? А Фому окликают Геком.

Барышникову за год до побега подарили дивную афган-

скую борзую, но он вынужден был ее отдать — Фома ревновал.

Это очень грустный пес. Он ничего не знает о своем хозяине — ни о его успехах, ни о его миллионах. И, наверное, все время надеется на его возвращение.

ВООБЩЕ-ТО Я ЧИСТАЯ —

Лиля стояла с английской студенткой Фионой в ванной комнате и мыла посуду (на кухне у нас горячей воды нет). И вдруг Фиона громко вздохнула.

— Что ты?

— Тебя жалко.

— Почему?

— Потому что у вас страна такая бедная.

И Лиля говорит, что ее пронзило чувство жгучей обиды. Как? Это наша могучая необъятная страна — бедная? И они об этом знают?

И тут же одернула себя. Конечно, бедная, даже нищая. И как они могут этого не знать? Разве они слепые?

Похожая сценка — на кухне, на этот раз в Комарово. Лили и Лиза Такер опять же моют посуду. Из туалета выходит Джоана. Лили жестом показывает ей на дачный рукомойник:

— Хотите вымыть руки?

Джоана подошла к рукомойнику и остановилась.

— Ну что же вы?

Джоана помялась и сказала несколько слов по-английски. Лиза объяснила:

— Она не умеет.

Пришлось показать. Потом Лиза спросила:

— А как ты моешься?

— Когда приезжают друзья, у которых есть машина, они отвозят меня в Дом творчества. А так — грею воду на плите и моюсь по частям.

Лиза даже переспросила. А потом закрыла лицо руками

да как заплачет. Она плакала всерьез, всхлипывала, из-под пальцев текли крупные слезы.

— Лизочка, перестань, что случилось?

Но она все плакала:

— Такие прекрасные люди и вынуждены так жить!

И сквозь слезы спросила:

— Ты любишь шанель номер пять?

Лиля засмеялась:

— Люблю. В детективных романах. Но, Лизочка, вообще-то я чистая.

Должен сказать, нам чрезвычайно часто приходится испытывать чувство национального унижения. Когда Миша Т., известный ленинградский художник, летел по туристской путевке в Данию, всю группу предупреждали:

— В самолете будут возить на столике коньяк, сигареты, конфеты. Старайтесь не покупать. Помните, что денег мало и это — валюта.

Миша жаловался: чувствуешь себя хуже всех. Красочные журналы, безделушки. Все покупают, кроме наших. Лимонад в таких нарядных бутылках. Пить хочется, а отказываешься. И самое ужасное — сознание, что окружающие понимают, почему.

Едут обыкновенные милые люди, но они богачи, буржуи, капиталисты. А мы — советико, импотенто, нищие.

СПАГЕТТИ —

Странные существа иностранцы — будто жители другой планеты.

У ленинградской красавицы Ани Каплан был приятель-итальянец. Накануне отъезда он сказал ей:

— Знаете, Аня, мы, к сожалению, не сможем провести последний вечер вместе: друзья из землячества пригласили меня на спагетти.

Аня спросила:

— А почему я не могу пойти с вами?

Он ответил:

— Потому что спагетти приготовлено на семь человек.

Аня удивилась:

— Ну и что? Где семь, там и восемь.

— Нет, Аня, вы не понимаете, — в свою очередь удивился он, — я же объяснил вам: спагетти приготовлено на семерых.

Аня еще пыталась превратить все в шутку:

— Это же не котлеты, не порционное блюдо, — сказала она. — Каждый отложит мне понемножку, и у меня будет даже больше, чем у остальных.

Но итальянец не принял шутки и стоял на своем:

— Поймите, это было бы неприлично: спагетти приготовлено на семь человек.

Они расстались, не поняв друг друга — оскорбленные и недоумевающие.

О, ВОЗЬМИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА ! —

Американские студенты дарят так:

— О, возьмите, пожалуйста: нам это совершенно не нужно!

Почти по русской поговорке: "На тебе, убоже, что мне не гоже!"

Несомненно, их формула сложилась от смущения, но есть в ней и бессознательный оттенок высокомерия.

СОВСЕМ ОБАЛДЕЛИ —

Американский аспирант Валдек побывал на концерте Михаила Жванецкого. Явился сияющий, переполненный впечатлениями, и ахнул, увидев Жванецкого у нас.

Мы усадили их рядом. Через минуту он уже приставал к своему соседу:

— Переезжайте в Америку. Это такая прекрасная страна.

— А профессия? — спросил тот.

Но Валдек уже входил в раж:

— Да, вероятно, вы не будете там ни писателем, ни артистом. Вы станете, к примеру, мойщиком окон. Но зато будете свободны.

И с шиком выложил аргумент:

— У нас все равны: если вы захотите, вы сможете ходить к тому же врачу, к которому ходит Ростропович.

На следующий день Джакки спросила:

— Правда, для Жванецкого большая честь, что он познакомился с Валдеком?

— Почему?

— Как почему? Он же американец.

Совсем обалдели!

НАУКА ЛЮБВИ —

Джакки сказала, что до того, как выйти за Валдека, она жила с другим человеком, и это хорошо для Валдека, потому что она многому научилась, стала опытнее.

Валдек сидел рядом, слушал и удовлетворенно кивал головой.

Да я бы умер!

ПУШКИН ПО-АНГЛИЙСКИ —

Я спросил у Лизы Такер:

— Лизочка, кого вы собираетесь переводить?

— Пушкина.

— Вот молодец! — обрадовался я. — А как?

— Свободным стихом, верлибром.

Я ужаснулся:

— Лизочка, но так нельзя!

Она посмотрела спокойно, чуть насмешливо:

— Отчего же нельзя? Сейчас по-другому не пишут.

Не понимает.

ПОЧТУ ЗА ЧЕСТЬ —

Господи, ну конечно же это смешно, разумеется, между нами пропасть непонимания.

Но сколько мы перекинули мостиков!

Эти мальчики и девочки — немцы, американцы, шведы — разве не дарили они нам свою нежность и преданность?

Где была бы без них моя книга?

И на всю жизнь запомнил я девушку, бережно сворачивающую листы рукописи, прячущую их под пальто, и голос с иностранным акцентом, произносящий старинные русские слова:

— Почту за честь!

Я долго не мог понять, чем же они так отличаются от нас — эти люди, и наконец понял: чувством собственного достоинства. Вот идет по Московскому проспекту молодой негр — плечи расправлены, голова гордо закинута. А на остановке ждет автобуса Наум — блестящий инженер с двумя высшими образованиями, знающий несколько языков — сутулящийся, униженный, неуверенный в себе: человек второго сорта.

На работе его внезапно понизили в должности.

— За что? — спросил он.

— А так, — отрезал директор, — ни за что. Просто я тебе не доверяю.

— Но почему?

— Я не обязан отвечать. С одним человеком я пошел бы в разведку, с другим нет. Не доверяю — и все.

Наум говорит мне:

— Я здесь родился, это моя страна. Я хочу во всем принимать участие, но меня отталкивают, а если лезу, бьют по щекам — справа налево и слева направо.

И что тут остается делать?

Мы снова затеяли перестановку.

Подвинули шкаф, оттеснили сервант.

И сделалось грустно, и стало неловко,
Как будто бы каждый предмет эмигрант.
Ну что же, предметы! Скитайтесь по свету,
Ведь мир вашей комнаты странно-велик:
Блуждают диваны, кочуют портреты
И зеркало прячет потерянный лик.
Все стронулось с места, хотя б на полшага,
Дома покачнулись в оконном стекле...
Чего ж ты нахохлился, старый бродяга?
Кого еще встретишь на этой земле?

ПЕРЕД СЕРВАНТОМ —

Я остался на даче, а Лиля отправилась в город за пенсией.
Сидела на кухне одна, лицом к серванту, и вспоминала.

Вот эту красивую сахарницу подарил нам Юра Черняк.
Ручку от крышки отбили на таможне: смотрели, нет ли чего
внутри, в фарфоре.

А эти чашки оставила на память Гитана. Муж ее Володя,
бывший заместитель директора Баргузинского заповедника,
теперь портье в каком-то венском отеле. Но они разослали
предложения в университеты разных стран и надеются, все-
таки надеются.

Вот смешной шотландский солдатик от маленького Миши
Войханского. Его мама четыре года назад перебралась в
Англию, а мальчика не выпускают. За него вступался аж сам
Иегуди Менухин, но у правительства с матерью свои счеты.

А этот фонарик с наклеенной польской розой — от друго-
го Миши, нашего близкого друга. Недавно мы получили от-
дельную квартиру (первую в моей жизни), и он помогал во
всем — стелил линолеум, обивал дверь, делал проводку. Он
и его жена Инна еще в Ленинграде, но вот-вот придет разре-
шение. Если, конечно, придет.

А это от Риты и Бори — они в Америке.

А это от Юры Тувина — он, кажется, в Исландии.

А это от нашей Эммы — она в Тель-Авиве.

И опять бьется в висках, колет болью тургеневская строчка:

”И все они умерли, умерли...”

Лиля представила, как еще недавно мы шумно сидели за столом — любящие, преданные, счастливые нашей дружбой.

”Помнишь ли меня, мой свет,
В дальней стороне?
Или ты не думаешь
Больше обо мне?”

Ей стало так страшно, что она отвела взгляд от полок, но он неудержимо возвращался.

Тогда Лиля заплакала и повернулась к серванту спиной.

ПРЕДПОЧИТАЮ ТРАГЕДИЮ —

У Димы на отвалной — человек десять, и все раньше или позже едут. Обстановка деловитая — ни слез, ни горя.

— Позвони такому-то, он в Атланте.

— Не скучай, скоро увидимся.

— Нет, старик, что ни говори, в Бостоне лучше.

— А вы куда собираетесь?

— Все равно. Я не туда, я отсюда.

— Вы слышали, а в Новой Зеландии...

Не слышал! Не хочу слышать! Я не любитель фарсов, я предпочитаю трагедию.

Одна женщина (не стану называть ее имени) после долгих мытарств добилась наконец разрешения. Она подписала отказ от подданства, отправила багажом вещи, продала все оставшееся до нитки, чуть свет добралась до аэродрома и... не смогла уехать — сердце не позволило, ноги не понесли.

Мой друг Юра как-то сказал:

— Там же все чужое! Если река называется другим, пусть даже хорошим словом, — какая же она река?

— А если поедут дети, внуки?

Это был жестокий вопрос, и Юра ответил не сразу.

— Понимаешь, — проговорил он наконец, — когда честного человека ведут на пытку, он надеется, что выдержит. Но, бывает, и не выдерживает. Вот и я надеюсь...

Он вымученно улыбнулся:

— А, впрочем, не дай Бог — лучше об этом не думать!

ПИСЬМА —

Лежу и перебираю письма — клочки судеб, разлетевшихся по свету:

”Кто это идет по 5-ой авеню в твидовом пиджаке и галстук от Лорана? Это я иду — Григорий Семенович Розенцвейг. Мог ли я представить, что такое когда-нибудь случится?”

”Дурак!” — думаю я, и беру в руки письмо от Лены Домнич.

”Познакомилась с двумя симпатичными стариками-миллионерами.

Они смотрят на меня и, наверное, думают:

— Удивительно! Из Советского Союза, а человек!

А я гляжу на них и думаю:

— Надо же! Миллионеры, а люди!”

Вот письмо Ильи Рубина — ленинградским друзьям:

”Вы спрашиваете, как мне здесь? Мне плохо, потому что рядом нет вас”.

А это от Эммы:

”Боже мой, что я наделала со своей жизнью! Что я натворила! Зовут во Францию — не хочу, в Италию — не хочу. Сижу целыми днями и реву, как дура”.

Письмо Володи Фрумкина из Америки:

”Пока вода не дойдет до горла, сиди на месте. Если можешь не ехать — не уезжай”.

И дальше:

”Америка — поезд. Вскакивать надо на ходу. И горе тебе, если промахнешься”.

А вот толстая пачка стремительно исписанных листков. Она долго ходила по Ленинграду, а со вчерашнего вечера лежит на моем столе. Это письма Александра Воронеля. Я беру верхнее и еще раз перечитываю поразившую меня фразу:

”Нельзя покидать родину без особой на то необходимости”.

Так вот что значит слово ”навсегда”...
Друзья! Поток их горький нескончаем...
О скольких мы вершин не замечаем —
Как поредела горная гряда!
Уходит в ночь вагонное окно
И самолет исчез в глумливой сини...
А мы — домой. Нам скоро суждено
В своей стране остаться на чужбине.

НЕ ХОЧУ —

Нет сил глядеть!

Откуда такое усердие и такая жестокость? Роятся у старух в волосах, выдирают страницы из записных книжек, ломают игрушки.

Почему последнее воспоминание о родине должно быть таким ужасным? Кого радует это унижение, это отчаяние, эти таблетки, выпавшие из трясущихся рук?

Под ногами хрустит валидол...
Уезжаем, дружок, уезжаем.
Не покажется родина раем,
Если ад напоследок прошел.

Молодой парень задержался у входа в таможню. Родители засуетились:

— Юра, иди скорее.

Он вдруг сказал:

— Не хочу.

Они не поняли:

— Куда не хочешь?

Он сказал:

— На таможду не хочу и уезжать не хочу!

— Ты с ума сошел! — всполошились родители.

Он повторил со злостью:

— Не хочу уезжать!

Махнул рукой и пошел.

БЫЛО —

Звонок Лили Инниной маме.

— Ну как уехала Инночка — чулки снимали?

— Слава Богу, нет.

— А трусы?

Смущенная пауза. Потом со вздохом:

— Было.

ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА —

Снова отлет.

Пожилой человек, страшно волнуясь и картавя, говорит провожающим:

— Уезжают храбрецы — остаются герои!

И сразу вспомнилось недавнее изгнание евреев из Польши и гордые прощальные слова:

— Когда уедет последний из нас, не забудьте погасить свет!

ИСХОД —

Это стихотворение написалось внезапно, и сначала я сам не знал, о чем оно.

Но когда я случайно прочел его друзьям и увидел на их глазах слезы, я тут же понял, что оно об исходе, о тех, кто навеки покидает родину, разрывая живую стонущую ткань.

По таможенным законам ни одного русского слова (на-

писанного или напечатанного на машинке) за границу выводить нельзя. Приходится прибегать к способу, предложенному Генрихом Гейне. Помните его "Зимнюю сказку?"

"Глупцы! Чего в чемоданах искать?
Ведь там ничего не найдется!
Моя контрабанда в моей голове
Повсюду со мной везется".

Читать мысли КГБ еще не научилось. И друзья, прощаясь со мной, заучивали мое стихотворение наизусть:

Хотите я вам нарисую
Две лодки и два корабля,
И землю, с которой простился?..
Пушай уплывает земля!
Пушай уплывает, не жалко...
Зачем она машет плащом?
Полжизни на ней протрубили,
Полжизни осталось еще.
Уходит она в повороте,
Который не преодолеть.
Пушай уплывает, не жалко...
Ах, лучше бы мне умереть!

ОБЪЯВЛЕНИЕ —

На стенде Ленсправки — объявление:
"Куплю большие чемоданы".

ШУТКА —

По городу кочует шутка:

"Скоро в Ленинграде останется всего одна еврейка — Аврора Крейсер".

АМЕРИКАНСКИЕ СНЫ —

Стояло грустное лето.

То и дело приезжали прощаться друзья. Близкие люди уходили из нашей жизни навсегда. Они не умирали, но это было подобие смерти.

Лев Александрович — "диссидент несчастный", ставший членом семьи, проживший у нас в квартире полтора года, незаменимый помощник, очаровательный собеседник — добрый, трогательный, смешной...

"Никогда не прощай, навсегда до свиданья,
Милый друг, золотой человек!"

Эмма Сотникова — красавица, храбрая женщина, редактор блестящего самиздатовского журнала "Евреи в СССР"... Не простучит больше каблучками по Фонтанке от своего дома до нашего, и в коридоре не кинется ей навстречу Гек.

В последний раз увидел я и моего старого товарища — Реню Блаушильда. У нас сидели американцы. Обняв Лизу Такер, Реня нахально пригласил ее:

— Приезжайте к нам в Америку!

Все засмеялись. У всех на глазах были слезы.

"Что мы делаем? Расстаемся". Мы одновременно — каждый про себя — слышим "Поэму конца":

"Звук, от коего уши рвутся,
Тянутся за предел тоски...
Расставание — не по-русски!
Не по-женски! Не по-мужски!
Не по-Божески! Что мы — овцы,
Раззевавшиеся в обед?
Расставание — по-каковски?
Даже смысла такого нет!"

Прощался Марк.

Прощался Давид Яковлевич.

Прощались Юра с Линой.

Прощалась Гитана.

И приснились мне два "заграничных" сна:

Я и Лиля едем в Америку, почему-то на поезде. Высаживаемся за одну станцию от Нью-Йорка. Крохотный вокзал, похожий на комаровский, кругом зелень. Подходит военный или полицейский (точно не помню), сухомерно спрашивает:

— А ю джемен?

— Нет.

— А ю френч?

— Нет.

— Вот кантри а ю фром? — удивляется он.

— Мы рашен.

Тогда на отличном русском языке он просит предъявить документы. Я протягиваю письмо мистера Фрида о том, что из Бостона мне выслана инвалидная коляска. Но он качает головой:

— Это не пропуск. Вам необходимо вернуться.

Мы едем на поезде обратно, и всю дорогу Лиля меня ругает, что я уговорил ее эмигрировать, а теперь нас посадят, как изменников родины.

Второй сон.

Я лежу на скамейке — в Америке — в большом зале. Кругом эмигранты из Советского Союза — все интеллигентные, с университетскими значками. Передо мной обитая клеенкой дверь, за которой сидит американец, дающий направление в разные города — на работу и местожительство.

Выходит Лиля, огорченная: вакансий нет, придется ждать на этой скамейке, по всей вероятности, еще много дней.

Кто-то приносит мне письмо от брата. Из письма понятно, что мы уехали без визы, просто удрали. Брат пишет: "Я уже знаю, что вы успели обогнуть Кронштадт и поэтому наши военные корабли не смогли вас догнать".

Эти слова занимают верхнюю часть листа. Под ними четко — как заголовок — выведено: "Вот люди, которых ты погубил своим отъездом". И ниже — фотографии, много фотографий родственников и знакомых: почти все они давно

умерли или уехали. Первым наклеен на бумагу коллективный снимок Мониной семьи.

Я проснулся от угрызений совести. Проснулся или перешел в другой сон? Ясно одно — я никуда не уехал. Веки смежаются, но я у себя, на комаровской даче.

Может быть, никто не уезжает? Может быть, это только дурное наваждение?

Сплю я или не сплю? Во сне или не во сне перемещаются тени и солнечные блики в прищуре слегка отодвинутой занавески?

Как хочется обо всем забыть!

Леса темные провалы,
И завидя нас двоих,
Катят бочки пивовары
В острых шапочках своих.
Эта влага не в новинку,
В сердце горечи плеснем...
Рип Ван Винкль, Рип Ван Винкль,
Неужели мы уснем?
Прямо тут, с асфальтом рядом,
Сев на холмик травяной,
Привалившись к Ленинграду
Ты плечом, а я спиной.
Белой пены ворошенье,
Отказаться нету сил.
Искушение, искушение —
Сам у гнома попросил.
Не засудят, не осудят:
Восемь бед — один ответ.
Может, внуки и разбудят
Через восемьдесят лет.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Коктебель

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС —

Моя раскладушка стояла не то на берегу, не то в море — на самой границе воды и суши. Волны осыпали лицо брызгами, и то и дело доставали снизу до парусины.

Раскладушка незаметно сползала, поддаваясь этим легким толчкам, и друзья каждые несколько минут со смехом подтягивали ее обратно и грозили, что сейчас отвернутся и меня унесет в Турцию.

В песок ткнулась массивная шестивесельная шлюпка. Веселые бородатые мужчины бережно, как драгоценность, вынули из нее крохотную, нелепо одетую старушку в панамке и суконном халате — Марию Степановну Волошину.

Пляж почтительно стих.

И вдруг она увидела меня:

— Левушка приехал!

Из-за искривления позвоночника я лежу только на одном боку и никак не мог к ней повернуться.

Она вошла в воду, обогнула раскладушку, опустилась на колени, чтобы было удобнее, и три раза по-русски со мной расцеловалась.

Как называется книга Стефана Цвейга — ”Звездные часы человечества”? А это был мой звездный час, хотя солнце пылало в зените.

А потом те же смуглые бородатые мужчины тащили мою коляску по узкой лестнице — такой узкой, что они не могли идти рядом, а находились впереди, неудобно выгибая руки, а другие подпирали колеса сзади, но это продолжалось недолго, и меня ввозили в прохладу мастерской, и я глядел на Таиах, и на темную, изъеденную солью щепку — доску корабля одиссеева, и на картину Диего Ривера, а с третьего этажа мне щедро приносили все, о чем бы я ни просил: и диковинную раковину (с нее Врубель, по словам Марии Степановны, перенял полосы и переливы для крыльев ”Царевны-лебеди”), и чётки, и камни, и маски. И каждую вещь можно было трогать, гладить, переворачивать.

— А бюро, на которое опирается Лиля, принадлежало Загоскину — за ним он сочинил ”Юрия Милославского”; а это кисти Максимилиана Александровича и его мольберт, и ветки омелы; а здесь любили сидеть Марина и Осип Эмильевич, и читать стихи... а теперь пусть Левушка нам почитает.

И это был тоже мой звездный час, хотя солнце еще не село. И я смотрел в узкое высокое окно на левую оконечность бухты, и на Янычары, откуда в прозрачную погоду видны сразу два моря — Черное и Азовское, и вспоминал строки:

”Ветхозаветная тишина,
Сирой полыни крестик...
Похоронили поэта на
Самом высоком месте”.

А затем я представлял себе правую, невидимую отсюда сторону, и все эти горы (и Сюрю-Кая, и Кок-Кая, и Святую), и жестко вырубленный, обрывающийся в воду край, и слышал другие строки, вот уже более сорока лет, как молитва, звучащие в этом доме:

”Моей мечтой с тех пор напоены
Предгорий героические сны
И Коктебеля каменная грива;
Его польнь хмельна моей тоской,
Мой стих поет в волнах его прилива,
И на скале, замкнувшей зыбь залива,
Судьбой и ветрами изваян профиль мой”.

МАСТЕРСКАЯ НЕ РЕЗИНОВАЯ —

А вот как это началось.

В дом поднялась экскурсия, человек двадцать.

Лиля сказала:

— Пора познакомиться, поднимусь-ка и я тоже.

Она и не представляла размеров своей дерзости. Перед вдовой Волошина трепетали. Приема удостаивались избранные.

Лиля преодолела крутые ступени наружной лестницы, отдышалась на балконе, толкнула дверь в темный предбанничек, и впервые услышала голос Марии Степановны, доносившийся справа, из мастерской.

Сразу — еще до проникновения в смысл — поражал словарь: изысканный, породистый, дворянский. Теперь так не говорят.

Иногда рассказ перебивался стихами, которые, как и всё здесь, были пропитаны запахом времени, сухого дерева и моря.

Сперва невысокая Лиля уткнулась в спины, но затем, раздвинув людей, увидела старуху с короткой стрижкой, с грубоватым крестьянским лицом, сидевшую за самодельным дощатым столом, отполированным солнцем и локтями.

Контраст между лицом и речью был поразительным!

Не изменяя тона, Мария Степановна сказала на вполне современном языке:

— Я же просила больше никого не пускать — мастерская не резиновая.

”Действительно, — подумала Лиля, — до чего бессовестны некоторые, ведь народу уже и так много”.

Она устала стоять и, поискав глазами, уселась на ступеньку, ведущую в нишу.

Мария Степановна читала ”Дом поэта” — стихотворение длинное. Лилия с наслаждением слушала, покачиваясь в такт ритму.

Чтение резко оборвалось.

— Это я вам говорю!

Лилия с недоумением оглянулась: кто это такой настырный?

И вдруг поняла. И встала.

— Мне? — спросила она.

— Вам, вам!

— Но ко мне это не относится, — простодушно сказала Лилия, — у меня письмо от Виктора Андронниковича Мануйлова.

И села.

Мария Степановна, наверное, решила: ”Ну что с дурой связываться?” — и продолжала чтение.

Потом все по одному потянулись по ветхой лестнице в кабинет.

— А вы чего же?

— Мне не хочется, Мария Степановна. Я лучше в другой раз, когда никого не будет.

— Подойдите, — сказала старуха.

Лилия подошла.

— Читайте ваше письмо.

Лилия вытащила записку, но через несколько слов остановилась.

— Дальше про нас, мне неудобно.

На следующий день, когда меня везли на пляж, Мария Степановна сама спустилась ко мне со своей верхотуры. Случай в Коктебеле неслыханный.

Так завязалась наша нежная многолетняя дружба, начало которой мы всегда вспоминали со смехом.

ДАВИД АБРАМОВИЧ —

Когда мы прилетаем в Симферополь, у трапа самолета нас встречает наш друг — шофер Давид Абрамович Гольдштейн.

Едем.

Бегут белые домики. На дороге щит: "Водитель! Если ты хочешь еще раз увидеть жену и детей, не превышай скорости!"

Мчимся. Нещадно гудим. Из-за поворота выскакивают машины:

— Вжик! Вжик!

Два холма, два плавных полукружья. И всегдашняя шоферская острота:

— Смотрите! Мадам Бродская опять забыла надеть шорты.

В разрыве гор — море. Вот и Дом творчества. Путешествие окончено.

На следующий день Давид Абрамович появляется у нас снова. В сумке груши, помидоры, вяленые бычки.

Уезжает.

Мария Степановна растрогана до слез:

— Сразу видно — простая русская душа!

БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ —

Иду с приехавшими к нам в гости диссидентами Володей и Ирой на самый край длинного мола. И прошу поставить мою коляску передними колесами на этот край. Лиля бы умерла от ужаса.

Но Володя и сам человек отчаянный, да к тому же борется за права человека.

Попросил — значит все. Моя воля.

Они тщательно проверяют тормоза и уходят на пляж купаться.

Я испытываю высокое наслаждение. Не вижу никакой су-

ши. Впереди и по бокам только море. Кейфую. Волны, чайки, облака, банальные строчки. Хорошие придут потом или написаны другими:

”Белеет парус одинокий...”

Да нет, какое там парус — пароход. Через несколько минут он причалит и мол содрогнется от удара во всю свою длину.

Кретин! Как я мог не предусмотреть такой возможности?

Оглядываюсь — кто бы придержал коляску. Ни души.

Толчок. Тормоза не подводят. А ведь стоило бы сдвинуться на два сантиметра вперед...

Вообще-то этот мол выкидывает коварные штуки.

Молодые ребята, мотоциклисты, придумали игру. Они сворачивают на мол на полной скорости и, промчавшись три четверти пути, круто останавливаются.

И вот позавчера у одного из них тормоза отказали. Он неся по настилу и орал дурным голосом:

— А-а-а!

Он вылетел, как лыжник с трамплина, и описал дугу. Мотоцикл утонул, но парень выбрался благополучно.

АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА —

Она словно капуста — семьдесят одежек и все без застежек. Придет и начнет снимать кофточки: четыре-пять, не меньше.

Лиля смеется:

— Анастасия Ивановна, как же вы не путаете, в каком порядке их надевать?

А еще она приносит сумочку, битком набитую гомеопатическими лекарствами. И всем предлагает. Мы отшучиваемся, но берем. Разве можно ее обидеть?

У Марии Степановны она гостит каждое лето. Старухи, как сестры. Обе острые, оригинальные, удивительно снисхо-

дительные друг к другу. Командует, разумеется, Мария Степановна.

Анастасия Ивановна не засиделась. Только сняла свои кофточки, и опять уже их натягивает.

— Как-то там Марусенька... Пойду...

Уходя, она поцеловала меня в лоб и перекрестила:

— Господь с тобой!

Ни к одному человеку я не испытывал такой благодарности. Ведь это впервые в жизни меня — неверующего — перекрестили.

И — слаб человек! — невольный стыдный огонек тщеславия:

”А будь жива Марина Ивановна, она бы меня, наверное, тоже перекрестила”.

ПЕТЕРБУРЖЕНКА —

Молодой человек с надеждой спрашивает:

— Мария Степановна, вы помните меня? Я был у вас тогда-то и тогда-то.

— Нет, милый, не помню. Но какое это имеет значение? Все остается во мне.

Она хитрющая — актриса и притворщица.

Мы приехали второй раз. Лиля спешит к ней.

— Мария Степановна, дорогая, здравствуйте!

Она вглядывается и произносит:

— Я вас узнала — вы петербурженка.

— Мария Степановна, какая же я петербурженка? Я — Лиля Друскина.

— Лиличка! Ох я, старая дура! Как вы? Как Левушка?

Вечером проговаривается:

— А я с утра знала, что вы приедете. Мне домработница сказала.

ЧЕРТОЧКИ —

— Совсем ослепла! Лиличка, деточка, посмотрите: нет ли на горизонте кораблей?

— Есть.

— А я вижу только черточки.

— Так и я, Мария Степановна, вижу только черточки.

В другой раз:

— А это не Левушку везли сейчас к пляжу?

— Левушку.

— Спасибо, деточка, а то я уже ничего не вижу.

ДОМ —

С утра Мария Степановна начинает обход своих владений. Со всеми вещами она накоротке, и скульптуру египетской царицы, матери Нефертити, называет душечка Таиах.

Дом изумительный — с моря он напоминает корабль. Волошин строил его сам, по собственным чертежам.

Но, рассказывая об этом, Мария Степановна иногда увлекается и уверяет, что Максимилиану Александровичу помогал ле Корбюзье. С француза Корбюзье разговор перескакивает на немцев.

— Они появились в дверях мастерской с автоматами, а я раскинула руки вот так и сказала:

— Не пушу!

Я смотрю на ее раскинутые руки и понимаю: все это правда.

И неважно, что немцев то двое, то пятеро. Сколько бы их ни было, они спасовали перед ее бесстрашием и не переступили порога.

Святыня осталась нетронутой.

Кукушка в столовой кукует восемь раз.

И новый фантастический поворот.

— Что же это я заболталась? Уже двадцать часов. Пора слушать Би-Би-Си!

Какое невероятное смешение стилей и времен, суетности и вечности. Просто завидно!

ОТОМСТИЛ —

Даже "столпы" Союза писателей считали хорошим тоном посетить Марию Степановну.

Но язычка ее побаивались.

Вот она разговаривает с Евтушенко:

— Женя, я давно знаю и люблю тебя, но ты дурак.

И сердито застучав по столу:

— Не спорь, не спорь! Мне лучше видно — ты дурак!

А вот несет свое брюхо по ступенькам Сергей Наровчатов.

И она качает головой.

— Большим человеком стал, Сережа. Весь мир объездил. А всё о тебе плохое говорят.

Тот, угрюмо:

— Знаю.

Но обиделся. И — мелкий человек — отомстил тоже мелко. Когда, вскоре после смерти Марии Степановны, в малой серии Библиотеки поэта вышел наконец томик Волошина (не увидела, не погладила!), в предисловии Наровчатова о ней не было ни единого слова.

ВЕЧЕРА —

Дом жил своей необыкновенно трогательной, слегка пародийной жизнью.

Ну, конечно, не тот шик. Конечно, поет уже не Обухова, а Изергина.

Но обаяние этих вечеров не преходяще!

А ЧТО МНЕ МАРИНА ? —

Читает, опекаемый домом, ужасный молодой поэт.

Все хвалят. Я взрываюсь.

— Анастасия Ивановна, как не стыдно вам, сестре Марины Ивановны, хвалить такие стихи?

Гордо вскидывает голову:

— А что мне Марина? Я сама по себе!

МАРИЯ СТЕПАНОВНА —

Плачет.

Обокрали. Украли из тайника первое издание Волошина, единственный экземпляр. О тайнике знали только самые близкие люди.

— Молю Бога, чтобы воровкой оказалась домработница!

Но она ведь понимает, что это не так.

Мы и сами-то с горечью видим: в библиотеке книги, стоявшие в шестьдесят восьмом году дружно и плотно, покосились, навалились друг на друга. Но даже и в этом положении зияют среди них скорбные щели.

В НАШЕЙ СТОЛОВОЙ —

Осенью Дом творчества сдают в аренду шахтерам — они оккупируют всю территорию.

Писателей остается немного — человек двадцать.

Я лежал в прелестном месте, высоко над морем. Но в пяти шагах находился винный ларек и пришлось переменить скамейку.

Это был какой-то ужас! Каждый шахтер считал своим долгом "угостить меня". Они подсаживались, совали стакан — как не выпить с инвалидом? И спрашивали: "Ведь мы интересны вам, правда? Писателям всегда интересно писать про рабочих".

По вечерам коттеджи шатались от пьяных голосов. Гремела песня:

”В бой за родину! В бой за Сталина!”

Женщинам выходить в сад не рекомендовалось, во всяком случае первую неделю — пока выпивохи не спустят деньги.

Я спросил у пожилого усатого дядечки:

— Вы здесь с женой?

Он удивился:

— Да вы что? Кто же ездит в Тулу со своим самоваром?

Было и такое:

Трое шахтеров, подвыпив, вваливаются к Марии Степановне, в мастерскую Волошина. Разглядывают картины.

— А почему это висит здесь?

— Как почему? Это мое.

— Тут ничего вашего нет — все государственное.

— Где же это, по-вашему, должно висеть?

И безапелляционный ответ:

— У нас, в нашей столовой.

МАЛЬЧИК В ТЮРБАНЕ —

Лежу на потертom продавленном диване в комнате Марии Степановны. А она сидит в деревянном кресле, работы Волошина, как всегда подогнув под себя одну ногу.

Не вижу ни пыли, ни паутины — так интересно. Стен практически нет — картины и акварели.

— Мария Степановна, а кто этот мальчик в тюрбане?

Смеется. Кладет руку себе на грудь.

— Этот мальчик — ваш покорный слуга.

ВТОРАЯ ВДОВА —

Теплой полночью в горах Крыма
Поднимается вдова Грина,

И готовая вот-вот рухнуть,
Собирает по углам рухлядь.
Задыхаясь, бормоча, горбясь,
Опускается на скарб скорбный.
Ждет, рукою опершись на пол:
Ах, как страшно ей опять по этапу!
Удержите ее вы хоть ночами...
Все ей слышится: "На выход!.. С вещами!.."
Ужас давит, как песок засыпает...
Скоро восемьдесят ей... засыпает...
И рассвет, чтоб не томилась часами,
К ней под черными плывет парусами.

Так доживала свои последние годы — в ужасе и нищете — Нина Николаевна Грин, его подруга, его любимая жена, его вдова — на ее руках он и умер, в Старом Крыму, неподалеку от Коктебеля. О ней рассказал мне Петр Никитич — чудак, человек прекрасной души, отсидевший более двадцати лет, присматривавший за ней по доброте. Потом ему это запретили.

А книги Грина издавались стотысячными тиражами. А по всей стране проходили молодежные фестивали "Алые паруса".

Вот они — российские судьбы!

ПРОИСШЕСТВИЕ —

Когда мы вернулись из кино, на полу сидел большой черный паук, хмурый как дьявол. Спина его странно лохматилась.

Лиля ударила по нему веником и случилось ужасное. Он распался, рассыпался на сотни крохотных стремительных насекомых, оставив существо вдвое меньшее.

Оказывается, это была паучиха с паучатами, которые жили у нее на спине.

От удара они разбежались по комнате, прыснули по стенам, и мы, как в кошмаре, давили их около часа.

И уродит же природа такую погань! Чем они питались? Соками своей матери?

ХОТИТЕ ПОЛЕЧУ ? —

Птиц несло ветром в открытое море.

Юлия Друнина, гуляя с друзьями, пошутила:

— Хотите полечу?

Она распахнула руки и действительно полетела, вернее побежала, еле касаясь ногами земли.

Полы ее плаща раздулись — она не могла ни остановиться, ни опустить руки.

Мужчины с трудом сумели догнать ее и удержать. И она стояла бледная, испуганная, глядя на птиц, которых несло ветром в открытое море.

КНЯЗЬ —

В Доме творчества поселился толстый бородатый человек, которого все называли "князем".

Врун он был первостатейный. Никто его всерьез не принимал.

Он просидел у нас вечерок, выдул бутылку коньяка (впрочем, он сам ее и принес) и несколько часов без перерыва колотил языком.

Он уверял, что является прямым потомком Радзивиллов, что деду его принадлежала чуть ли не треть Украины, что сам он четвероюродный брат английской королевы и в то же время довольно близкий родственник Жаклин Кеннеди.

На сон грядущий он дал нам свой киносценарий, будто бы написанный вдвоем с Тарковским.

Я просмотрел десяток страниц и отодвинул рукопись Лиле. Та честно взялась за дело, но заскучала и бросила, не дойдя до середины.

Днем, на пляже, Лиля вернула князю тетрадь со словами: "Желаю вам успеха!"

И тут же поплатилась за свое лицемерие.

Князь оживился и стал кричать, что Лилия отлично разбирается в искусстве и что в Каннах его устраивает только Гран-при.

А мы Лилию презирали, высмеяли и забросали песком.

Через несколько лет по этому сценарию был создан один из лучших советских фильмов "Зеркало".

Могу лишь сказать в свое оправдание, что от первоначального варианта почти ничего не осталось.

Тем не менее...

А, может быть, все, что он молол, тоже соответствует действительности?

ЯЗЫЧНИЦА —

Читаю Марии Степановне стихи:

"Как он топтался — босой, бородатый Волошин,
То поднимал, то ронял безнадежно ручищи.
Как он молил капитана — безгрешный, безгрошный;
"Палубу вымою, тонну картошки начищу!"

Недовольна. Даже рассержена.

— Разве можно так про Масичку — ручищи?

И ласково:

— У него были лапочки.

Раз в году ее возят к могиле на вездеходе — машиной не добраться.

Она наводит порядок, перекладывает камни. Потом насыпает крошки — для птиц. И кладет яблоко — тоже для птиц.

Прежде всегда оставалась на ночь, разжигала костер — язычница! Но пограничники приказали "эту сигнализацию" прекратить.

СКОЛЬКО ЕЙ ЛЕТ ? —

Сколько лет Марии Степановне? Кто скажет? Во всяком случае, мы несколько приездов подряд справляли ее восьмидесятилетие.

ЭТИ ГЛУПОСТИ —

Парень и девушка, частые посетители дома, принесли новость:

— Мария Степановна, поздравьте нас — мы поженились.

Замахала руками:

— Ах, оставьте! И слушать не желаю про эти глупости!

СЛАВНО ПОРАБОТАЛИ ! —

После завтрака к нам заглянула Анастасия Ивановна. На этот раз она не торопится — Марусеньку увезли на морскую прогулку.

Анастасия Ивановна рассказывает о книге своих воспоминаний.

”Редактор работал, не покладая рук.

Пишу, например, что у нас служил старик-дворник, почти глухой. По вечерам родителям подолгу приходилось просяивать перед воротами, и отец раздобыл где-то для нашего глухаря огромный колокольчик, который ”гудел, как колокол на башне вечевой” и мог разбудить даже мертвого.

— Не годится! — говорит редактор. — Согласитесь сами, Цветаевы семья, хотя и прогрессивная, но буржуазная. Никто не стал бы возиться с глухим стариком. Его просто выгнали бы и наняли другого человека — помоложе.

— Но ведь я ничего не выдумала — все так и было.

— Было, но не характерно, — парирует редактор. — Нет уж, давайте вашего дворника выбросим.

И вычеркивает.

Дальше я рассказываю, что у нас имелись две горничные — на первом этаже и на втором.

— Не годится! — вздыхает редактор. — Посудите сами, Цветаевы семья, хоть и буржуазная, но прогрессивная. Давайте оставим одну горничную.

И шутит:

— Дом невелик, управится.

Так из сотен маленьких неправд, как из кирпичиков, складывалась одна общая неправда”.

ВДВОЕМ С АСЕЙ —

Марина Цветаева пишет, что она в юности читала стихи со сцены вдвоем с Асей — голос в голос, интонация в интонацию.

Прошу Анастасию Ивановну почитать эти стихи. Закрывая глаза.

Иллюзия полная. Мне кажется, что читает Марина Иванова. Интонации-то ее.

Впечатление потрясающее!

Я ДОЖДУСЬ —

Когда мы в первый раз уезжали из Коктебеля, Мария Степановна сказала:

— Приезжайте в следующем году — я дождусь.

И дождалась.

А последний раз мы покидали Коктебель пять лет тому назад и уже сами просили ее:

— Мы вернемся в будущем году — смотрите, обязательно дождитесь нас.

И она обещала:

— Я дождусь.

Но не дождалась. Слишком уж мы затянули.

Ее похоронили рядом с Володиным, на ”горé большого

человека”. И если верить, что души выходят из гроба, им хорошо: они вместе и видят по утрам свой дом, и сразу два моря — Черное и Азовское.

ЛИЦО МАРИИ СТЕПАНОВНЫ —

Фотокарточка. Лицо мужички с глазами, помнящими стихи. И надпись: ”Дорогим Лиле и Леве. Маруся Волошина”.

КЛЕОПАТРА —

Кто хоть однажды побывал в Коктебеле, в рисунок залива, гор и волошинского дома не может не вписать брошенных бездомных коктебельских собак.

Откуда их набирается столько каждый год?

Бывают и породистые.

Они живут на пустырях, попрошайничают по дворам, и в завтрак, обед и ужин слоняются у писательской столовой.

В тот год особенно был знаменит Кузмич или, как его называли другие, Билли Бонс — сущее чудовище: длинный, головастый, на коротких ногах, с грязной свалявшейся шерстью, смешение всех возможных пород.

Время от времени собак в поселке отстреливали.

Как-то утром у магазина сидел колли и протягивал всем простреленную лапу. Он не понимал, что вчера на него охотились люди и жаловался им же.

Билли Бонса Галя Евтушенко успела увезти в Москву за день до облавы.

А теперь о Клеопатре.

Я лежал на скамейке в слабенькой тени приморского деревца.

И вдруг на эспланаде появилась собачья свадьба. Впереди плелась сука, измученная бесчисленными посягательствами. За ней — одиннадцать ухажеров.

Сука легла у самой скамейки, как бы под мою защиту,

а соискатели расположились невдалеке на солнцепеке и лежали, разморенные от зноя, высунув языки.

Прохожие смеялись. Кто-то нас даже сфотографировал.

И тут возникло еще одно существо — тощая зауридная кошка.

Она бесстрашно прошла между собаками, прыгнула на скамейку и спрятала голову мне под мышку. Потом стала тереться о мое плечо и замурлыкала.

Не могу передать, как тронула меня эта неожиданная ласка.

Собравшись домой, я взял кошку на руки, но у ворот парка она спрыгнула в кусты и исчезла.

Через два дня мы услышали шуршание под дверью.

— Твоя кошка пришла, — сказала Лиля.

Это была действительно она. Как она нас нашла — непонятно. Дорожка делала несколько поворотов.

Вечером произошло еще более необъяснимое: со стороны лоджии (там и кошачьих следов-то не было!) послышался писк.

— А вот и ее котенок, — сказала Лиля.

Тоже мне Пифия!

Мы открыли дверь и в комнату, к моему изумлению, вбежал котенок. Кошка бросилась к нему и стала вылизывать.

Так у нас появилась Жужечка.

Когда я глядел на кошку, у меня сосало под ложечкой, как в голодные блокадные дни.

Она ела хлеб, откусывая его огромными кусками, куриные ножки пожирала вместе с костями, и они жутковато похрустывали у нее на зубах.

А ленинградская фря нашего приятеля употребляла только отварную камбалу и иногда фарш, да и то мясокомбинатовский — высшего качества.

Прошла неделя, прежде чем кошка немного отъелась и превратилась внезапно в писаную красавицу: большая, длинноногая, необыкновенно пропорционально сложенная, с модным причудливо-косым разрезом глаз, как бы обведенных черной тушью.

За эти египетские глаза мы и называли ее Клеопатрой.

Теперь, делая пометки в меню, мы отказывались от любимых блюд и исходили целиком из кошачьих интересов.

У Жужечки от хорошей жизни пропали блохи. Лиля очень привязалась к ней, тискала, целовала, но личностью, конечно, была Клеопатра.

До сих пор не понимаю, за что она меня так любила. Она брала меня лапами за лицо и покусывала щеки:

”Мы с тобой одной крови — ты и я!”

А Лиля поначалу даже отворачивалась, чтобы не видеть ее сильные лапы у самых моих глаз.

Любовь ее была неподкупной. Ее пытались кормить в соседних лоджиях, но она брала пищу только у нас.

За ней остались все ее свободолюбивые замашки.

Утром после завтрака она отправлялась на промысел и, пробравшись сквозь кусты роз, издавала охотничий клич:

— Я иду!

Она никогда не возвращалась без добычи и всегда приносила ее к моей постели — то птицу, то мышь: похвастаться или поделиться, не знаю.

Лиля с воплем хватала веник и выметала кровавый комок в лоджию, где Клеопатра устраивала второй завтрак, как бы ни была сыта. Она знала, что такое голодная резь в желудке, и наедалась впрок.

А затем наступила пора обучения Жужечки. Клеопатра, очевидно, прикладывала к ней свою полудикую судьбу — поэтому уроки были жестокими и бескомпромиссными.

Жужечка боялась лазать. Клеопатра, вся ошетинившись, загоняла дочку на кипарис, влезала сама и сталкивала ее оттуда.

Она то и дело нападала на нее из засады и они кубарем катились по полу или по моей кровати.

Эти учебно-показательные драки были очень свирепыми, и Жужечка орала, как резаная. Но однажды я нарочно подставил руку; Клеопатра, войдя в раж, ударила зубами и меня, и я увидел, что это совсем не больно.

Вся ее ярость оказалась чистым актерством.

Слава о нашей кошке докатилась до Марии Степановны и она пришла посмотреть на нее.

И Клеопатра опять поразила меня своей чуткостью. Она, сторонящаяся чужих, прыгнула к Марии Степановне на колени и легонько покусала ее морщинистые щеки.

Море стало похожим на Балтийское. Оно уже не сверкало огнями, с него дули холодные ветры. К тому же и путевки наши кончались.

Жужечку мы пристроили сравнительно легко — за пять рублей и несколько банок консервов. Ласковый пьяный мужичонка клялся ее кормить, не выгонять и, кажется, сдержал свое обещание.

С Клеопатрой было сложнее. Кошки в поселке жили у всех. Да она бы ни у кого и не осталась.

Тревога вселилась в нее за сутки до отъезда.

Лиля пошла прощаться с директором и Клеопатра увязалась за ней, хотя никогда прежде этого не делала.

Она чинно шествовала по краю дорожки, изредка поглядывая вверх.

— Не забывай обо мне. Я рядом.

Встречные улыбались.

У входа в административный корпус Лиля наклонилась, подхватила кошку и так и вошла к директору с живым воротником на плечах.

С пяти утра Клеопатра рвала нам душу. Она переходила с постели на постель, лежала то на моей руке, то на Либиной (с ней поменьше, со мной подольше), словно прощалась.

После завтрака она, как обычно, ушла охотиться, а за нами вскоре приехали.

В предотъездной суматохе она вдруг появилась — в неурочное время. Я не среагировал сразу и она, немного повертевшись среди людей и чемоданов, ушла снова.

Как я тосковал потом, что не приласкал ее напоследок!

Уборщице мы оставили деньги и просили кормить Клеопатру хоть первые дни.

Лететь было грустно. Мы представляли, как она приходит в пустую лоджию, становится на задние лапки и заглядывает в запертую стеклянную дверь.

Мы чувствовали себя негодяями.

Через полтора месяца Лиля вытащила из ящика письмо Лукерьи Антоновны — нашей уборщицы.

И ударили слова:

”А кошечка ваша не приходила ни разу. Ума не приложу, и как это она догадалась, что вы уехали!”

Где ты, Клеопатра? Жива, охотишься, дичаешь?

Или тебя глубокой осенью поймали, сунули в орущий, набитый бесхозными кошками мешок, отвезли подальше от берега и утопили?

Не хотел бы я тебе такой судьбы!

Комарово

Ты говоришь: я очень постарел.
То снова сердце, то опять прострел.
Сердитый. Озабоченный. Неловкий.
Что мне от лет своих не убежать,
Что остается целый день брюзжать
И сморщиться, как яблоку в духовке.
Я виноват, наверное... прости...
Вчера опять сидели до пяти.
Я сбился с темпа — что же тут такого?
При чем здесь возраст?... Ты сошла с ума.
При чем здесь возраст — посуди сама!
Ну, милая... Ну хочешь в Комарово?
Я не устану — ты доверься мне.
Мелькнет, как радость, белка на сосне,
И упадет к ногам пустая шишка.
И будем мы счастливые идти,
И так легко нагонит нас в пути
Вчерашний гость, подвыпивший мальчишка .

Со Шкловским я познакомился в комаровском Доме творчества, в тот свой первый счастливый приезд. Кого только там не было: и Виктор Некрасов, и надменная Панова, и Миля Кардин — автор дерзкой статьи "Легенды и факты", и Козырев — лыжник с королевской осанкой, замечательный астроном, недавно открывший вулкан на луне, и вдова Переца Маркиша.

А через несколько дней появился Шкловский.

Лиля подвезла меня к нему в вестибюле. Он сразу же очень заинтересованно спросил, как обстоят мои литературные дела. Я огорченно ответил: "Плохо, Виктор Борисович. Прямо какой-то гордиев узел".

Он так и вскинулся:

— А вы знаете, как разрубает гордиев узел?

— Нет.

— Спрашивают, кто здесь Гордий, и бьют по морде.

Я уже любил его. И началась у нас неделя Шкловского.

Он приходил к нам каждое утро, как на работу, скребся в дверь, и еще на ходу, не успев устроиться в кресле, начинал говорить: "А Володя как-то раз в девятнадцатом году..."

И мы знали, что это не какой-то там Володя, а, разумеется, Маяковский.

Я никогда еще не встречал такого изумительного рассказчика. Это был нескончаемый монолог — часа на четыре. Истории, парадоксы, мысли сыпались, как из рога изобилия. Хотелось схватить карандаш и записывать — зафиксировать хоть частицу этого фейерверка, но было неудобно.

До сих пор слышу его голос: "Ведь в искусстве как? Одни сдают мочу, другие — семя. А принимают-то по весу!"

Вспоминается забавный эпизод. У нас сидели гости. Виктор Борисович постучался, но увидев, что мы не одни, не смотря на уговоры, зайти отказался:

— Нет-нет... Не буду мешать... Я вас навещу позже... А пока посижу с Добиним.

Литературовед Добин и его жена Александра Александровна — очень уже немолодые, одинокие люди — души не чаяли друг в друге. Ефим Семенович часто хворал, и жена почти не оставляла его.

Гости уехали, и мы готовились к обеду. Вдруг Лиля случайно взглянула в окно и, вскрикнув, ринулась в коридор. Я взглянул тоже. По саду мчалась Александра Александровна. Даже на расстоянии было видно, что на ней лица нет.

Я сразу все понял. Очевидно, муж не встретил ее на вокзале в условленное время — значит, он тяжело заболел, значит, конец света.

Лилия перехватила ее у входа в вестибюль:

— Александра Александровна, дорогая, успокойтесь, — Ефим Семенович здоров, все в порядке.

Но та, ничего не слыша, отстранила Лилию, устремилась к номеру и распахнула дверь.

Маленький Добин лежал на огромном черном диване — одетый, в школьных детских ботинках, с мокрым полотенцем на лбу.

Александра Александровна возопила:

— Ефим! Что случилось?

Добин — бледный, с полузакрытыми глазами — приподнялся на локтях и ответил еле слышно:

— Меня Шкловский заговорил.

Мы с Лилей в своей комнате долго смеялись.

От этого невысокого, сбитого без швов старика (а ведь он был старик, хотя это тоже казалось парадоксом) буквально излучались сила и энергия. Когда он здоровался за руку, люди приседали. Поговаривали, что однажды у Эйхенбаума он завязал узлом кочергу.

В столовую он приходил с "маленькой". Глотал шарик витамина и запивал водкой. А потом завтракал.

В нем жила острая жажда впечатлений. В отличие от многих хороших рассказчиков, он не только говорил, но и слушал.

Помню, я поделился с ним какой-то баечкой о грузинских ворах. Казалось, он не обратил на нее никакого внимания.

Улыбнулся — и все. Но через пару дней (забыв, от кого слышал) он рассказал эту историю мне. И надо признаться, сделал это гораздо лучше — лаконично, отточенно, с блеском.

Все наши издательские обиды Виктор Борисович переживал, как свои.

— Вам нужно было ударить его по лицу, — учил он Лилию, — вообще сдерживаться очень вредно. Когда моя матушка разгневалась на одного грубияна, она бросила в стену кипящий самовар.

И добавил с гордостью:

— А я в молодости бросил своего соперника в раскрытый рояль.

О неумолимо надвигающейся старости он говорил с великой печалью, но иногда хорохорился. Выступая в Доме архитектора, он сказал:

— В этом зале я, вероятно, самый старый человек.

Наступила пауза. И внезапно — выкрик отчаяния и протеста:

— Но так было не всегда!

В уютный комаровский вечер, "когда у каждого окна крутилось по метели", когда на круглом столике аппетитно дымился чай, Лилия рассказала, как она впервые прочла "Zoo" и как ей хотелось написать ему.

Шкловский неожиданно расстроился.

— Почему вы этого не сделали? — укорял он. — Никогда так не поступайте. Ну что вам жалко было? Разве можно стесняться сделать кому-то приятное? Человек должен быть добрым.

Мы не нуждались в доказательствах его собственной доброты, но были счастливы, когда прочитали в книге Надежды Яковлевны Мандельштам трогательные благодарные страницы о том, как в самые тяжелые годы Шкловский и его жена помогали Мандельштамам.

Помог он и мне — написал к моей книге прекрасное доброе предисловие, надежно заслонившее меня от критики.

А я посвятил ему стихотворение.

Нас Летний сад не водит за́ нос —
Он не обманщик, не шутник.
И вот уже двуликий Янус
В осенней горечи возник.
Я — человек, к нему идущий —
Не плоть, а тонкое стекло.
Два глаза видят век грядущий,
Два — всё, что былою поросло.
Горит весельем, в горе тонет
Четырехглазый этот взгляд...
Татарской бурей мчатся кони,
Над ними спутники летят.
Зачем же собирать улики?
Не ройся в книгах — ни к чему.
Он не двуличный, он двуликий,
И я завидую ему.
Как юный лик высок и пылок!
А в старом — сила мудреца.
Я тихо тронул свой затылок:
А нет ли там еще лица?
По желтым листьям бродят блики,
Перемешались век и миг...
Стою печальный, одноликий,
А мир вокруг тысячник.

В БОЛЬНИЦЕ —

В больницу меня вез на новенькой машине наш друг — артист Юрский. Он такой знаменитый, что просто противно. Его узнавали на улице. Когда он вкатил меня в палату, больные привстали на своих постелях.

Стихи о больнице я написал уже месяц назад. Это был богоборческий протест, который я не читал никому, боясь притворных, укоризненно-бодряческих фраз Сережи и тайных слез Лили.

Здесь, в этой печальной обители, стихи пришлись один к одному. Я даже удивился, до чего точно все получилось:

И вновь больничные палаты:
Прими лекарство, бинт сверни.
А Бог опять взимает плату
И пересчитывает дни.
Его недремлющее око,
Его бестрепетная длань
Неторопливо и жестоко
Перебирают нашу дань.
Ну что ж, кичись своей казною!
Мы не в обиде — мы в тоске.
Мы прячем руки за спиною,
Зажав монеты в кулаке.
Идет беда по коридорам,
Сосед притих и спал с лица,
И этим Божеским поборам
Не видно доброго конца.

Я и не ждал доброго конца. Стоило протянуть руку, и слева на животе прощупывался упругий тяж. Врачи ежедневно поворачивали меня на бок и мяли железными пальцами — искали главную болевую точку. И только пальцы Елены Семеновны дотрагивались осторожно и ласково.

Сестры были милыми и внимательными — одна лучше другой; санитарок, как везде, не хватало.

Сосед по палате, бывший спортивный радиокомментатор, настойчиво предлагал мне по утрам электрическую бритву, но затем тщательно и брезгливо протирал ее одеколоном.

Очевидно, боялся заразиться.

Приходя с процедур, он долго кряхтел, а потом начинал хвастаться — не прошлым своим, заграничным и интересным, а убогим настоящим.

Достал отличный цветной телевизор. А совсем недавно купил дачу — не дачу, а загородный дом; и на машине недалеко, всего час езды.

Расспрашивал он и меня. А я, давно уже заметивший за собой этот грех, стеснялся нашей бедности и, презирая себя за мещанство, давал уклончивые ответы.

На противоположной койке пил морс из поильника полковник в отставке. Все знали, что дни его сочтены. Он изобретательно капризничал, измывался над женой, но все равно я его жалел.

У кроватей на бинтах висели бутылки, которые называли "катышами". По коридорам проносили кроваво-черную мочу.

Вечером, когда гасили свет, можно было полежать на спине и подумать.

Я думал, что не место здесь молоденьким девочкам-сестрам, что ни к чему уже соседу его роскошный загородный дом, а о себе я не думал — я вспоминал.

Иногда я задремывал, но внезапно просыпался и вспоминал снова.

Когда мы с Лилей поженились, у нас совсем не было друзей. По лестнице ЗАГСа меня нес один Ритик. Регистратор поставила штамп, я поцеловал жене руку и она благодарно отметила это на всю жизнь. Должно быть, Бог подсказал мне так поступить.

Вова везет меня через лесок, по усыпанной хвойными иглами дороге. Лиля говорила, что в детстве, если его спрашивали, где отец, он отвечал: "Собаки съели!"

Я хочу сказать ему, что не надо больше грустить, что он мне как сын, но робею и откладываю на завтра.

Я ведь не знаю, что вечером он утонет.

И опять Комарово. Середина лета. По стволу бегают белки. На солнышке греется пустой шезлонг. А на крыльце ближнего дома стоит Глеб Семенов с охапкой березовых дров.

У Семеновых топят,
Значит, осень пришла,
Значит, время торопят —
Вот какие дела.

И свистят электрички,
И бегут вдоль окна
Станций звонкие клички,
Дачных мест имена.
Этот день неподсуден —
Не желтеют сады,
Ходят строчки и люди
Возле невской воды.
Деловит, как хозяин,
Катерок на волне...
И весь город изваян
Не вокруг, а во мне.
Умираю в больнице
Наяву, наяву,
А ночами мне снится,
Что я снова живу.

И вот я лежу на рентгеновском столе. Он твердый — мне больно и неудобно.

”Задержите дыхание. Не дышите. Не дышите. Можно дышать”.

Сейчас все выяснится. А чему, собственно, выясняться?

Страха нет. Одна печальная покорность. Не биться же головой о стену! Да и стена далеко. Стол стоит посередине комнаты.

Я выпустил четыре книги. Из них только московская, предпоследняя, устраивает меня вполне.

Главные стихи остались в тетрадях. Напечатают ли их когда-нибудь? Через пять лет, через десять, через сто?

Через сто — ишь чего захотел! Ты проехал свой путь по усыпанной хвойными иглами дороге, и какая тебе разница, что будет потом?

Как это — какая разница? А Лиля?

И острая мысль — не от эгоизма, от жалости:

”Бедная моя, лучше бы она умерла первой — ей было бы легче”.

Каждые десять минут входит Елена Семеновна, она волнуется гораздо больше меня.

— Готово?

— Нет снимок еще не проявлен.

— Готово?

— Сейчас, Елена Семеновна, — скоро.

И наконец:

— Можно.

Она скрывается за дверью, почти сразу выходит сияющая и крепко меня обнимает:

— Нет опухоли!

И по всем этим бедным коридорам, по всем этим измученным палатам проносится:

”Нет опухоли! Нет опухоли!”

Я ощущаю себя членом несчастного братства. Я пытаюсь встать на место каждого из них.

Ну нельзя порадоваться за себя, так можно хоть за другого порадоваться!

А потом я лежал в палате. Соседи деликатно вышли.

Жизнь возвращалась.

У постели сидела моя жена, моя любимая женщина, и я дотронулся до ее груди.

Когда Лиля — ни жива, ни мертва — ждала в коридоре у рентгеновского кабинета, к ней подошла больная, — бледная, с изможденным лицом, с затухающими от муки глазами. Она сказала:

— Вашего мужа повезли на рентген, давайте я посижу с вами.

— Что вы! Зачем же?

— Нет, я все-таки посижу.

Они сидели рядом и молчали.

А когда все стало известно, она улыбнулась Лиле, погладила ее руку и с трудом поднялась, держась за спинку стула:

— Ну, теперь я пойду.

Звали эту женщину Ирина Антоновна.

Через неделю она умерла.

Я ее никогда не забуду.

ДЕРЕВЬЯ —

Стояла неслыханная жара. От Левашова до Песочной горел торф, и у железной дороги висел дымный туман.

А до нас дым не доходил. Воздух загустел от зноя, перемешавшись с запахом хвои, и стал таким густым, что его можно было нарёзывать ломтями.

Всю дорогу меня сопровождали деревья. После кладбища, когда путь стал извилистым, они придвинулись еще ближе.

Перед прогулкой мы поссорились, потом помирились, но на душе, как дымный туман, не оседала грусть.

Я представлял себе, как ты сидишь на веранде и смотришь в ту сторону, где скрылась моя коляска.

Дорога пошла под уклон, к мостику через ручей. Вода в нем пересохла, но уже ощущалась свежесть близкого озера.

Я думал о том, что когда я умру, ты останешься одна, и у нас нет ребенка, чтобы тебя утешить.

Я глядел на деревья и грусть моя не проходила.

Дорога к озеру спускалась
С холма, который добротой
Превосходил нас несомненно.

А это дерево... смотри:
Оно прекраснее и чище,
И лучше нас, как ни казись.

Что тут поделаешь! Ведь ты
Сама была, не помню только —
Березой или же ольхой.

Нет, погоди... Смешная память!
Ольхой, конечно: потому
Тебя и называют Ольгой.

А я был дубом или кленом...
А мальчик наш — он до сих пор
Почти такой же, как деревья.

ДЕВУШКА ЛЕНИН —

Как-то я присутствовал на великолепном, я бы даже сказал изящном уроке.

Мы только что приехали в Комарово (как всегда нас привез Гриша Т.), и к нам на веранду пришел с соседней дачи пятилетний малыш — живой, черноглазый, очень красивый. Он задал нам "сто тысяч почему", а потом завели свою взрослую шарманку и мы:

— Как тебя зовут, мальчик?

— Алеша Бейлин.

— А кем ты хочешь стать?

— Военным летчиком.

— Вот елки! — удивился Гриша. — А зачем?

— Как зачем? Я полечу, — говорил Алеша, восторженно жестикулируя, — а навстречу враг. Я та-та-та и собью его.

— А если он тебя? — спросил Гриша.

— Как он? — растерялся Алеша.

— Ну, как-как... Собьет да и все.

— Но я его первый... У меня же пулеметы... — хорохорился Алеша.

— Отстань от ребенка! — зашумели мы, но Гриша строго нас отстранил.

— Почему же первый? — настаивал он. — У него тоже пулеметы. И он может выстрелить раньше. Разве на войне наши не погибают?

— Нет, я первый, первый! — со слезами кричал Алеша. — Я зайду ему в хвост, он не достанет.

— Почему не достанет? — возразил Гриша. — Он тоже может зайти тебе в хвост.

— Я пойду домой, — сказал Алеша, — меня мама ждет.

— Конечно, иди, — сказал Гриша, и голос его даже тут не смягчился.

Алеша спустился со ступенек, но ему трудно было расстаться с хрустальной мечтой, и через минуту его мордочка появилась снова.

— А гражданским можно? — спросил он.

И Гриша великодушно разрешил:

— Гражданским валяй!

А вот история городская.

Наша соседка Маша впервые сходила в детский сад. Вечером, сидя на коленях у Лили, она вдруг заявила:

— Ленин умер, но дело его живет.

Мы так и ахнули:

— Какое дело?

— Дело.

На следующий день в автобусе Маша спросила:

— Мамоchка, мы едем по улице Ленина?

— Нет.

— А по какой же? По переулку Ильича?

Водитель оглянулся. Пассажиры заулыбались.

— Мы едем по Московскому проспекту, — сказала Света.

— Не хочу по Московскому, — заныла Маша, — хочу по улице Ленина.

— Успокойся, — нашлась Света, — мы едем по Ленинскому району.

Но этим дело не кончилось. Лениниана нарастала, как снежный ком.

Вернувшись домой, Маша опять закапризничала:

— Хочу видеть Ленина!

— Вот тебе журнал. Смотри.

— Не хочу на картинке, — захныкала Маша, — хочу так.

Доведенная Света отрезала:

— Не видела и не увидишь!

На помощь пришла Лилия.

— Маша, а кто такой Ленин? — спросила она.

— Девушка Ленин, — стала объяснять Маша (уверить ее в том, что не девушка, а дедушка — было невозможно),

— это такая тетенька, которая рассказывает детям сказки, когда они остаются одни.

— Все ясно, — засмеялась Лиля. — Тогда я и есть твой Ленин: ведь это я придумываю тебе сказки, когда мамы нет дома.

— Да ну тебя! — замахала руками Света. — Еще посадишь.

Но и это не было завершением. Утром Маша радостно известила всю квартиру:

— А я видела во сне Ленина. Тут значок, — она показала на лоб, — тут и тут! — и ткнула пальцем в висок и в затылок.

Правда, иногда детям снятся и другие сны. Шестилетний сын сообщил папе (громко, на улице):

— А знаешь, мне сегодня приснился сон. Идем мы по Невскому, а навстречу пьяный. Гляжу: ну так и есть — Владимир Ильич Ленин.

Давайте вернемся в Комарово.

Каждый день мимо нашей дачи в ближайший лесок дефилировал детский сад. Ребята шагали строем (несколько растянутым и неровным) во главе с тощей воспитательницей и пели:

”Мы шли под грохот канонады,
Мы смерти смотрели в лицо...”

Этой песни хватило на все лето. На следующий год звонкие детские голоса выводили уже другое:

”Если смерти, то мгновенной,
Если раны, небольшой...”

Когда дети шалили, воспитательница грозила:

— Сейчас же перестаньте! Не то возьметесь за руки и будете ходить парами вокруг дерева.

Я услышал это, и мне сразу пришел на ум давний рассказ Лилюного приятеля, студента хореографического училища Эгона Бишофа, который краешком детства успел зацепить гитлерюгенд.

— Если учитель в классе говорил что-нибудь смешное, — вспоминал Эгон, — он командовал:

— Три раза короткий смех: ха-ха-ха!

По-моему, этот троекратный механизированный смех ничуть не лучше, чем ходить парами вокруг дерева. Это две сливы, упавшие с одной ветки.

Однажды весь детский сад повис на заборе, любуясь на наших зверей. Лиля забрала Бишку и отозвала Гека. Воспитательница — уже другая, молодая и симпатичная — воскликнула:

— Дети! Тетя один раз сказала: "Гек, пошли, маленький!" — и он сразу послушался. А я вас зову уже десятый раз. Что же вы, хуже Гека?

— Хуже! Хуже! — радостно завопили дети, и в чем-то они были правы. Семнадцатилетняя дочка наших друзей на вопрос, понимает ли Гек команды, возмущенно ответила:

— Гек понимает не команды, а человеческий язык.

В отличие от Гека, дошколята — Господи, даже дошколята! — пронизаны идеологическим водопадом.

Первая песня, которую они слышат и заучивают:

Я маленькая девочка,
Играю и пою,
Я Ленина не видела,
Но я его люблю.

Раньше пели: "Я Сталина не видела". Потом, после двадцатого съезда, Сталина заменили Лениным. Не удивляюсь, если его, в свою очередь, заменят Брежневым. Он ведь тоже девушка.

МУЖ АХМАТОВОЙ —

Как-то к нам на дачу в жаркий солнечный день зашел человек в трусах — по дороге с озера.

— Здесь раньше Ахматова жила?

— Да.

- А муж ее кто?
 - Поэт.
 - А как его фамилия?
 - Гумилев.
 - Он что — и сейчас тут живет?
 - Нет, он тоже умер.
 - Давно?
 - Давно.
 - Когда же?
 - В начале революции.
 - Его что — белые убили?
 - Нет, красные, — ответила Лиля, обозлившись.
- Он посмотрел на нас дикими глазами и мгновенно исчез.

ТАТКА —

В Доме творчества жил ленинградский писатель Титов — милый, но опустившийся человек, алкоголик. Его часто навещала жена — немолодая женщина с грустными черными глазами.

Сеня Ласкин (до всего-то ему дело!) однажды спросил:

— У тебя жена еврейка?

— Нет, — с гордостью ответил Титов, — она у меня татка.

Сене, как всегда, захотелось блеснуть эрудицией.

— Конечно, еврейка! — воскликнул он. — Таты — иудейская ветвь, азербайджанские евреи.

— Этого не может быть, — возразил Титов, — ее двоюродный брат писатель Мусаханов.

— Да знаю я твоего Мусаханова, — сказал Сеня, — он всем говорит, что он еврей.

Титов даже в лице переменился:

— Что же мне делать? Вот беда! А у меня сын такой анти-семит!

ЧЁРТОВЫ ПРАЗДНИКИ —

До чего все-таки запугано наше поколение!

Через стекла веранды мне хорошо видно, как пристроился у окна и осторожно завтракает писатель Жестев. Он маленький, смешной, и носит прозвище "еврей-аграрий", потому что пишет романы из колхозной жизни.

Этот человек для меня загадка. У него всегда все было благополучно, его толстые скучные книги любил Хрущев.

Но я не знал еще существа более приниженного. Он боится всех: начальства, прохожих, даже Лилю и меня.

И не включает нашего советского радио, чтобы соседи не подумали ненароком, что он слушает западное.

Лилия хотела подшутить:

— Что это вы читаете, Марк Ильич, — "Континент"?

Но я отговорил:

— И не вздумай. Его тут же кондрашка хватит.

А вот иллюстрация — о том же.

Соседка по даче, женщина примерно моих лет, рассказывает:

— Хотела устроить мужу юбилей — так трудно! Продуктов нет, всюду очереди. А тут еще эти чёртovy майские праздники.

И мгновенно пугается:

— Впрочем, что это я! Какие же они чёртovy!

Я злорадно подхватываю, дразню:

— А какие же еще? Конечно, чёртovy! Чёртovy майские праздники, всем осточертели.

У нее даже губы белеют от страха:

— Нет, зачем же, я майские праздники люблю!

НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ —

Рядом со страхом прекрасно уживается тщеславие.

У нас на участке одновременно арендовали комнаты Кутузов, Раевский и Ланской.

Целый 812-ый год!

Только у Женьки Кутузова фамилия была настоящая. Раевский и Ланской — скромные писательские псевдонимы.

Вот так — знай наших!

АНТИСЕБИТ —

Под сосной, у нашего пандуса — разговор с трехлетним Василием. Он худенький, звонкий, белобрысый. Родители его китаисты.

— Вася, а ты кто?

— Китаец.

— Может быть, еврей?

— Нет, китаец.

Спрашиваю по-другому:

— А ты немец или еврей?

— Немец.

— Эстонец или еврей?

— Эстонец.

Стало совсем интересно. Меняю местами.

— Ты еврей или индус?

— Индус.

— Еврей или итальянец?

— Итальянец.

Не хочет быть евреем, хоть тресни. Даже удивительно.

— Вася, так ты, может быть, антисемит?

И радостное:

— Антисебит!

БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК —

Вечером, когда мы возвращались с озера, нам навстречу из леса вышел грибник — небритый, неопрятный, с двумя полными кошелками... У него было хмурое, неприветливое

лицо, но увидев Гека, он вдруг поставил кошелки на землю, раскинул руки и сказал — восторженно и изумленно:

— Какой красивый белый человек!

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ —

Это бывает не часто. Но сегодня подступило. Опять я вспоминаю свою выписку из онкологической клиники.

Я уже сижу во дворе в инвалидной коляске, а из всех окон смотрят люди в больничной одежде и кричат:

— Не возвращайтесь! Не возвращайтесь!

Наверное, так кричали Орфею, выходящему из ада:

— Не оглядывайся! Не оглядывайся!

А он оглянулся.

А озеро внезапно на меня
Выходит из сумятицы сосновой.
Опять купанье красного коня —
Не озеро, а детство вышло снова.
Журнальная картинка на стене,
И мама наклоняется ко мне.

Не надо детства, юности не надо,
И памяти, и трупов на снегу...
Прозрачная озерная прохлада,
Я возвращаться в это не могу!
Журчит вода, как в давнем полусне,
И мама наклоняется ко мне.

Я памяти своей не понимаю —
Зачем ей жить и жалить без стыда?
И я друзей далеких обнимаю,
Которых не увижу никогда.
А кто-то уезжает на коне
И мама наклоняется ко мне.

Пожалуй, самая любопытная фигура в ленинградском Союзе писателей — Юрий Сергеевич Рытхейу.

Это удивительный сплав культуры и дикости, обаяния и отталкивания, широты и скупости, цинизма и немного притворного, почти детского простодушия.

Советская власть дала ему все. Если бы не произошла в 17-ом эта заварушка, он жил бы в грязной яранге, бил нерпу, мазал лицо тюленьим жиром и говорил по-русски несколько слов.

Сейчас он секретарь Ленинградского отделения, член Правления Союза писателей СССР, символ советской национальной политики, один из самых богатых людей нашего города.

На секретариате даже обсуждался вопрос, что три писателя — Гранин, Шестинский и Рытхейу — заработали за год слишком много (около миллиона), и что это вроде бы неприлично.

За гнилым штакетником, среди подпирающих небо сосен, скромно расположились четыре дачки — невзрачные и совершенно одинаковые. Тесные многоквартирные домики Литфонд поделил пополам — на две семьи.

В 75-ом году мы неожиданно узнали, что нашим новым соседом будет Рытхейу.

Почему такой Крез, такой немыслимый богач удовольствовался столь жалким помещением? Из жадности? Совсем нет.

По капризу первого секретаря обкома Романова ни один ленинградец не имеет права приобрести дом в Курортном районе, не лишившись городской прописки.

Рытхейу мог бы скупить весь переулок Осипенко. Однако, "хоть видит око, да зуб неймет". Ничего не поделаешь — закон.

Новые соседи — всегда тревожно. Но нас успокоили:

— Да не бойтесь вы! Вам повезло. В ленинградском Союзе Рытхейу — единственный европеец.

Он действительно проявил необычную для писателя воспитанность. Первые слова были:

— Можно, я пройду поздороваться слевой?

А за ним цепочкой потянулась знакомиться семья: жена Галя и дети, все уже взрослые — Сережа, Саша и красotka Оля, которой мы тут же подарили сиамакого котенка.

К приезду Рыхеу я подготовился: поворожал глыбы его книг, поворошил журналы и, надо сказать, неподдельно огорчился. Прежде всего, это было неталантливо. Громада этнографии без всякого художественного отбора наваливалась на сюжет, лишая произведение динамики.

Минут через сорок у меня начинало ломить скулы и я просил Лилу: "Долистай и расскажи своими словами".

Поэтому я был ошеломлен, когда в ответ на расспросы о современном Севере, Юрий Сергеевич обрушил на меня каскад поразительных историй. И каждая из них была новеллой — короткой, с неповторимыми характеристиками: и количество таких новелл казалось неисчислимым.

— Юра, — спросил я (через пару дней мы перешли уже на ты), — почему ты этого не записываешь?

Он усмехнулся:

— А зачем?

— Как зачем? Такие блестящие миниатюры! И абсолютно готовые.

Он опять усмехнулся:

— Ну и что! Ведь их не напечатают. Я знаю, какой товар нужен.

Меня резанула его фраза, но я продолжал:

— Ты ведь можешь писать вперемежку: неделю роман, неделю рассказы. Не хочешь писать, начитывай на магнитофон.

— А зачем?

— Ну напечатают когда-нибудь.

— Когда? После моей смерти? Мне это безразлично.

И повторил:

— Я знаю, какой товар нужен.

Я не удержался:

— Мне кажется, что ты человек необыкновенно высоко поднятый советской властью, но ею же и загубленный.

Он третий раз усмехнулся, явно польщенный.

Попробую пересказать несколько историй.

У чукчей обостренное чувство совести. Один из них проштрафился — напился или подрался: других провинностей не бывает.

Секретарь райкома — русский — долго его распекал:

— И тебе не стыдно! Все тебя уважали. Что ты скажешь соседям? Как ты будешь глядеть в глаза детям и жене?

Чукча пошел домой, снял со стены винчестер, перестрелял всю семью и застрелился сам.

Секретарь райкома потом хватался за голову:

— Что я ему сказал? Ну что я такого ему сказал?

Вторая история, к счастью, завершилась благополучно. Начинается она, примерно, так же. Пожилой чукча в чем-то провинился. Он был членом партии с большим стажем, и племянник-комсомолец повез его на бюро обкома.

Дядя перетрусил и по дороге спрашивал племянника:

— Что они со мной сделают?

Тот утешил:

— Да ничего тебе не будет. Поставят на вид — и всё.

Дядя на беду оказался культурным. Он даже слышал краем уха про гражданскую казнь Чернышевского.

Он ясно представил себе, как его поставят "на вид", в центре города, почему-то у памятника Ленину, и все будут проходить мимо и плевать наказанному в лицо.

Они остановились в гостинице и племянник на минуту отлучился. Когда он вернулся, дядя уже совал голову в петлю.

И еще одна история — смешная.

Знатный оленевод, орденоносец впервые приехал в Магадан. Там его окружила толпа цыганок. Они кричали:

— Молодой! Красивый! Давай погадаем! Позолоти ручку!

Чукча, никогда не видевший цыганок, попятился и сказал:

— Товарищи! О чем гадать? План мы выполнили, в обкоме о нас знают. О чем тут гадать?

Про свое детство Рытхеу рассказывает скупое, но все же рассказывает.

До двенадцати лет он не знал русского языка. Дети играли в русских, как наши — в индейцев.

Первый город, в котором Юра побывал, — Магадан. Главное и ужасное впечатление — нищий, протягивающий руку за милостыней.

— У нас такого не случалось. Одинокие старики жили по очереди в каждой яранге. Их кормили и никогда не обижали.

Рытхеу исполнилось уже четырнадцать, когда всех мужчин, кроме стариков и больных, внезапно арестовали. Сквозь слезы и проклятия перепуганных женщин их погнали на паром и отвезли в бухту Лаврентия — строить аэродром.

Официально они не значились заключенными, но территория была опоясана колючей проволокой и на вышках стояли часовые.

Юру определили помощником повара. Каша варилась в таком огромном котле, что ее размешивали лопатой.

Когда люди засыпали, Юра скидывал обувь, влезал босиком в котел и сдирал со стенок самое вкусное — теплую подгоревшую корку.

Думаю, что первую прививку цинизма советская власть сделала ему именно здесь, в лагере. Надо было получать комсомольский билет и к мальчику приставили конвоира. Из райкома он тоже шел под дулом, держа аккуратную серую книжечку и разглядывая изображение Ленина.

Через несколько дней он сбежал. Его не нашли да и не очень-то искали.

Юра сел на корабль "Чукотка" и поплыл к себе в Уэллен. Команда не догадывалась, что он беглый, и к нему относились хорошо.

На корабле была еще одна пассажирка, жена секретаря райкома — красивая, совсем юная эскимоска. Всю ночь Юра нянчил ее ребенка, а матросы по очереди заходили к ней в каюту. И каждый оставлял плату — пачку махорки.

Утром она честно отдала Юре половину.

Отца своего Рытхеу не помнит. Мать пьяный отчим убил палкой.

Мы спросили Галю:

— Кем же был Юрин отец?

Она ответила:

— Кто его знает? У них ведь обычай: гостю всё — и лучший кусок, и собственную жену на ночь.

И с надеждой:

— Может быть, он даже был американец.

Она рассказывает:

— Когда у них рождается полурусский ребенок, в семье праздник. Даже отчим гордится им больше, чем своими детьми.

И добавляет:

— У них это просто. Я сама видела — спускается вертолет, а чукчанки прыгают от радости и кричат: "Геологи приехали! Ебаться будем! Ебаться будем!"

А теперь скажу о другом.

На чукотский язык переводили уже Чехова, Тургенева, Толстого. Не могу осознать как, хоть убейте!

В северных языках не хватает еще многих слов и понятий.

Знаете, за что сидел крупнейший специалист по Северу Михаил Григорьевич Воскобойников? За безобидную статью о пионерах.

На звенкийском нет слова "галстук". Воскобойников мучился, мучился, не находя эквивалента, и употребил выражение "пионерский ошейник".

В результате — тюрьма.

А на чукотском нет "этого сладкого слова свобода". Представьте себе, просто нет. Зато есть слово "йынтыльын" — сорвавшийся с цепи. И Юра, смеясь, рассказывал, как уже в наши дни читал в газете про Кубу — "сорвавшийся с цепи народ".

Мы часто сообщаем о фантастическом интеллектуальном росте малых народов, перемахнувших из первобытно-общинного строя сразу на высоты социалистической культуры.

Действительно, сделано немало. Но в неумном порыве хвастовства мы допускаем и фантастические преувеличения.

Первое поколение интеллигенции, естественно, не может воспринять культуру в полном объеме.

Ко мне пришел как-то молодой нанайский поэт.

— Вот вы, русские, — сказал он, слабо разбираясь в существе вопроса, — считаете нас дикарями. А у нас очень справедливые законы.

— Ну, например? — заинтересовался я.

— Ну, например, — сказал он, — если кто-нибудь убьет у другого сына, он должен ему своего сына отдать.

Подумал и дополнил:

— Или деньгами, сколько тот попросит.

Потом он почитал мне стихи. Они были довольно сложные, с игрой слов, с изысками, и я — помню — сильно удивился.

Недоумение мое прошло, когда еврейский поэт Мойше Тейф сказал Лиле:

— У меня восемь строк, а у Юнночки шестнадцать. Вторую половину она досочинила сама. Но зато, как получилось!

Мне он писал:

”Если вы захотите переводить мою поэму, я даю Вам полную свободу, но ставлю условие: перевод должен быть лучше оригинала”.

Господи, как можно пойти на такое унижение!

На моем столе лежит потрепанная, зачитанная книжка — ”Высокие звезды”. Автор — Расул Гамзатов. Стихи его великолепны.

Два талантливых переводчика, Гребнев и Козловский, сотворили чудо. Перед нами живой, дышащий поэт — лукавый, трогательный, своеобразный. Пожалуй, слегка чувствуется влияние Маршака, но на фоне кавказского колорита это приобретает особый аромат.

И какое удивительное единство стиля! Разве можно подумать, что здесь трудились двое? (А вернее — трое!)

Вот строфа со страницы тридцать четвертой:

”Махмуда песни будут жить, покуда
Неравнодушен к женщинам Кавказ.
Но разве после гибели Махмуда
Любовных песен не было у нас?”

А вот — со страницы двести сорок шесть:

”Певец земли родной,
Я сплю в могиле тесной!
Кто рядом спит со мной?
Мне это неизвестно”.

Какую строфу перевел Гребнев, а какую Козловский? Если не заглянешь в оглавление, узнать нельзя.

Но случилась беда: триединство распалось. Вероятно, произошла обыкновенная глупая человеческая ссора.

А Гамзатова, русского Гамзатова больше нет. Его переводят самые известные поэты — Рождественский, Ахмадулина. Они и переводчики отличные. А тут — никак не могут попасть в тон.

И парадокс: стихотворцы, которых переводят теперь Гребнев и Козловский, вдруг стали писать лучше и все как один похожи на прежнего Гамзатова.

Кайсына Кулиева, например, просто не отличить.

Я спросил у прелестного человека Ф. И.:

— Что это значит?

Он тонко улыбнулся:

— Я не буду отвечать на ваш вопрос. Скажу только, что у Гамзатова недавно опубликован цикл сонетов. А я точно знаю, что на аварском языке нет рифмы.

Я внутренне ахнул: как нет рифмы? Но у него же все стихи рифмованные!

Может быть, Ф. И. пошутил? Да нет, вряд ли. Разговор шел серьезный.

Предвидя хор возражений, хочу ответить сразу. Я ни на секунду не собирался бросить тень на знаменитого аварского поэта. Может быть, на родном языке он пишет прекрасно и ему совсем не нужна рифма. Но уверен в одном: он непохож на своего русского однофамильца.

А сейчас пример иной — к великому сожалению, бесспорный.

Вот юкагирский поэт Ганя Курилов. Он вытаскивает из кармана подстрочник. Я уже привык к этой теме, в которой меняются лишь названия народов: юкагиры жили плохо, пришел Ленин, юкагиры стали жить хорошо.

Прошу:

— Теперь прочтите мне стихотворение по-юкагирски.

Ганя смущается:

— Не помню. У меня плохая память.

Еще ничего не подозревая, говорю:

— Неважно. Прочтите любое. Я просто хочу послушать, как звучат стихи на вашем языке.

Ганя смущается совсем. Он даже пятнами покрывается от смущения.

— У меня плохая память... Не помню наизусть ничего.

Я начинаю сердиться:

— Но ведь оно же записано! Почему вы не взяли его с собой?

И быстрый нахальный ответ:

— А мы маленький народ — у нас нет письменности.

И тут я начинаю понимать: он вообще не пишет стихов. Он катает подстрочники и приносит их для перевода.

Я не стал его переводить. И, как выяснилось, сваял дурака.

Через полгода в "Юности" напечатали большой цикл стихов Курилова в переводе Германа Плисецкого. У Гани уже был красивый псевдоним Улуро Адо́ (Сын озера). А вскоре поэт и переводчик выпустили стихотворную книжку.

Сегодня Ганя уважаемый человек, народный поэт. Возможно, он и научился писать какие-нибудь простенькие вещи по-юкагирски: неудобно все-таки. Но думаю, что главное его занятие — подстрочники.

Существуют две школы поэтического перевода. Одна — за точность, вторая борется за дух, а не за букву. У каждой из этих школ есть свои короли, свои виртуозы. У первой — Лозинский, у второй — Жуковский и Пастернак.

Это — в декларациях. Как правило, такие мастера работают на стыке двух школ.

Но в Советском Союзе есть и третья школа — писать за поэта. Она компрометирует поэзию малых народов — ведь читатель никогда не знает, что принадлежит переводчику, а что автору. И невольно возникает вредная мысль из "Клима Самгина":

"Да был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было"?

Как же обстоит дело с Рытхей? Сам ли он пишет? Бесспорно! А сам ли доводит до кондиции? Тут у меня возникают некоторые сомнения.

Когда Юра в своем творчестве перешел с чукотского на русский, у него были литправщики — Маргарита Довлатова и Смолян. Секрета из этого не делалось.

Но потом их дороги разошлись и по общепринятой версии Рытхей ни в ком больше не нуждается.

Так ли это?

В августе он привез из города толстую папку с новым романом.

— Надо еще хорошенько вычитать.

— Давайте я, — предложила Лиля, — я умею.

Он грудью лег на стол, загоразивая свое детище.

— Нет.

Сказано было так решительно и так испуганно, что Лиля, конечно, не настаивала.

У Рытхей железный режим.

— Вот вы, поэты, говорите: вдохновение, вдохновение... Чепуха все это — работать надо!

В шесть утра он садится за машинку. Но сперва разминка: пробежка к озеру и обратно. Трудится он не очень долго, несколько часов. Ежедневная норма — шесть страниц.

Мало? Посчитаем.

В месяц — 180, в год — 2160.

Будем щедрыми, скинем половину — на случайности, на праздники, на поездки. (Хотя в праздники и во время поездок он пишет тоже). Но не будем мелочиться, даже округ-

лим. Тысяча страниц в год — таков его гарантированный минимум.

И выгоду из этих страниц он выжимает до капли. Сначала разбрасывает отрывки по газетам, тонким журналам и альманахам. Затем печатает вещь целиком в журнале солидном. И под занавес публикует отдельной книгой. А потом почти всегда переиздает.

Я дотронулся до папки:

— Где ты собираешься публиковать новый роман?

— Не знаю. Не решил. Может быть, в "Знамени", может быть, в "Новом мире" — кто больше заплатит.

Меня опять, в который раз, резануло.

— Юра, да плевать тебе на деньги. Ты — обеспеченный человек. — (Стараюсь подобрать выражение помягче.) — Неужели ты не можешь позволить себе напечататься в журнале наиболее престижном?

И холодный ответ:

— Мне это все равно. Я продаю — они покупают. Кто даст за лист не триста, а четыреста, тому и продам.

Невольно прикидываю про себя. В романе — листов сорок. Значит, шестнадцать тысяч. И ведь речь пока только о журнале.

Юрий Сергеевич родился в 1930 году. В 57-ом, в лифте Дома книги, изрядно уже накачавшись, он кричал незнакомому человеку — моему приятелю Михаилу Тартаковскому:

— Пойдем! Выпьем коньячку! Я ставлю. Я первый чукча, о котором написали в Большой Советской Энциклопедии!

Эту его гордость я понимаю и разделяю.

Тогда же он получил телеграмму от Хемингуэя:

"Так держать, Рытхеу!"

Но, поставив творчество на поток, молодой писатель быстро свел на нет свои первые успехи.

Кстати, о коньяке. Когда-то Юра пил по-страшному. Весь налет культуры ссыпался с него, как штукатурка. Но с помощью Гали он спасся от зеленой гибели.

В любой компании он демонстративно ставит перед собой фужер и бутылку лимонада.

Срывается он два раза в году — у себя в Уэллене. Он пьянствует сам, спаивает весь поселок, и Гале не однажды приходилось покупать билет и лететь ему на выручку.

На Чукотке Рытхеу — Бог. Его сопровождают самые знатные люди — начальник КГБ и секретарь обкома. На военных кораблях капитаны закатывают банкеты в его честь.

Юрия Сергеевича всегда ждет двухкомнатная квартира окнами на бухту Провидения. Он показывал мне слайды, и я сошел с ума от этой призрачной красоты.

С Севера приходили от него смешные письма:

”У нас тут две собаки. Одну зовут Кагор, а другую — Вермут. Они передают привет Геку”.

Встречались и фразы довольно противные, явно рассчитанные на посторонний глаз:

”Вчера бушевала пурга. Напротив ресторана стоит памятник Ленину, и кто-то надел ему на голову дорогой малахай. Пожалел Ильича — не замерз бы”.

Но Рытхеу ездит не только на Север. Эфиопия, Уганда, Танзания — куда его не заносило? А вот и Вьетнам...

— Во Вьетнаме меня любят.

Юра говорит, что он представитель ЮНЕСКО и что о каждой стране он должен написать отчет всего на полторы странички.

Он снимает номера в фешенебельных отелях, живет за границей дольше, чем в Советском Союзе, привозит чемоданы барахла.

Откуда у него столько валюты? Кто он — шпион? Связой? Или выполняет другие деликатные поручения?

Вот он сидит напротив меня на диване, в красивой сильной позе, непринужденно подогнув ногу, Рытхеу Юрий Сергеевич — человек, придумавший себе имя и отчество, мой собеседник, только что написавший на подаренной книге:

”Лиле слевой — сердечно, по-соседски, на всю жизнь”.

Его узкие глаза под импортными очками дружелюбно поблескивают, и я покупаюсь на это дружелюбие.

— Юра, — говорю я, — я не люблю мешать товарищеские отношения с деловыми. Но тут все очень серьезно. Вспомни

на минуту, что ты секретарь Союза писателей и представь, что я у тебя на приеме. Решается вопрос о квартирах. Я всю жизнь — 54 года — теснюсь в коммуналке и мне страшно, что нас опять облапошат. Не можешь ли ты поставить вопрос на Секретариате?

С отвращением слышу в своих словах просительные нотки, стараюсь разбавить их шутливой интонацией.

Но Рытхей, будто подыгрывая, и вправду превращается в секретаря, причем далеко не в лучшего.

За стеклами уже не глаза, а льдинки.

— Не люблю я мешаться в эти дразги, — бормочет он, — ну, попытаюсь.

Весь день я лежу, как оплеванный. Потом думаю:

”Чёрт с ним, все-таки квартира...”

Осень. Мы переезжаем в город. Наступает день секретариата.

Четыре часа, шесть, восемь — телефон молчит. В десять, переволновавшись до предела, звоню сам.

— Здравствуй, Юра.

— Здравствуй.

— Ну как там?

— Что?

Издеается или не понимает? Ведь мы дня два тому назад напоминали Гале. Она справилась и ответила: ”Юра помнит”.

Уже почти догадываясь, продолжаю мучительный диалог:

— Как с нашей квартирой?

— Об этом вопрос не ставился.

Не ставился? Но ведь он сам обещал его поставить.

Говорю упавшим голосом:

— Ну извини, что побеспокоил.

И равнодушное:

— Ничего. Пожалуйста.

Дистанция! Как я мог позабыть о дистанции? Так мне и надо!

А к портрету добавляется еще один штрих. Рытхей добродушен, обаятелен, улыбчив. Из спортивного интереса (если

не надо мстить) никому не причинит зла. Но понятие "помочь другому" в нем попросту атрофировано.

Новое лето. Рытхеу заходит к нам каждый день, как ни в чем не бывало. Поставил на место — и ладно. А я (по-своему, разумеется) продумал табель о рангах — и тоже ладно.

К тому же, интересно с Юрой необыкновенно. Фантазия его неистощима и отличить правду от вымысла не так уж легко.

— На Севере один журналист подписывается псевдонимом Корней Чуковский.

— Юра, да ты выдумал!

Смеется.

— Недавно на Ленфильме обсуждался мой сценарий. Все, как один, приняли его в штыки. А я вышел и сказал:

"Культурные люди, а истории не знаете. Когда в римском сенате принималось единодушное решение, оно вызывало сомнение и считалось ошибочным".

Я в телячьем восторге от мудрости римского сената и лишь на следующий день соображаю, что Юра все выдумал, начиная с Ленфильма. Там его сценарии проходят беспрепятственно.

Бывают баечки и поглубже. Юра без чьей-либо помощи переместил на своей веранде всю мебель — громоздкую и тяжеленную.

Я похвалил:

— Ну, Юра, ты проявил настоящую мужскую доблесть.

— Настоящая мужская доблесть не в этом.

— А в чем?

— Мне недавно задала подобный вопрос одна дама, и я тут же на деле показал ей, в чем такая доблесть заключается.

Все это говорится при Гале, которая бледнеет от ревности, но не смеет и пикнуть.

А через неделю опять:

— Танцевал с женой президента Маркоса. Тридцать шесть лет бабе, а тело такое крепкое — просто на удивление.

Все это с намеком, что не только танцевал и, конечно же, опять при Гале.

Галя бледнеет, но тщеславие сильнее ревности, и фотография президентши, большая и красивая (по-моему, массовый выпуск), висит на самом видном месте.

У Юрия Сергеевича любовь к соленью органически входит в присущий ему цинизм. А цинизм этот не поддается описанию.

Вот снова в "Ленинградской правде" его заметка: "Размышляя над статьями новой советской конституции, я понял..."

— И долго ты размышлял над статьями новой советской конституции? — ехидничаю я.

Реакция мгновенная.

— Пятнадцать минут, — отвечает он, но сразу под каким-то предлогом выходит, остерегаясь насмешек.

Сам он позволяет себе шутки довольно рискованные:

"Я верю, что у нас здоровая молодежь. Пройти комсомол и остаться человеком, для этого действительно надо обладать незаурядным здоровьем".

"У всех членов партии положительный резус".

"Я изобрел для диссидентов новый способ политической борьбы — сексуальная голодовка".

Мы не до конца доверяем ему и соответствующую литературу прячем подальше. Но острым охотничьим глазом он углядел неосторожно положенный самиздат. Это письмо Татьяны Ходорович Леониду Плющу — гневное, вдохновенное, прекрасное.

— Лиля, я возьму почитать.

В его словах не просьба, а констатация.

Пугаемся, но не очень. Юра человек опасный, но масштабный и мелким стукачеством заниматься не будет.

Утром спрашиваю:

— Понравилось?

— Нет.

— Почему?

— Не интересно.

Думаю, что врет. Думаю, что проглядывал все — и Солженицына, и "Континент", и "Вестник русского христианского движения". Хотя бы из любопытства.

Еще один забавный разговор:

— Юра, ты читал "Шум и ярость" Фолкнера?

— Я не люблю Фолкнера.

— А кого ты любишь из американцев?

Молчит. Думает.

— А Хемингуэя, Фитцджеральда?

— Они литературны.

— Что ты под этим подразумеваешь?

— Это, как черная икра из нефти. Ненатурально.

— А что ты думаешь о своем сопернике — Джеке Лондоне?

— Ну, он, конечно, очень талантлив. — (Не хватило наглости!) И тут же, надменно: — Но это — взгляд со стороны.

Никто не может писать о Севере. Только он — Рытхуе.

Опасаясь, что записи мои несколько фрагментарны. Но Юра то появляется, то исчезает, и мне приходится прибегать к моментальной съемке.

Вот он приходит из Дома творчества, злой:

— Не верю ни одному белому человеку!

Фраза удивительная, но она звучала уже не раз.

Спрашиваю:

— А Галя?

Хмуро:

— Ну, Галя — дело другое.

И вдруг — истерика:

— Что евреи? Что они носятся со своим еврейством? Побывали бы в моей шкуре.

Он умный и хитрый, как бес. В одну секунду соображает, что сболтнул лишнее и превращает все в шутку.

— Евреи, — говорит он, — это тот народ, о который разбивается волна русского шовинизма, и докатывается до нас, чукчей, в виде дружбы народов.

И, чтоб окончательно увести, подкидывает остроту покороче:

— Антисемитизм — это античукчизм в квадрате.

Ох, как любит он поиграть в ущемленное национальное самолюбие, посмаковать выражение "белый человек"!

Кто-то говорил мне:

— Да он на любую пластическую операцию согласится! Лишь бы глаза его стали не узкими, а какими угодно, хоть многоугольными.

Не верьте. Рытхеу отлично понимает выгоду своего положения. Он знает, какой товар нужен. Он не просто продавец, он еще и спекулянт.

Он не хочет быть обыкновенным писателем. Его вполне устраивает, что он великий чукотский писатель, живой классик, что о нем на многих языках пишут диссертации.

Вот он стучится в дверь:

— Можно к тебе?

— Входи.

Мы два соприкасающихся, любопытствующих мира, и он приглядывается ко мне не менее заинтересованно, чем я к нему.

Он не может понять: за что нас любят? Почему валом валят к нам интересные и милые люди, которых мы не в силах даже как следует накормить?

Не понимаю и я: почему они так скучно живут? Почему так одиноки?

Дружили когда-то с Давидом Кугультиновым, но забыли вовремя поздравить с государственной премией.

А теперь... приезжает иногда зачем-то финский вице-консул — и всё.

Зато они берут свое на курортах и в Домах творчества.

Они только что из Пицунды. Там старинную грузинскую церковь переделали под концертный зал. Помогал Кириленко.

Галя делится с нами:

— В храме — (слово произносится с особым удовольствием) — был концерт, и Юлиан Семенов хотел лично поблагодарить Кириленко. А тот пошел в другую сторону, в сторону Юры, и — представляете! — Семенов обежал весь зал, чтобы встретить Кириленко (будто случайно) лицом к лицу и ска-

зять ему: "Спасибо, что вы помогли нам оборудовать этот храм"! Мы Юлиана сразу презирали. Разве красиво так выставляться?

Подумать только: некрасиво! А остальные — те, кто из элиты — живут "красиво". Знаменитая на весь мир поэтесса в порыве пьяного удализма стянула уставленную бутылками и дорогими приборами скатерть. К столу метнулись возмущенные официантки. Но она крикнула: "плачу"! — и от нее отступились с почетом.

Не очень умная Галя рассказывает:

— Не нравится мне Тоня Искандер. Вообще-то она хорошая, но не понимает, с каким человеком рядом она живет. Ведь наши мужья — писатели. А мы кто? Ничтожества!

Так и лепит: "ничтожества". И возражать бесполезно. "Что вы, Лиличка"! — восклицает она и повторяет то же самое.

И вдруг: "Ой, не успею!" И готовит Юре обед, к двум ноль-ноль, типично чукотский обед: суп с шампиньонами на телящем отваре и биточки по-министерски.

И не дай Бог опоздать — возьмет кусок черного хлеба и стакан молока и уйдет оскорбленный.

Юрий Сергеевич не любит всех, кто ему помогал — Гора, Смоляна, Воскобойникова. Он пренебрежительно относится к другим северным народам, и манси Ювана Шесталова, которого хвалит в печати, презрительно называет "одичавшим мадьяром".

И под конец — еще два эпизода.

Наша милая американская гостья Лиза Такер, уезжая, буквально утопила нас в слезах. Чтобы развеселить ее немного, мы позвали Рыхтеу с магнитофоном.

Юра сидел на моей кровати и Лиза, пританцовывая перед ним, приглашала:

— Пойдем?

Юра сперва отказывался:

— Да нет, мне неудобно танцевать, я в шортах.

За Лизой не задержалось:

— Хочешь снять?

Юра расхохотался и они закружились по веранде. Галя за стеной исходила от ревности.

Но было уже около двенадцати. Отправлялся последний поезд.

Прощаясь, Лиза — умница — внезапно бросила Юре:

— Смотри, заботься о Льве Савельевиче!

Никогда не поверил бы, что его можно так смутить. Он весь вспыхнул.

А я подлил масла в огонь:

— Ну что вы, Лизочка, мы за ним, как за каменной стеной.

Второй эпизод от моего бесценного помощника С. Г.:

К Рытхеу, в городе, пришли чукчи — студенты отделения народов Севера. Разговор получился крутой. Они упрекали знаменитого сородича, что он стал вельможей в то время, как народ его гибнет, что он пишет на чужом языке, вместо того, чтобы развивать и обогащать свой, что он способствует ассимиляции, что дети его не говорят по-чукотски.

Юра надменно возразил, что он прославил чукотский народ повсеместно, рассказав о нем людям разных стран.

Но они назвали его отступником и обвинили, что он пишет сладкую ложь, а народ его по-прежнему вымирает от сифилиса и алкоголя.

Не знаю, чем закончилась встреча. Вероятно, Юрий Сергеевич их выгнал.

Я спрашиваю у Лили:

— Каким словом можно определить Рытхеу?

Она задумывается и отвечает:

— Ненастоящий.

Я, как всегда, поражаюсь точности ее определения.

Да, ненастоящий. При всем своеобразии — ненастоящий.

Ненастоящий чукча и ненастоящий европеец, ненастоящий интеллигент и ненастоящий обыватель, ненастоящий друг и ненастоящий враг.

Во дворе лает Гек.

К нам?

Нет, на этот раз к ним.

По ступенькам веранды поднимается финский вице-консул.

Самолет улетает на чужбину

У НИХ РАБОТА ТАКАЯ

Вы говорите, пророческих стихов не бывает?
Тогда слушайте.

Шестнадцатого апреля ко мне пришел Алик. За два дня до этого я договорился с заводом, что на колеса моей коляски накачают новые шины.

Алик спешил. Он снимал уже последнее колесо. А я торопился дописать начатое утром стихотворение: уйдет, а прочитать не успею.

Закончили мы одновременно. Я усадил его на стул и подвинул исчерканный листок.

Деревья в смятении хлещут по небу ветвями,
Стараясь отбиться от осени — нет, не отбиться.
Их кроны уже охватило дрожащее желтое пламя.
А мы засиделись по-летнему... Что же, пора расходиться.
Пора расходиться. Как рано стемнело. Как ветер
несносен.

Друзья, вам налево — по листьям, по мокрой дороге.

Дождь тронул ладони... Стою я один на пороге...
Возьми меня, осень! Прими меня, осень! Убей
меня, осень!

На словах "убей меня, осень!" раздался звонок:

Т-р-р!

Алик пошел открывать и вдруг я увидел в дверном проеме его растерянное лицо.

— Лева, к тебе с обыском.

Тут же мимо него друг за другом стали протискиваться мужики.

Их было пятеро.

Интересное получилось зрелище. По одной стенке лежу я, по другой на диване лежит Лиля со сломанной ногой, а посередине — если учесть размеры комнаты — целая толпа.

— Арестован ваш знакомый.

— Кто?

— Полушкин.

Я (недоуменно):

— Впервые слышу эту фамилию.

И неожиданный вопрос:

— В больнице Урицкого лежали?

— Ну, лежал.

— Полушкин санитар. Арестован за кражу наркотиков.

— Да я-то тут при чем?

— Сейчас поймете. Вот ордер на обыск.

Читаю и не верю глазам: "В квартире Друскина имеется много импортных лекарств, в том числе и наркотиков".

— Так вы что, наркотики собираетесь искать? — удивился я.

Он подтверждает.

Пожимаю плечами:

— Ищите.

Начальник группы инспектор Арцыбушев распоряжается:

— Надо пригласить понятых.

Лиля попросила:

— Тут у нас за стеной пианистка к концерту готовится.

Позовите ее. А то бренчит целыми днями — хоть отдохнем немного.

Хорошая моя — она еще шутит.

Соседка Алла явилась с огромными от ужаса глазами и привела с собой девятилетнюю дочку:

— Не с кем оставить.

”Ничего, — думаю я, — пусть девочка видит. Когда-нибудь, когда начнет осмыслять мир, в ней вспыхнет и это воспоминание”.

За вторым понятым спустились на улицу и столкнулись с Либиной мамой, возвращавшейся из магазина.

Ей предъявили красную книжечку:

— Пройдемте. Будете понятой.

— Но я живу в этом доме.

— Тем лучше. Поднимемся в пятую квартиру.

— Но я и иду в пятую. Там моя дочка.

Слегка смутились.

Услышав мамин голос, Лиля сказала:

— Не пугайся, мамочка, у нас обыск.

Мать наша была просто великолепна.

— С чего бы это? — пропела она презрительно. — Еще чего не хватало!

И прошествовала на кухню.

Привели недостающего понятого. Пожилой человек — бледный, с трясущимися руками.

Почему он так испугался? Что было в его жизни: тюрьма, лагерь, арест и гибель близких?

— Садитесь, пожалуйста.

Он не пошевелился.

— Садитесь, — мягко повторила Лиля. — Ну что же вы так волнуетесь? Обыск ведь не у вас, а у нас.

Он благодарно кивнул, сел, но руки его продолжали дрожать.

Представление началось. Искали небрежно — скорее не искали, а притворялись. Заглядывали в цветочные вазы, вывернули косметическую сумочку, развинтили губную помаду. Один из обыскивавших подошел к подоконнику,

покопался для вида в коробке с лекарствами, явно ничего в них не понимая, и притронулся к папкам.

Сердце у меня екнуло.

— Это мои рукописи, — сказал я резко.

Он послушно отошел.

Так они потоптались минут двадцать.

Арцыбушев лениво наблюдал за обыском.

— Наркотиков не обнаружено, — констатировал он.

И оживившись:

— А теперь надо поискать в книгах — нет ли там наркотических бланков?

— Ах вот что, — протянула Лиля, — книги... Все ясно. Тогда мы поехали в Израиль.

Сгрудились у шкафа, вынули томик, другой. Стал обнажаться второй ряд.

Наигранно-изумленный возглас:

— Ой, да тут заграничные издания!

И к Арцыбушеву:

— Что будем делать?

— Это не по нашей части. Надо позвонить.

Позвонили.

— Мы на Бронницкой по наркотикам. Обнаружены нехорошие книги. "Континент"? Нет... кажется, нет. Почитать названия? "Зияющие высоты". — (Ох, недаром я не любил эту книгу — подвела, проклятая!) — Брать все подряд, потом разберетесь? Хорошо.

Лиля села в коляску, подъехала к шкафу:

— Чего уж там — все равно попались: не взяли бы лишнего.

Они время от времени балдели, не могли разобраться. Ахматова феэргешная и наша — почему ту брать, а эту на место?

Лиля еле отбила "Москву 37-го".

— Да вы что? Советское издание. Не отдам.

Колебались: про 37-ой год — как можно? Но все-таки отступили.

Зато конфисковали переписку Цветаевой с Тесковой.

— Это же издано в братской Чехословакии, — убеждала Лиля, — без этой переписки не обходится ни один диссертант.

Какое там. Напечатано за рубежом. И книжка полетела в общую кучу.

Не шарили ни на стеллажах, ни в кладовке, ни на антресолях: заранее знали, где находится добыча.

— Что же вы бланков не ищите? — напоминали мы.

Они только отмахивались.

— Господи, книг-то как жалко! — шептала Алла.

Еще бы не жалко! Книги появлялись из шкафа — преступные, арестованные, униженные этим грубым сыском: Цветаева, Мандельштам, Короленко, Набоков — весь русский Набоков!

А это что? Ну, конечно, — Библия, Евангелие... и факсимильные — "Огненный столп", "Белая стая", "Тяжелая лира".

Художественных альбомов не брали. Не тронули и Эмили Диккенсон — очевидно, спутали с Диккенсом.

Особенно старался один — низенький, коренастый, со стертым, незапоминающимся, но очень противным лицом.

Вот он приближается к окну. Внутренне весь напрягаюсь. Пытаюсь говорить спокойно.

— Здесь уже искали.

Но он уверенно протягивает руку к папкам.

Так тебе и надо, конспиратор! Сколько раз хотел спрятать. Лежат мои голубушки, и на каждой ярко чернилами: первый экземпляр, второй, третий.

Понимаю, что проиграл, но еще барахтаюсь:

— Не трогайте мою рукопись — она будет опубликована в журнале "Нева".

Дергает за шнурок, развязывает. Может быть как-то и обошлось бы, сверху надпись — "Дневник". Но ниже оглавление: "Евреи... диссиденты... отъезд..."

Он поднимает на меня полыхнувшие ненавистью глаза:

— Вы это собирались печатать в "Неве"?

— Да, это.

Резким движением он перебрасывает несколько страниц, читает:

”Уважаемые товарищи потомки,
Роясь в сегодняшнем окаменевшем говне...”

Торжествуяще:

— И это в ”Неву”?

— Позвольте, — говорит Алик (как хорошо, когда рядом друг!), — это же Маяковский. Вступление к поэме ”Во весь голос”.

Коренастый яростно поворачивается к нему:

— Откройте портфель.

— Пожалуйста.

Портфель пуст, только на дне болтается гаечный ключ.

Тогда уже ко мне, не сбавляя тона:

— Поднимите подушку.

— Сами поднимайте! — вспыхиваю я.

Поднял, бесстыдник.

— Одеяло откинуть?

Не отвечая на издевку, он направляется к пианино, снимает крышку.

— Осторожно — взорвется!

И снова взгляд, полный ненависти.

Какое-то наваждение! Как в дурном сне, ходят по комнате чужие люди, роются в вещах, в мозгу, в моей прошлой и будущей жизни. А я наблюдаю будто со стороны — вот как это бывает.

Шел третий час обыска. Арцыбушев пристроился к столу составлять протокол. Ему диктовали список изъятой литературы, спотыкаясь на каждой фамилии: Мендельштамп, Мае-рангов...

Заполненные листки складывали на телевизор. Их было несколько, а в них, выражаясь по кагебешному, содержалось 128 пунктов.

И вдруг послышался горестный возглас милиционера. Оказывается, наш кот Иржик прыгнул на телевизор и стал точить когти об эти листки. Протокол был жестоко изорван, покрыт мелкими треугольными дырочками.

— Один мужчина в доме! — сказала Лиля.

Трудно себе представить, как расстроился Арцыбушев. Он долго советовался со своими: как быть — составлять всё заново или можно подклеить. Устали как собаки, сошлись на втором, но очень опасались выволочки.

Как мы их презирали! Это было, пожалуй, основное чувство, которое мы испытывали.

Наконец прозвучали долгожданные слова:

— Обыск окончен.

Прозвучали для нас, но не для коренастого. Он продолжал перетряхивать коллекционных американских кукол.

— Полюбуйтесь, — съязвила Лиля, — прямо горит человек на работе.

Все грохнули.

Возмездие наступило сразу. Коренастый подошел к дивану и ткнул пальцем в маленькую полочку, забитую журналами и газетами.

— А там у вас что — книга?

— Книга, — вздохнула Лиля, — могли бы и не заметить. И вытащила свежий беленький "Континент".

Когда я подписывал протокол, меня спросили:

— Вы к нам претензий не имеете?

— Нет. А вы к нам?

И услышал:

— Нет, что вы. Вы же пострадавшая сторона.

Надо же! Никак жалеют?

Явился еще один мужик — с тремя мешками.

— Видите, до чего нас довели? Оба слегли в постель.

Он принял реплику всерьез и виновато ответил:

— У них работа такая.

Трех мешков не понадобилось. Добыча уместилась в одном, не заполнила и половины. Вероятно, улов оказался гораздо меньше ожидаемого.

Когда орава вывалилась в коридор, провожавший их Алик сказал:

— Желаю успеха в вашей работе.

Они не поняли иронии и ответили приветливо:

— Большое спасибо.

Тем все и кончилось. С этого все и началось.

ЧУДО —

А теперь о чуде.

Когда коренастый потянулся к папкам, все во мне оборвалось. Нет, не из-за них. Я-то помнил, что текст сдублирован, копия давно за рубежом.

Но под папками тетради — живая трепещущая плоть, вторая часть книги, лучшие ее куски: еще не пересланные, единственные, беззащитные.

И вот рука кагебешника снимает папки, а тетради не трогает. Видимо, он четко следует указаниям стукача: самиздат в шкафу, рукопись на подоконнике. А про черновики стукач не знал.

Книга спасена — вся, целиком, не пропало ни единой строки. И по бесшабашной уверенности: два раза в одну точку снаряд не попадает (хотя блокадные обстрелы убеждали меня в обратном), я держу эти тетради при себе, никуда не увожу из дома, продолжаю, дописываю, и только глубокой осенью, незадолго перед отъездом, мне удастся переправить их на Запад.

ОНИ ПОМОГУТ МНЕ ЗАЩИТИТЬ ДИССЕРТАЦИЮ —

Настало время рассказать о самом трудном. Язык не поворачивается, а надо. Надо, чего бы это ни стоило.

Он появился у нас после смерти отца (моего прежнего товарища), жестоко разругавшись с матерью. Он был такой измученный, несчастный, и попросился на несколько дней. А вышло, как в "Двенадцати стульях" — "Я к вам пришел навеки поселиться".

Наша бездетность оказалась западной. Он никогда не нравился нам, но мы к нему привязались.

Я не люблю вспоминать об этой четырехлетней кабале.

— Опять к вам придут Шейнины. Опять к вам собирается Юра. Давайте лучше играть в кинга”.

И мы играли.

Стыдно признаться, но мы подлаживались под его интересы, равняли жизнь по его капризам.

А он все равно чувствовал себя ущемленным.

Нам ничего не удавалось вложить в него. Он всегда брал первое яблоко и последнее тоже. Он жульничал в карты. Он воровал у нас книги. Но мы любили его.

У него была скверная привычка шарить по дому, рыться в ящиках стола, влезать в чужое белье, заглядывать в кастрюли.

Мы притерпелись и махнули рукой, но Нина Антоновна ворчала в открытую:

— Ты что, есть хочешь? — раздраженно спрашивала она.
— Так я налью.

— Нет, спасибо.

— Зачем же ты по полкам шарить?

После окончания университета он вернулся к матери, но бывал у нас каждую неделю.

Однажды произошел странный разговор.

— А у меня неприятность, — сообщил он, — меня завтра вызывают в первый отдел.

— С чего бы это? — встревожились мы.

И тут он нас ошарашил.

— А что мне говорить, если будут спрашивать про Льва Савельевича?

— О чем?

— Ну, например, о том, откуда у вас книги?

— Какие книги? — возмутилась Лиля. — Ты разве видел у нас книги?

— А, понятно... Ну а если меня спросят о рукописи?

Пришла очередь возмущаться мне.

— Послушай, — сказал я, — какая рукопись? Разве я читал тебе когда-нибудь хоть одну строчку?

Кстати, это была чистая правда. Он много раз просил почитать, но какой-то инстинкт меня удерживал.

— Я позвоню вам завтра, — сказал он. И не позвонил. А когда мы наконец дозвонились, беспечно ответил:

— Да что вы беспокоитесь? Вышла ошибка, никто меня не вызывал.

Старые дураки, мы так ничего и не поняли! Нам уже позже объяснили, что в первый отдел приглашают только неожиданно, никого накануне не предупреждают.

Вот тогда-то он и попал на крючок и стучал на нас целых полгода.

Особенно запомнился мне вечер перед обыском. У нас сидела Джемма Квачевская. Стрелки соединились на двенадцати.

Она поднялась:

— Пойдем?

Встречаясь, они всегда уходили вместе — ехать на край города, выходить на одной остановке.

Но он отказался:

— Нет, я посижу еще.

Не успела за ней закрыться дверь, как он стремительно сунулся в шкаф и стал лихорадочно перебирать книги.

Мы даже заорали:

— Ты что — с ума сошел? Что за поведение!

— Я ищу Надежду Яковлевну Мандельштам.

— Ее нет.

— У кого же она?

— Она у З., — сказала Лиля.

— Нет, — возразил я, — З. вернули. Она у К. — (Типун мне на язык! Через несколько дней у К. произвели обыск. У З. обыска не было.)

— У К.? — протянул он и сразу ушел, наверное даже успел нагнать Джемму.

И опять мы ничего не поняли. И опять нам уже позже объяснили: КГБ любит за день до обыска проверить, на месте ли книги. Чтобы не было прокола.

Когда случилась беда, записную книжку у меня не взяли.

А наутро вызвали целую толпу — человек тридцать. В этот бредень попали и друзья, и люди совершенно случайные — все, кого он видел хотя бы мельком.

Друзья будто сговорились. Высидев под многочасовым перекрестным огнем, они заявляли:

— А сейчас мы пойдем и расскажем все Друскину.

И приходили.

И рассказывали.

И спасовав перед этой неизменно повторявшейся решительностью, кагебисты не возражали.

А он не показывался — собирался с духом, что ли? По кругу вопросов, заданных друзьям в "компетентных органах", роль его высветилась достаточно объемно. И мы приготовили ему хорошую встречу.

Он появился лишь на третьи сутки. Мне и сейчас неловко за ту комедию, которую мы устроили.

Мы лежали приветливые, улыбающиеся. Он вошел и неуверенно поздоровался. Взгляд на шкаф — первый ряд книг выстроился тесно, нерушимо... Может быть, за ним так же аккуратно стоит второй?

Взгляд на подоконник — уже вечереет, плотная спокойная занавеска достает почти до самого пола.

— У вас ничего не случилось?

— Нет... А что могло случиться?

И встревоженно:

— Да что с тобой? На тебе лица нет.

— Сейчас и на вас не будет, — говорит он.

Извинившись перед Ниной Антоновной, закрывает дверь и произносит заранее подготовленную фразу:

— Кажется, я — ваш лучший друг — продал вас КГБ.

— Интересно, — говорит Лиля и садится в кресло. — Ну-ка, расскажи.

Комедия превращается в драму. Перед нами — жалкий бормочущий человек.

— Сволочи... Они обманули меня... Они сказали, что у вас обыск... что вывезли две машины книг...

Лиля (беспощадно):

— Но ты же знаешь, сколько у нас было книг.

Он даже не ухватывается за это "было".

— Я испугался... я потерял голову... меня обманули...

Я стараюсь не глядеть ни на него, ни на Лилю. В сердце поворачивается игла. Ведь это наш мальчик, чуть ли не сын. Ведь четыре года мы делились с ним каждым куском.

Да и если рассудить, так ли уж он был плох? Каким он умел становиться нежным, обаятельным, заботливым. Вот он входит — веселый, юный: "Лев Савельевич, собирайтесь скорее"! Сколько прекрасных прогулок совершили мы по Комарову!

Вечер. Тень коляски скользит по асфальту, пересекая косые, толстые тени деревьев. Впереди бежит Гек.

Драма перерастает в трагедию. Я слышу ее раскаты. Но сквозь раскаты пробивается и его бормотание, и игла выскальзывает из сердца.

— Мне сообщили, что вы уже арестованы... Я подумал: им уже все равно. А мне защищать диссертацию. — (Да-да, так и сказал: а мне защищать диссертацию.)

Правда, он тут же поправляется:

— Но вы не поймите неправильно... Я вел себя не так глупо... Я не мог врать без конца, иначе бы мне не поверили... Но я говорил только часть правды. — (Ох уж эта пресловутая интеллигентская "часть правды" — скольких людей она погубила!)

— Ну и в чем же она заключалась — твоя полуправда?

— Меня спрашивали, давали ли вы Н. П. запрещенные книги? А я ответил, что сам не видел, но по разговорам можно представить, что давали.

И торопливо объясняет:

— Понимаете, сам не видел. А разговоры — это же на уровне "Голоса Америки".

Так. Все ясно. К тому же, стали приходить люди и сцену пришлось окончить. Мы то и дело высылали его из комнаты, чтобы поговорить наедине, и вскоре выходная дверь оскорбленно захлопнулась.

Я до сих пор не могу понять, как посмел он объявиться в

доме после обыска. Вероятно, он переоценил силу нашей любви. Он надеялся, что мы простим его, и он сумеет шпионить дальше.

Больше он у нас не был. Но промозглым неласковым вечером Соня А. встретила его в метро.

Он вынырнул из толпы внезапно. Его красивое лицо кривилось от ярости, он был почти в истерике.

— Сообщи Друскиным, — сказал он, — что мне открыли на них глаза. Что я встретил хороших людей и они помогут мне защитить диссертацию. И еще передай им, что свое объяснение я переписал на заявление.

— Как ты мог? — ужаснулась Соня. — Ведь они уедут, а тебе здесь жить. Ведь ты опозорил себя перед всем городом.

— Нет, — возразил он с какой-то беспомощной наивностью, — если они не расскажут, никто не узнает.

И снова в сердце моем повернулась игла да так там и осталась.

Когда гроза безумствует над крышей
И в бубен суши бьет девятый вал,
Мужская дружба всех похвал превыше
И женская — превыше всех похвал.
Дай руку, друг, и я печаль отрину,
Далек наш отдых и прекрасен труд...
А Цезаря закалывает в спину
Все тот же Брут, все тот же верный Брут.

КУРАТОР ЭРМИТАЖА —

Звонок. Лиля снимает трубку.

— Попросите Льва Савельевича.

Голос густой, поставленный — у них у всех поставленные голоса.

— А кто спрашивает?

— Из Комитета госбезопасности.

Лиля (громко, давая мне возможность подготовиться) :

— Лева, тебя из Комитета государственной безопасности. Ты можешь взять трубку?

Мы подготовились, мы хорошо подготовились. За эти четыре дня мы прорепетировали любые варианты.

Назначаю время. И вот он сидит передо мной, мой кагебешник Павел Константинович Коршунов. (По другим документам — Кошелев.) Он голубоглазый, красивый, очень приятный.

Мой друг Р., которого он вызовет в Большой дом, после допроса скажет:

— Человек с такой внешностью вполне мог бы быть нашим товарищем. — Но тут же добавит: — Нет, не мог бы.

Разумеется, не мог бы. Слишком уж он приторный, хвастливый. Все время старается произвести впечатление. Три раза возвращается к тому, что закончил юридический факультет.

И доверительно:

— Между прочим, я был куратором Эрмитажа.

(Ах, вот как это называется — куратор!)

— А Союз писателей тоже вы курируете?

— Нет, — говорит он.

Но тщеславие не может простить такого подкопа под собственный авторитет. И следующие слова:

— Союз писателей курирует мой подчиненный.

Врет голубчик. Ну сказал бы — сотрудник. А то — подчиненный.

Он сразу начинает свою подленькую игру.

— Вы наверное думали, придут звероподобные мужики с револьверами, — шутит он. — Поглядите на меня, я молод. Мы совсем не такие. Я сам содрогаюсь, когда читаю о преступлениях прошлого.

Они такие. В Большом доме на допросе Р. удивится:

— Для чего вам нужно, чтобы я подписал ложь? Зачем вы заставляете меня наговаривать на друга? Ведь вы знаете, что все это чепуха на постном масле.

И тот же Павел Константинович, откинувшись на спинку кресла, ответит:

— Ах, как досадно... Я вижу, нам не найти общего языка... Я бы советовал вам подумать еще.

Р. (*с достоинством*): Я прожил хорошую жизнь. Я ничем не замарал ее. Я не боялся КГБ и раньше. А теперь у меня уже внуки.

Павел Константинович (*ласково*): Вот именно. Об этом и речь. На вашем месте я пожалел бы детей и внуков.

Другая моя приятельница, Полина, лежала с тяжелым переломом. К ней явились домой.

— Что вы можете сказать о Друскине?

— Ничего.

— А вы не боитесь, что вам будет хуже?

— А что может быть хуже? У меня и так нога сломана.

Один из пришедших (*со значением*): Бывают вещи и пострашнее сломанной ноги.

— Страшнее? Это когда ее отрежут, что ли?

Нажим усиливается:

— У вас могут быть неприятности на работе.

Полина (*вскинув голову*): Плевать я хотела!

Это ошибка. С ними так нельзя. Необходимо помнить, что они люди, и люди плохие. Кагебешники не любят, когда им грубят. Свое служебное положение они охотно используют для мести.

Ты и не знаешь, Полинька, что работать тебе осталось только год. Тебя — лучшего преподавателя факультета — уволят, показав тайный приказ (на стенку его не вывешат). И написано там будет черным по белому: "За связь с лицом, занимающимся антигосударственной деятельностью".

А пока Павел Константинович спрашивает у этого "лица", ласково заглядывая в глаза:

— Лев Савельевич, ну признайтесь, ведь не Сотникова оставила вам книги?

— Почему не Сотникова? Сотникова.

(Эммочка давно в Израиле, до нее попробуй доберись!)

Но я-то рядом. И густой голос из бархатного становится медовым.

— Я хочу искренности, полной искренности.

Пожимаю плечами:

— Искренность — понятие широкое.

— Ну, правды.

— А я правду и говорю.

Друзья советовали: "Не пиши об этом. Не поверят. Подумают, что ты тряся от страха, а выставляешь себя таким героем".

Но я действительно не боялся. Было все, что угодно: эйфория, любопытство, острое нервное возбуждение. Но страх, настоящий страх обжег позднее.

На столе — плотный лист бумаги. Мозг мгновенно подбрасывает недавние уроки. "Так. Грифа нет. Значит, это не протокол. Значит, дело не открыто и с меня просто снимают дознание".

Уверенно вывожу: "Объяснение".

Уф, гора с плеч! Но я забыл, что передо мной профессионал, что у него своя техника.

— Вы пишите, — говорит Павел Константинович, — а я не буду вам мешать и, если можно, полистаю книги.

— Пожалуйста, — говорю я машинально.

Осел! Паршивый интеллигент! Вот так нас на вежливости и ловят. Ведь у него нет ордера, а по сути это второй обыск.

Уголкем глаза вижу, как стройная спортивная фигура движется вдоль полок. Рука не пишет. Во рту пересохло.

Знаю: на полках ничего нет. А вдруг...

Почему он так долго рассматривает эту книгу?

— Андрей Белый "Петербург"... В "Березке" покупали?

— Да, это подарок. А что — нельзя?

— Отчего же нельзя? Можно...

И подходит к шкафу. А там — только нагнуться — стопки тетрадей: мои чудом уцелевшие черновики.

Господи, для чего ты спас меня вчера — чтобы предать сегодня?

Что делать? Чем отвлечь?

Мысли — слепые щенки — беспомощно тычутся во все стороны.

— Павел Константинович, — говорю я как можно обиднее, — и нравится вам ваша работа?

Минутная пауза.

— Нравится, — отвечает он с вызовом, — а вам ваша?

— Ну, у меня был такой маленький выбор, — вздыхаю я.

Поворачивается, честное слово поворачивается. Отходит. Садится на прежнее место.

Первый раунд можно считать выигранным.

КАГЕБЕЧНИКИ —

Полночь. Под окном двое. Один прислонился к двери и курит, другой прохаживается. Поглядывают вроде бы на наши окна. Следят? Вполне вероятно.

Торчат на улице уже часа полтора. Ну и что? Погода хорошая, теплая. Что же людям и подышать нельзя?

Но вспоминается:

Наша приятельница, английская аспирантка Фиона, все время пугалась: "Ой, кагебечники, кагебечники"! А мы смеялись: "У тебя мания преследования".

На вокзале она опять всполошилась: "Ей-Богу, кагебечники"! Мы утешали: "Да брось ты! Кому ты нужна"?

А на финской границе в купе вошли три человека, даже не в форме, и отобрали всю ее работу за семь месяцев — совершенно невинное литературоведческое исследование об оберихах. Вот вам и мания преследования!

Половина первого. Лиля тихонько отодвигает занавеску. Под окном двое. Один прислонился к двери и курит, другой прохаживается.

СОН —

Гале М. приснилось, будто катит она меня по вершине крутого холма. Внизу, у подножья — ФРГ.

— Как же я тебя повезу дальше? — говорит она. — Ведь перед нами граница.

— А ты толкни посильнее, — отвечаю я, — коляска сама и покатится.

Галя заглядывает вниз.

— С ума сошел, — ужасается она. — Ты же завалишься.

— Ерунда, — отмахиваюсь я. — Завалюсь — поднимут!

Галя разжимает руки. Коляска устремляется под уклон, подпрыгивая, вихляя передними колесиками, и опрокидывается в густое, чавкнувшее болото.

И вдруг в этом сне — Бог весть откуда — появляется Лилия: с воплем бросается ко мне, вцепляется в одежду, тащит... Но материя трещит и рвется, сил не хватает, и лицо мое то проступает сквозь тягучую ржавую ряску, то, ловя губами воздух, погружается снова.

Тут уж граница — не граница, думать нечего, надо спасать.

Тропинка уносится из-под ног; Галя летит чуть ли не по воздуху и поспевает вовремя.

И вот я лежу на носилках — чистый и улыбающийся, отовсюду бегут люди, а от пестрых конфетных домиков отделяется коробочка "Скорой помощи".

Галя отводит взгляд и ахает:

— Как же я домой попаду? Ведь наверху пограничники...

И слышит:

— А зачем вам возвращаться? Оставайтесь тут.

.....

Ну и сны снятся моим друзьям в конце двадцатого века!

ЧЕРНЫЙ АПРЕЛЬ —

Я часто думаю: кто такой Павел Константинович? Почему молодой человек — милый, по всей вероятности довольно способный — пошел на эту гнусную работу? А потом понимаю: никакой загадки здесь нет.

Русский. Активный общественник. Карьерист. Он и сейчас говорит нам: "Обязательно буду полковником".

Вызвали в комитет комсомола. Похвалили. Предложили. Ну-ка, найди в себе мужество — откажись.

Да и соблазнительно, по правде говоря. Высокая зарплата. Власть над людьми — умными, образованными. Он ведь еще мальчишка, а они вон как волнуются, некоторые даже трясутся.

А для КГБ он клад. Спецработник — наживка на интеллигенцию. Мягкий, обходительный, воспитанный. Чего уж там, в отдельные минуты я сам испытывал к нему подобие симпатии. Хотя сразу же начинала мигать сигнальная лампочка:

— Осторожно... враг... враг...

Помогала мне еще и его приторность, граничащая с диабетом.

Во время второго "визита", вручая мне предостережение, он буквально пропел:

— Это самое гуманное дело за всю историю КГБ.

Друзьям моим он перед этим заявил:

— На Друскина у нас статей хватит!

А тут:

— Обратите внимание, мы не привлекаем к уголовной ответственности не только вас, но и вашу жену.

Вот когда я похолодел. Я-то защищен болезнью. А Лилин паралич полегче. Такое не в счет. С ней они могли расправиться как угодно.

Действительно гуманисты!

— Не представляю, как бы вы в моем положении потащили меня в тюрьму, — говорю я грубо.

— Не скажите, — обижается Павел Константинович. — Я следователь, и я видел, что у нас в лагерях сидят всякие люди. Некоторым даже больше восьмидесяти.

"Уж не Шелкова ли он имеет в виду", — думаю я и заключаю:

— По-моему, этим стыдно хвастаться.

Он и глазом не моргнул.

— Что поделаешь — наказание. Не надо было совершать дурных поступков.

И опять поет:

— Вот не хранили бы вы книг...

Парирую:

— Такие книги есть у каждого писателя. Ахматова, Цветаева, Пастернак издаются и у нас.

— Не целиком... не целиком... — торопится он. — И к тому же, предисловия... этот Струве...

— А что *вы* читаете? — спрашиваю я.

— Я читаю только хорошие книги, — важно отвечает он.

И вытаскивает из портфеля специально приготовленный томик — "Стихи ленинградских поэтов".

— Видите, Дудин, Прокофьев...

И неожиданно:

— Между прочим, Прокофьев был нашим работником.

Что-то его на откровенность потянуло! К чему бы?

Гляжу в красивые простодушные глаза и вспоминаю, что по слухам большую часть конфискованной литературы кагэбешники загоняют на черном рынке или ставят себе на полку.

Надо же — он словно читает мои мысли.

— А у меня библиотека побольше вашей, — говорит он.

Ох, не должен он мне такое говорить. Зачем ему? Вызывает на откровенность? И хотя лампочка мигает все тревожнее, я принимаю игру.

— Павел Константинович, — голос мой становится задушевным, самому противно, — ну объясните мне, я ничего не могу понять. Почему на пустом месте создано мое дело? Попугать интеллигенцию перед Олимпиадой? Но ведь такие книги и правда есть у каждого. Почему же именно я?

И он отвечает в том же ключе — искренно и даже сочувственно:

— Что мне вам сказать, Лев Савельевич, — считайте, что для вас выпал черный апрель.

"Нет, — думаю я, — не все человеческое в нем убито".

Тут-то он и подсовывает мне печатный бланк — "Предостережение".

— Вот. Подпишите, пожалуйста.

Пробегаю глазами. Любопытно. О рукописи ни звука,

только о книгах. Разве это не признание, что конфискация дневника действительно противозаконна?

Перечитываю еще раз внимательно.

Кажется, ничего страшного. А, чёрт с ними, подпишу — может, отвяжутся.

Подписываю и не верю: неужели ослышался?

— Больше мы к вам никаких претензий не имеем.

Меня как током подкидывает:

— Значит, мои стихи в издательстве...

Он грустно качает головой.

— Это решит общественность. Мы в чужие функции не вмешиваемся.

Ах, вот как? Не вмешиваетесь? А Галич? А Эткинд? А Лидия Корнеевна? Их, оказывается, шельмовали без вашего участия?

Все это, разумеется не вслух, про себя, и он не замечает перемены моего настроения. Сочувственно и даже с жалостью он продолжает:

— Да, теперь вам будет очень трудно жить.

Лампочка мигает: не сорваться... не сорваться... враг... враг...

Но гнев сильнее и я все-таки срываюсь.

— Трудно? Но ведь это вы, именно вы стараетесь причинить нам как можно больше зла. Вы лишили нас физической помощи. Вы травите и запугиваете людей и они боятся к нам приходить.

И вдруг — кульминация разговора! — он отвечает чудовищной по своему цинизму фразой:

— Помогать вам или не помогать — это дело этики ваших друзей.

Самое ужасное в его словах, что при всей их низости есть в них какая-то доля истины. Но не дай Бог слышать такое от кагебешника.

Бедные мои друзья! Бедные, милые мои друзья!

Лиля, молча сидевшая в углу, вся подается вперед.

— Я хочу спросить...

— Пожалуйста, Лидия Викторовна.

— Когда был обыск, у нас — вы же помните — не взяли записных книжек. А наутро вызвали чуть ли не тридцать человек. Откуда у вас адреса?

Ответ классический.

— Ну что вы, Лидия Викторовна, — он даже смеется, — мы обязаны знать адреса друзей всех писателей.

Распоясался он со своей откровенностью. Пожалуй, пора дать ему по морде. И Лиля делает это.

Она повторяет мои слова, сказанные при первой встрече:

— И нравится вам ваша работа? Это что призвание — кагешник? Вы сами пошли? Или, может быть, вас заставили?

— Я не из тех, кого заставляют, — хорохорится он.

А Лиля продолжает издеваться:

— Нет, правда... Вот были бы вы где-нибудь за границей шпионом...

— Разведчиком, — поправляет он.

— Ну, разведчиком, — соглашается Лиля. — Романтика... опасно... убить могут... А здесь?

Павел Константинович теряет.

— Напрасно вы так, — в голосе его неподдельная обида, — начальником быть тоже опасно. К вам-то идти, конечно, ничего. А если к Юлии Николаевне Вознесенской — там ведь и кипятком ошпарить могут.

Глупый петух! Он все еще пытается покрасоваться перед нами!

КАК МЕНЯ ИСКЛЮЧАЛИ —

А исключали меня так. По ленинградскому адресу послали телеграмму. В секретариате знали, что я в Комарово, и твердо рассчитывали, что я ее не получу.

Даже смешно — серьезное учреждение, взрослые люди, а пускаются на такие дешевые уловки!

Однако номер не прошел.

В этот день по совершенно случайному совпадению Лиля поехала в город.

Она развернула бланк и у нее задрожали руки. Не от испуга, от ярости.

— Предлагаем вам (без обращения) явиться на заседание секретариата десятого июля в шестнадцать часов. Чепуров”.

Этот бесстыдный текст Лиля прочитала мне по телефону и я тут же отправил ответную телеграмму.

— Сообщаю секретариату, что я 59 лет прикован к постели, поэтому явиться на заседание не могу”.

Одиннадцатого нам никто так и не позвонил.

Двенадцатого с утра моросил дождь. Было холодно и одиноко. И вдруг — словно солнце проглянуло.

— Лева, к нам Копелевы!

И вот уже на скате легкая стремительная фигура высокого мужчины — красивого, осанистого, похожего на члена Государственной думы. И Гек кидается навстречу лизать ему бороду.

Такое поразительное, почти неправдоподобное сочетание грузности и невесомости видел я еще лишь у одного человека — у Анны Андреевны Ахматовой.

Вошли и сразу:

— Какие новости?

— Не знаем.

— Ну что же вы? Звоните!

Кручу диск. Трубку снимает оргсекретарь Союза, райкомовская лиса — Воля Николаевна Новикова.

— Вас исключили.

— Формулировка?

— Могу прочитать решение.

— Только медленнее, пожалуйста. Я буду повторять для Лидии Викторовны.

Лиля хватает карандаш. Ай-ай-ай, Воля Николаевна! Какая ошибка! Знала бы, читала бы скороговоркой. А так — я отчетливо, с расстановкой повторяю каждое слово.

— За действия, несовместимые с требованиями устава СП СССР, выразившиеся в получении из-за рубежа и распространении антисоветских изданий, в двуличии, в клевете

на советское государство и на советских литераторов, Друскина Льва Савельевича исключить из СП СССР. 10/VII-80 г.”.

Закончила, удивляясь моему бесстрастию.

Спрашиваю:

— Когда я получу протокол заседания?

С наигранным недоумением:

— А зачем?

Лев Зиновьевич предупреждал: ни за что не отдадут! В такие документы они вцепляются мертвой хваткой, чтобы не попало на Запад.

Настаиваю:

— То есть как зачем? Меня исключили и я хочу...

— Нет-нет, я прочитала вам решение — этого достаточно.

Опускаю трубку на рычаг. Лев Зиновьевич и Раиса Давыдовна — сами исключенные — крепкожимают мне руку.

— Поздравляем с переходом в новое качество!

Вечером того же дня о моем исключении передали все три станции — ”Голос Америки”, ”Би-Би-Си” и ”Немецкая волна”.

В ЛАПШУ —

Звоню директору издательства ”Советский писатель” Набирухину.

— Я хотел бы узнать о судьбе моей книги.

— О какой судьбе? — сухо спрашивает он. — У вашей книги нет судьбы.

И наращивая голос:

— Да, кстати... По закону мы должны были бы выдать вам гонорар... Так вот, мы посоветовались с товарищами и решили денег вам не давать.

— Почему? — удивляюсь я.

И получаю железный ответ:

— Потому что вы поставили себя вне рядов.

”Ну так что ж тут говорить, что тут спрашивать”?

И пошла моя книжечка под нож, изрубили ее в лапшу: весь тираж — двадцать тысяч экземпляров!

ГЛЯДЕТЬ В ГЛАЗА ДРУГ ДРУГУ —

Одна из последних комаровских прогулок. На асфальте две тени. За спиной — Гришины шаги, такие гулкие и родные. Сворачиваем через лесок к дому.

— Интересно, кто же меня будет катать в кресле по берегу Иордана? — шучу я.

— Как кто? — смеется Гриша. — Совершенно ясно: палестинские террористы.

И еще одна прогулка. Возвращаемся той же дорогой. Сворачиваем на тропинку. Молчим каждый о своем.

И вдруг Гриша говорит:

— Ты не думай, Лева. Мы с тобой не только из-за тебя остались. Ну, из-за тебя тоже, конечно. Но главное — мы хотим сохранить человеческое достоинство, без стыда глядеть в глаза друг другу. Понимаешь?

И смотрит с тревогой — очень ему важно, чтобы я понял.

Я понимаю, я все понимаю. Но назавтра его вызывают в КГБ, и больше он к нам не звонит и не приходит.

И от всей нашей долгой дружбы остаются только прощальные стихи:

Милый друг, обрывается нить.
Вот и не о чем нам говорить,
Лишь глядим друг на друга в печали.
Жалок дружбы последний улов:
Не находим ни мыслей, ни слов —
Даже души у нас замолчали.
Но лежит (хоть надежда слаба)
Где-то там золотая труба
И архангел к ней губы приложит.
И тогда мы сойдемся опять,
На земле или нет — не понять,
И узнаем друг друга, быть может.

ГОРЕСТНЫЕ ЗАМЕТЫ —

Травля разворачивалась вовсю. Соседа по даче (хорошего, но совсем не близкого нам человека) вызвали в секретариат.

— Ну как живешь? — встретил его Чепуров. — С книжкой порядок? И диссертацию на днях защищаешь?.. Да, слушай... Хотел тебя предупредить... Ты, говорят, с Друскиным общаешься? Так вот — смотри.

— Но они тяжело больные люди, — взмолился сосед, — им же надо хотя бы воды принести. Друскин лежит, жена на костылях.

Чепуров насупился.

— У тебя баба есть, — отрезал он. — Она пускай и ходит. А ты — смотри.

Другой сосед появлялся у нас всегда вечером, под густым покровом тьмы. Это раздражало.

— Знаешь, — съязвил я, — мы прокопаем траншею между нашими дачами, и ты ползи по-пластунски.

Я заметил предупреждающий знак Лили и осекся.

Сосед плакал. Он заслонялся ладонью, но все равно были видны слезы, текущие по его щекам.

— Господи, — бормотал он, — как они нас унизили!

Приехал попрощаться и человек, возивший нас в ЗАГС — мой довоенный друг, наш с Лилей посаженный отец. Он приехал в середине июля, а мы улетели в конце декабря.

Но он так обнял меня, что я понял: это последняя встреча. Длинный, нескладный, он комкал в руках газету, нервничал, торопился. И уходил не по дорожке, как все, а стороной, между деревьями, и оттого особенно бросался в глаза.

Эти горестные заметы можно приводить без конца.

Старая приятельница сказала:

— Лева, мы дружим с тобой тридцать пять лет, а с моим мужем ты знаком только тридцать. Не сердись... Позволь, я буду приходить к тебе одна.

А что мне оставалось? Я позволил.

Как-то осенью зазвонил телефон. Я снял трубку и услышал женский голос:

— Один друг просит передать, что он очень вас любит.

— Кто?

— Он просил не упоминать его имени.

— Ну назовите какие-нибудь приметы, чтобы я догадался.

— Не могу... Он не велел ничего говорить о себе... Но он очень вас любит.

Я обозлился и сказал:

— Разговор получается глуповатый.

А она твердила, как попугай:

— Я не обижаюсь... Я понимаю... Но он просил передать только одно: что он очень вас любит.

— Скажите ему, что я его тоже очень люблю, — сдался я.

Смешно? Нет, страшно.

По вечерам мы теперь обычно сидели вдвоем. Телефон, трещащий как в министерстве, молчал неделями.

Сам я не звонил никому — зачем ставить людей в неловкое положение?

И часто и остро вспоминал, как Зощенко в горькие свои годы, встретив в трамвае знакомого, никогда не здоровался первый. Ждал: поздороваются ли с ним?

ОДНИ КОЗЫРИ —

Я спрашиваю Лилу: может быть, нас просто мало любили?

”Не имей сто рублей, а имей сто друзей”, — гласит поговорка.

И мне казалось, что я имел их.

Нет, они не предали, они просто отшатнулись в испуге.

После обыска мудрый и многоопытный В. сказал:

— Теперь колода перетасуется — останутся одни козыри.

Перетасовалась. Но какой она стала тоненькой! И какие любимые карты ушли!

Больно.

”Мы сидим, записки пишем —
Лиля мне, а я тебе.
Мы уже почти не дышим,
Так боимся КГБ”.

ДОБРЫЙ СОВЕТ —

Жена брата — Рая. Глаза жалкие, недавно плакала. Очень боится — не столько за меня, сколько за своего мужа.

Дотрагивается до моей руки, робко спрашивает:

— А, может быть, тебе еще написать им, попросить? Может, еще простят?

ЗВОНОК ИЗ МОСКВЫ —

Из Москвы позвонила приятельница.

— Ну как?

— Исключили.

— Ну что ж, — говорит она, — это многих славных путь.

НЕ СТАЯ ВОРОНОВ СЛЕТАЛАСЬ —

Лукавый Ким Рыжов, оглянувшись, не видит ли кто, подгреб на костылях к ступеням террасы и спросил:

— Ну что, сидим в политической изоляции? А я на вашу дачу заявление подал.

— Сидим, — ответили мы вызывающе, и представили, как по нашим комнатам, словно по нашим сердцам, ходят чужие, немилые люди.

КЛЯТВА ГИППОКРАТА —

Что-то побаливает сердце. Довели все-таки.

Но сегодня среда — писательские дачи обходит врач, Ксе-

ния Константиновна. За деревьями уже мелькает белый халат.

— Ну как ты себя чувствуешь, деточка?

Она моложе меня лет на восемь. Но у нее все деточки.

— Да вот сердце пошаливает, — говорю я.

И в ответ слышу:

— А я к вам последний раз — мне не разрешили вас обслуживать.

Гляжу и не верю.

У меня болит сердце. (Позже выяснится, что это инфаркт.) Она специалист, долгие годы заведовала кардиологическим отделением больницы Ленина.

Кто может помешать врачу оказать помощь больному? У кого повернется язык? А если повернулся, кто узнает — осматривала меня Ксения Константиновна или нет?

А как она разглагольствовала после обыска!

”Никто не посмеет мне сказать ни слова. Я врач. Я останусь вашим домашним врачом в любом случае. Больной всегда больной. Даже раненым врагам...”

Сейчас она сидит передо мной в своем белом халате и говорит:

— Мне запретили выписывать вам рецепты.

И уходит, поджав губы, обиженная тем, что мы простились с ней сухо.

Вот она идет по дорожке, исполненная достоинства, унося с собой клятву Гиппократова и врачебную совесть.

”Если хочешь в Божий рай,
Ляг и помирай.
Небо!
Почему ж мы не спешим в рай”?

ТАК ИХ И ВЫПУСТИЛИ —

Не хочу выдумывать сравнений: Дом творчества гудел, как потревоженное шмелиное гнездо.

В вестибюле, в саду, в столовой говорили только обо мне. Сбылись слова Николая Ушакова:

”Может быть, не думать нам о славе,
И тогда она сама придет”.

Да и было о чем посудачить!

Оказывается:

У меня уже опубликованы две книги за рубежом; рукопись третьей перехватили на границе.

Я переправлял за границу наркотики и там продавал.

Я возглавлял ленинградский сионистский центр, а заместителем моим был Виктор Соснора.

Во время обыска у меня обнаружен и изъят радиопередатчик.

И ведь следствие еще не закончено!

А вот разговор двух дачных соседок:

Первая: Вы слышали? Друскины-то собираются в Израиль.

Вторая (*с ненавистью*): Ну да! Так их и выпустили! Здесь сгноят.

Когда я узнал об этом диалоге, я очень удивился. Вторая соседка — мирная, глуповатая женщина, о которой муж написал знаменитые стихи ”Я бил жену, не зажигая света” — всегда относилась к нам хорошо.

Что же это такое? Зависть?

МИЛИЦИЮ МЫ ВЫЗЫВАТЬ НЕ БУДЕМ —

Телефон разрывается от звона.

Лиле на костылях далеко — по пандусу, через веранду и, наконец, в комнату. Но она успела.

— Лев Савельевич?

— Нет, Лидия Викторовна.

— Говорит директор Литфонда. Принято решение о выселении вас с дачи. Потрудитесь с первого августа освободить помещение.

— Сейчас, — сказала Лиля.

— Не сейчас, — взорвался директор, — а предупреждаю вас за три дня. В четверг мы пришем автобус.

— Вы лучше бульдозер пришлите, — посоветовала Лиля.

— Что за тон! Как вы со мной разговариваете?

— А как мне еще разговаривать? Договор заключен на год, в середине лета никуда я мужа не повезу.

Директор ломился напрямую.

— Нет, повезете. У вас три дня на сборы. В четверг придет машина и если вещи не будут собраны — вам помогут.

Внезапно Лилю осенило.

— А вы с КГБ согласовали? — спросила она нагло. — Вы уверены, что им захочется, чтобы мы оказались в Ленинграде в дни Олимпиады?

И тут директор сам выкопал себе яму.

— Мы со всеми согласовали, — сказал он, — можете не беспокоиться.

— А я и не беспокоюсь, — ответила Лиля.

План ее был прост и увлекателен. КГБ любит отдавать подлые приказы, но предпочитает оставаться в тени. А директор болтанул лишнего. Почему бы не столкнуть лбами два учреждения?

Весь день Лиля набирала телефон нашего "Штирлица", но застала его только к вечеру.

Состоялся разговор, который я привожу с удовольствием.

Лиля (*резко*): Павел Константинович, почему все плохие дела творятся от вашего имени?

Павел Константинович (*сухо*): Что еще?

Лиля: Сегодня нам позвонил директор Литфонда и предложил убираться с дачи. Сказал, что с вами все согласовано.

Павел Константинович (*недовольно*): Лидия Викторовна, вы же знаете, мы никогда не мешаемся в распоряжения общест-венности. Сообщаю вам об этом еще раз.

Лиля: А я сообщаю, что больше я вам живая в руки не дам-ся. Я подниму такой крик, что сбегутся все соседи. Здесь живут не одни трусливые члены Литфонда — тут сни-

мают дачи профессора, инженеры и другие нормальные люди. Пусть посмотрят, как вы силой вытащите Льва Савельевича из постели. Когда его понесут, он даже ноги не сможет подгибать, как Борисов.

Павел Константинович (*притворно*): Какой Борисов?

Лиля: Сами знаете... Тот, которого запихнули в самолет и выслали из Ленинграда в Австрию.

Павел Константинович (*с раздражением*): Вы хорошо осведомлены. Но я снова должен сказать, что мы не полномочны отменять решения общественности. Что же касается меня, то я занимаюсь исключительно Олимпиадой.

Лиля (*перебивая*): Ну вот что! Если это незаконное действительно согласовано с вами, я требую, чтобы за нами прислали не автобус, а машину из КГБ (ваши парни по крайней мере вежливы), и чтобы везли нас не на Бронницкую, а прямо на аэродром, а оттуда — в Вену.

Павел Константинович: Господи, что вы еще придумаете!

Лиля: Да-да, в Вену... Пора кончать это издевательство. Сидим, как в осаде. Рытхеу каждый день встает на стульчак и следит за нами в окошко уборной.

Павел Константинович (*не может удержаться от смеха*): Почему на стульчак? Я капитан КГБ, а ни разу...

Лиля: Вы его спросите — почему. Может быть, он считает, что он майор Пронин?

Павел Константинович: Ну я не знаю, как с вами разговаривать.

Лиля: А вы дайте адрес — я вам напишу.

Павел Константинович: Лидия Викторовна, какой адрес!

Лиля: Тогда я Андропову напишу. На всякий случай извещаю, что сегодня я дала телеграммы главному прокурору города и в Союз писателей РСФСР.

Павел Константинович: Ох, Лидия Викторовна, вашу бы энергию...

Лиля: Да на Олимпиаду!

Павел Константинович (*ошарашенно*): При чем здесь Олимпиада?

Лиля: Я думала, в вас хоть что-то осталось. Помните, вы

говорили, что хотели бы нам помочь и рады были бы даже чемоданчик до самолета донести.

Павел Константинович (*отчаянно*): Лидия Викторовна, перестаньте меня цитировать! — (*с намеком*): — Хорошо, что нас никто не слушает.

Лиля (*не обращая внимания*): А насчет Литфонда, так вы же сами говорили, что Союз писателей скверная организация.

Павел Константинович (*сдается*): Ну ладно... давайте мне фамилию вашего директора.

Лиля: Мустафаев.

Павел Константинович: Он что — татарин?

Лиля: А вы что — расист?

Павел Константинович (*взвыл*): Лидия Викторовна! — (*после паузы*):— Знаете что... Если у вас еще будут просьбы или вопросы, пускай ко мне звонит Лев Савельевич.

Утром я проснулся от осторожного стука в балконную дверь — словно мышка поскреблась. В комнату чуть ли не на цыпочках вошли Мустафаев, литфондовский инженер — смешной и милый парень, тоже, кстати, нацмен — и с ними третий: человек с довольно приятным лицом.

Человек с довольно приятным лицом поздоровался и сказал:

— Лев Савельевич, мы приняли по поводу дачи принципиальное решение, но если вы не хотите выезжать, — тут он развел руками, — никто вас не гонит, милицию мы вызывать не будем.

— Нет, это мы вызвали бы милицию, — вступила Лиля. — Между прочим, вы не представились.

— Извините, — смутился человек с довольно приятным лицом, — я председатель правления Литфонда.

— А фамилия?

Он помялся, но все же выдал:

— Помпеев.

— Странно, — удивилась Лиля, — Юрий Помпеев? Почему же вы боялись назвать фамилию? Я от многих слышала, что Помпеев — человек вполне порядочный.

Настала моя очередь.

— Вы председатель правления, следовательно присутствовали на секретариате. У меня только два вопроса.

— Пожалуйста, Лев Савельевич.

— Решение о моем исключении принято единогласно?

— Да.

— Гранин был?

Ужасно ему не хотелось отвечать, особенно при свидетелях. А куда денешься? И не поднимая глаз, он пробормотал:

— Был.

Тогда я немного поговорил.

— И не стыдно! — сказал я. — Исключили заочно... трусливо, незаконно... Не могли приехать... Здоровые мужики... Прислали хулиганскую телеграмму...

Помпеев молчал. По-моему, ему и вправду было не по себе. (Если бы так! Хоть одному бы — и то легче!)

Потом он сделал знак своим:

— Ну, мы пойдем...

И вдруг — я ушам не поверил:

— Желаю вам всяческого благополучия. И главное — здоровья.

— Если бы это были не вы, — сказал я, — я посчитал бы ваши слова насмешкой. Ведь вы же лишили меня всего, даже медицинской помощи.

Но на этот раз он не отвел взгляда.

— И все-таки, — повторил он настойчиво, — желаю вам всяческого благополучия.

И они ушли.

КНИГИ, КНИГИ ... —

Трудно продавать вещи. Продаешь, как предаешь. Будто они живые существа. Будто (да так оно и есть!), в сговоре с будущим, навсегда расстаешься с прошлой радостью, прошлой любовью, со всей своей прошлой жизнью — а что мы без нее?

И почти не торгуешься — совестно перед вещами.

А как вещи мои выносили,
Все-то вещи по мне голосили:
Расстаемся — не спас, не помог!
Шкаф дрожал и в дверях упирался,
Столик в угол забиться старался
И без люстры грустил потолок.
А любимые книги кричали:
"Не дожить бы до этой печали!
Что ж ты нас продаешь за гроши?
Не глядишь, будто слезы скрываешь,
И на лестницу дверь открываешь —
Отрываешь живьем от души".
Книги, книги, меня не кляните,
В равнодушных руках помяните,
Не казните последней виной.
Скоро я эти стены покину
И, как вы, побреду на чужбину,
И скажите — что будет со мной?

ГАЛИЧ —

Я помню, как за полгода до своего исключения из СП
Галич сидел у моей постели, гладил меня по голове и гово-
рил: "Ну мы-то с тобой, Левочка, никуда не уедем".

Мне рассказывали потом: когда надвинулось неотврати-
мое, он, спустившись к машине, рыдал посреди огромного
московского двора.

"Мы-то с тобой, Левочка, никуда не уедем"! — это звуча-
ло, как заклинание.

Никто не хотел уезжать. Никто не хотел умирать.

И вот он уехал, и умер. А теперь уезжаю я. И — кто зна-
ет! — может быть, это и есть начало моей духовной смер-
ти?

ФИМУ ЭТКИНДА ЗНАЕТЕ ? —

В последний свой приход (а было их три) Павел Константинович попросил:

— Вы уж не пишите там обо мне: мне все-таки работать.

Работать? А какая его работа — топтать моих друзей? Что произойдет с ним, когда эта книга выйдет в свет? Выгонят? Пусть — может быть, еще душу спасет. Хотя, вряд ли. Первая судьба, которую он сломал, как сухой прут о колено, была его собственная.

А пока — смотрите, как он старается!

Моему другу химику он сказал:

— Я задал вам вопрос, и ответ будет лакмусовой бумажкой вашей искренности.

Перед филологом щегольнул россыпью иностранных слов. Однако, не без конфуза: вместо слова "катарсис" употребил слово "экзерсиз".

Человеку, в котором почувствовал слабинку, пригрозил:

— Напрасно молчите. Все равно Друскин перед отъездом всех вас заложит.

Иногда он, правда, нарывается.

— Фиму Эткинда знаете?

— Какого еще Фиму?

— Простите, я хотел сказать Ефима.

— Какого Ефима? Ефим Григорьевич Эткинд — известный литературовед. Мы незнакомы, но книги его стоят на моей полке.

Я уже упоминал: с ними так нельзя. Через неделю у "наглеца" начинаются служебные неприятности.

А вот и у меня телефонный звонок — за день до отъезда.

— Лев Савельевич? Ну, как вы себя чувствуете?

Я прихожу в бешенство. Какое бесстыдство — повесить человека и спрашивать, удобно ли ему висится на суку.

И я выкладываю нашему "детективу" все, что думаю о нем и его "организации".

Я проявляю неслыханную дерзость.

— От вас чистый вред, — говорю я. — По-моему, вас надо сажать, как вредителей, как врагов народа.

Не скрою: смелость моя поддерживалась лежащим в кармане билетом. Чувствовал я — не захотят они напоследок связываться. Уж больно некрасивое дело, даже для КГБ.

Но Павла Константиновича я не дооценил — он сумел со мной хорошо рассчитаться.

НА ВЫДОХЕ ЧУВСТВ —

”Мне хочется описать ваш отъезд нашими глазами, потому что он нас настолько потряс, что мы долго не могли прийти в себя. Провожających было мало, хотя *других людей* хватало, и мы видели с балюстрады каждый ваш шаг. Когда мы увидели, как Лиля на костылях тащит на поводке Гека, Нина Антоновна не может справиться с кладью, а Левка руками пытается крутить колеса коляски, мы думали, что не выдержим. Я заревела и закричала: ”Помогите им!” В., такой сдержанный, сказал: ”Начинается кошмар”, а посторонние провожающие заверещали и стали кричать своим пассажирам, чтобы помогли. Но пассажиры-то одни старики! Дальше всё сквозь слезы и как во сне. Даже неясно помню, как Левку затаскивали в автобус и что было у самолета. Помню только, что тянулось это очень долго. Не знаю, видели вы или нет, но мы махали вам, пока самолет не скрылся в облаках.

Весь день двадцать первого прошел в каком-то тумане — пытались спать, кто-то звонил (кажется, Таня); потом разбирали оставшиеся после вас вещи — что, кому и когда... Все это очень напоминало возвращение с похорон (уж вы простите!); потом звонили, и я все рассказывала, хотя, казалось бы, не так много и расскажешь. Но получалось много и патетично. Да, патетики в этом отлете было хоть отбавляй, хотя не было произнесено ни одного патетического слова”.

Он только презрительно усмехнулся уголком губ.

В последнем разговоре Павел Константинович спросил:

— Я надеюсь, демонстраций не будет?

Я ответил:

— Выигрались вы в свою игру! Какие демонстрации? Мне бы до больницы добраться.

Теперь они сами устроили демонстрацию — на всю катушку. Чего они хотели — наказать меня, потрепать нервы, поглумиться под занавес? Не знаю. Во всяком случае, эффекта они не рассчитали.

С балюстрады доносились возмущенные крики. Внезапно я почувствовал, что коляска отрывается от земли. За нее ухватились сразу несколько человек. Это были старые люди, но они справились. Автобус двинулся и все на миг стало нереальным — будто не со мной.

Однако поднять меня на самолет по узкому трапу старикам было действительно не под силу. Экипаж застыл, вызываясь скрестив руки на груди. Какой-то находившийся под крылом парень в спецовке, очевидно механик, сделал несколько шагов в нашу сторону и, спохватившись, остановился.

Тогда Лиля стала кричать иностранцам. Подбежали двое. На своем чудовищном немецком языке я объяснил им, как надо меня нести: "Eine hier, andere hier und nehmen mir so..."

(Впоследствии выяснилось, что оба — итальянцы, неплохо понимают по-русски, а по-немецки не знают ни слова.)

Одного я обхватил за шею, другой взял меня под колени, и по тесному проходу они протиснулись со мной в первый салон, и бережно, но неумело опустили на сидения.

Я лежал на трех креслах с вдавившимися подлокотниками — раскорякой: одна нога на откинутых спинках противоположного ряда.

Пассажиров было мало. Самолет заполнился лишь на треть. В соседнем салоне один из итальянцев, Джузеппе Пуллини, потрясенный, спрашивал у Лили:

— Что сделал этот человек — ваш муж? Почему команда ведет себя так?

Лиля сказала:

— У него отобрали дневник.

Итальянец не понял:

— Книгу?

— Нет, рукопись.

— И всё?

— И всё.

Тут итальянец произнес великолепные слова:

— У вас еще будут проблемы, — сказал он. — И, вероятно, много. Но они будут совсем другие. Таких унижений и трудностей вы не испытаете уже никогда.

И неожиданно спросил:

— А вы любите родину?

У Лили брызнули слезы.

— Я знаю, — вздохнул он, — все русские любят свою родину.

А я лежал — неудобно и странно — на трех сидениях. Друзья мои превратились в потусторонних духов, мимо, по проходу, сновали недружелюбные стюардессы, за окном серел кусочек предутреннего аэродрома — последняя хмурая полоска моей земли.

В голове бились строчки:

”Наша улица... уже не наша.

Сколько раз по ней... уже не мы”.

И рядом с этими строчками метались и плакали мысли:

”Вот как повернулась жизнь... Ведь вот как повернулась... Самолет улетает на чужбину... Господи, Господи, самолет улетает на чужбину... И в нем, уткнувшись лицом в холодное стекло, лежу я”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я лежу в комнате напротив папы. Он не в силах выговорить ни слова. Он вздрагивает и задыхается. Я вижу белое испуганное лицо, покрытое каплями пота. Мама часами держит у его губ кислородную трубку. Иногда она передает ее восьмилетнему Руве, которому это очень нравится.

У меня нет ни настоящего горя, ни настоящей боли — настолько все неправдоподобно. Они придут гораздо позже и будут становиться острее с каждым годом.

И вдруг папа приподнимается на локтях, скользящих по крутизне подушки. Ужас смерти на мгновение отодвигается тревогой за мальчика, за больного сына — уже странного, уже непонятного, такого несерьезного, не ведающего своей беды.

Он мучительно хрипит, он стонет:

— Лёвочка, будь человеком!

И только теперь, с другого конца собственной жизни, я отвечаю ему:

— Я выполнил твою просьбу, папа. Я стал человеком.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Вступление	9
Часть первая	
Детство	15
Юность	83
Война	101
Эвакуация	123
Часть вторая	
Жизнь наша советская	149
Братья-писатели	193
Государство моего духа	227
Часть третья	
— Ваша национальность? — Заключение	245
Голос предков	257
По ту сторону	281
Часть четвертая	
Коктебель	303
Комарово	327
Самолет улетает на чужбину	365
Заключение	407